# Корсары Леванта

# Артуро Перес-Реверте

Посвящается Хуану Эславе Галану и Фито Косару — в память Неаполя, где мы не познакомились, и добычи, не нами награбленной.

## I. Берберийское побережье

Подобная травля — всегда дело долгое, но эта, телом Христовым клянусь, слишком уж затянулась, никак не способствуя умиротворению духа: весь вчерашний вечер, всю лунную ночь напролет и целое утро сегодня мчались мы, норовя ухватить добычу за хвост, по неспокойному морю, хлеставшему наотмашь тяжкими оплеухами волн, так что содрогался хрупкий костяк нашей галеры. Ветер до каменной твердости натянул оба паруса, гребцы-каторжане налегали на весла, моряки и наша сухопутная братия уворачивались, как могли, от пенных брызг, а 48-весельная «Мулатка», пролетев почти тридцать лиг[[1]](#footnote-1) вдогонку за пиратским кораблем, наконец подошла к нему на выстрел, подав нам надежду во благовременье турка все-таки взять — если, конечно, выдержит мачта, на которую люди опытные поглядывали с опаской.

— Ну-ка, поскреби-ка ему задницу, — приказал капитан дон Мануэль Урдемалас с мостика на юте, откуда не отлучался, похоже, последние двадцать часов.

Первый орудийный выстрел близким недолетом взметнул фонтан воды у пирата за кормой. Наши канониры и все, кто был на носу, рядом с пушкой, вскричали «ура», увидав добычу в пределах досягаемости. Теперь надо уж очень постараться, чтобы упустить ее, мало того что у себя из-под носа, так еще и с наветренного борта.

— Зарифляют! — крикнул кто-то.

И в самом деле, с единственной мачты уже полз вниз и бился на ветру огромный треугольник паруса. Качаясь на крупной зыби, неприятель показал нам левый бок. И впервые мы смогли рассмотреть берберский корабль во всех подробностях — это была *галеота*, средняя галера с тринадцатью гребными скамьями, узкая, длинная и, по нашим прикидкам, способная взять на борт человек до ста. Из тех шустрых и поворотливых парусников, к которым, как башмак по мерке к ноге, подходили строчки Сервантеса, предусмотрительно рекомендовавшего:

Богат достоинствами вор, но

Их все к единому сведу:

Вор должен действовать проворно —

Подметки резать на ходу.

До сей поры он сначала был всего лишь одиноким парусом, белевшим там и сям на морском просторе, потом опознался как пират, нагло подобравшийся к каравану торговых судов, которые под присмотром «Мулатки» и трех других испанских галер шли из Картахены в Оран. Потом, когда мы на всех парусах погнались за ним, он мало-помалу, по мере того как шло преследование и сокращалась разделявшая нас дистанция, вырастал в размерах. И вот предстал наконец в непосредственной близости и во всей красе.

— Сдаются, собаки, — сказал какой-то солдат.

Капитан Алатристе стоял рядом со мной и смотрел на пирата. Парус был уже убран, и поверхность воды вспороли лопасти весел.

— Да нет... — пробормотал он. — Драться собрались.

Я обернулся к нему. Из-под широкого поля старой шляпы на меня взглянули сощуренные от блеска воды светло-зеленые глаза, ставшие, казалось, совсем прозрачными. Четырехдневная щетина на лице, посеревшем, засалившемся, как у всех нас, от грязи и недосыпа. Внимательный взгляд старого солдата, неотрывно следящий за тем, что происходит на галеоте, где меж тем несколько человек пробежали по палубе на нос и весла левого борта затабанили, разворачивая парусник.

— Желают судьбу попытать, — безразлично добавил Алатристе.

И пальцем показал туда, где вился на верхушке мачты вымпел, указывающий направление ветра. Я все понял. Пират, осознав, что бегство невозможно, а сдаваться не желая, пытался на веслах выйти из ветра. У галер и галеот на носу было по одной большой пушке, а по бортам стояли камнеметы небольшой дальности. Пираты, хоть и уступали нам вооружением и численностью, решили, наверно, сыграть ва-банк, ибо удачный выстрел бакового орудия мог свалить фок-мачту или перекрошить немало народу на палубе. И, несмотря на неблагоприятный ветер, они сумели на одних веслах завершить маневр.

— Паруса долой! Весла на валек!

Судя по этим приказам, сухим и отрывистым, как выстрелы из аркебузы, разгадал намерение корсаров и наш капитан. И обе реи, державшие паруса, были поспешно спущены, а на помост гребной палубы, именуемый *ку́ршея,* вспрыгнул с бичом в руке надсмотрщик-*комит*, и по его знаку голые до пояса гребцы заняли свои места на скамьях по обоим бортам — четверо на каждую — и под свист бича, вышивавшего у них на спинах разнообразные узоры цвета мака, разом опустили в воду сорок восемь весел.

— Господа солдаты! По местам стоять! К бою!

Раскатилась барабанная дробь боевой тревоги, и господа солдаты, то есть мы, грешные, непотребными словами поминая, как спокон веку ведется у испанской пехоты, Господа Бога, непорочно зачавшую Мать Его и святых угодников, что, впрочем, не мешало многим бормотать сквозь зубы слова молитвы, прикладываться к ладанкам-образкам и осенять себя раз по пятьсот крестным знамением, принялась для убережения от неприятельских пуль прикрывать борта скатанными одеялами и тюфяками, разбирать принадлежности своего смертоубийственного ремесла, заряжать мушкеты, аркебузы, камнеметы, занимать места на полубаке и в галерейках, тянувшихся вдоль обоих бортов над гребной палубой, где каторжане усердно и в лад ворочали веслами, покуда комит — свистком и помощник его — голосом задавали их работе должную кадансу, продолжая в свое удовольствие охаживать бичами согнутые спины. От форштевня до кормы задымились фитили. Мне по относительному моему малолетству было пока не под силу управляться не то что с тяжеленным мушкетом, а и с аркебузой, тем паче что стрелять приходилось без подсошников да вдобавок на качающейся палубе, так что если не удержишь прижатый к щеке приклад, отдача может вывихнуть плечо или выбить передние зубы. И потому, туго стянув на голове косынку, я подхватил копьецо свое и саблю — короткую и широкую, потому как длинным клинком на тесной и узкой палубе орудовать несподручно, — и последовал за своим хозяином, отношения с которым, хоть он давно мне был никакой не хозяин, не претерпели особенных изменений. Поскольку он принадлежал к числу самых испытанных и надежных бойцов, место его по боевому расписанию было у шлюпочного трапа — там же, где при Лепанто[[2]](#footnote-2) на галере «Маркиза» стоял блаженной памяти дон Мигель де Сервантес. Жизнь, надо ей отдать должное, горазда плести такие не очень-то забавные арабески. Капитан окинул меня рассеянным взглядом и улыбнулся одними глазами, по обыкновению пригладив пальцами усы.

— Это уже пятый у тебя абордаж, — промолвил он.

И принялся дуть на тлеющий фитиль своей аркебузы. Алатристе говорил, как и всегда, безразлично, однако я знал, что он за меня тревожится. Хоть мне и стукнуло недавно семнадцать лет — а может быть, как раз поэтому. Абордажный бой — дело такое: в нем сам Господь, вопреки поговорке, не отличит своих от чужих.

— Прежде меня к ним на борт не лезь... Понял?

Я открыл было рот, намереваясь возразить. Но в этот миг с берберийца грохнул первый орудийный выстрел, и по палубе пронеслись острые, как кинжалы, осколки.

...Долог был путь, приведший нас с капитаном Алатристе на палубу этой галеры, которая в майский полдень тысяча шестьсот двадцать седьмого года — сужу по давним своим записям, сохранившимся среди пожелтелых листков послужного списка, — сцепилась с пиратской галеотой в нескольких милях к югу от побережья Северной Африки, на траверзе, как говорят моряки, острова Альборан. После прискорбно-достопамятного приключения с кавалером в желтом колете, когда наше юное католическое величество чудом не пало жертвой заговора, устроенного инквизитором Эмилио Боканегрой, а хозяин мой, дерзнувший соперничать в любовных шашнях с вышеупомянутым Филиппом Четвертым и по этой причине оказавшийся поистине на волосок от знакомства с палачом, сумел благодаря своей шпаге и, без ложной скромности скажу — вмешательству шпаги моей, а равно и комедианта Рафаэля де Косара, сохранить не только собственные жизнь и честь, но и отвести от августейшей глотки цареубийственные клинки на сомнительной охоте в окрестностях Эскориала. Венценосные особы — все как на подбор неблагодарны и забывчивы, и потому-то мы с капитаном подвигами своими не снискали себе ни малейшего преуспеяния. Прибавьте ко всему этому еще и такое немаловажное обстоятельство, что вышепомянутые шашни капитана с актрисою Марией де Кастро привели к обмену резкими словами, а затем и ударами шпаги с конфидентом и фаворитом нашего государя графом де Гуадальмединой, поплатившимся за это сперва проколотой рукой, а затем и разбитым лицом, отчего давняя приязнь, питаемая графом к Алатристе еще со времен итальянских походов и фламандских кампаний, сменилась лютой ненавистью. Полученное в Эскориале помогло нам свести дебет с кредитом, и, проевши ровнешенько столько, сколько заработали, то бишь оставшись при своих, вышли мы из этой переделки хоть и без единого медяка в кармане, но зато — донельзя довольные тем, что не угодили в каталажку и не получили в свое законное и безраздельное пользование семь футов земли в безымянной могиле. Альгвазилы лейтенанта Мартина Салданьи, оправлявшегося от тяжкой раны, которую нанес ему опять же Диего Алатристе, оставили нас в покое, так что капитан счастливо избежал хвори, причиняемой намыленной пенькой, и не свесил свои солдатские усы на плечо. Всем прочим лицам, вовлеченным в это дело, повезло меньше, и на них с соблюдением должной секретности обрушилась вся тяжесть монаршего гнева: падре Эмилио Боканегра, раз уж его репутация праведника и мужа святой жизни требовала соблюдения известных приличий, наглухо заперли в приюте для умалишенных, а остальных участников заговора втихомолку удавили в тюрьме. О том, какая участь постигла итальянского наемника Гвальтерио Малатесту, нашего с капитаном старинного и личного врага, достоверных сведений не имелось: ходили слухи о жестоких пытках, коим перед казнью подвергли его в узилище, однако наверное никто ничего не знал. Что же касается королевского секретаря Луиса де Алькесара, то, хоть его вину доказать и не удалось, высокое положение при дворе и влиятельные заступники в Совете Арагона помогли ему сохранить всего лишь шкуру, но не должность: последовал стремительный, как молния, и столь же испепеляющий указ — и он отправился в заморские владения короны, в Новую Испанию. Как вы сами понимаете, господа, судьба этой сомнительной личности была мне далеко не безразлична, ибо корабль увозил в Индии не только дона Луиса, но и его племянницу — любовь всей моей жизни Анхелику де Алькесар.

Обо всем этом я предполагаю более подробно рассказать в дальнейшем. Сейчас же ограничусь тем, что уже поведал, прибавив лишь, что последнее наше приключение убедило капитана Алатристе в необходимости как-то упрочить мою будущность, избавив меня, елико возможно, от финтов и фортелей фортуны. Случай представился благодаря дону Франсиско де Кеведо, который с той поры, как упас меня от костра инквизиции, с полнейшим правом мог считаться моим крестным отцом. Ну так вот, поэт, чья звезда разгоралась при дворе все ярче, слава гремела все громче, вбил себе в голову, что, если к милостям нашей королевы, питавшей к нему самые теплые чувства, и благоволению графа-герцога Оливареса прибавится еще немного везения, я по достижении восемнадцатилетнего возраста смогу вступить в Корпус королевских курьеров, а о лучшем начале придворной службы и мечтать нельзя. Единственная, но серьезная загвоздка заключалась в том, что для производства в офицерский чин требовалось либо подходящее происхождение, либо неоспоримые заслуги, доказательством коих могло послужить мое участие в боевых действиях. Однако и здесь все обстояло не совсем гладко — хоть я два года провел в действующей армии, да не где-нибудь, а во Фландрии, и, между прочим, брал Бреду, но по молодости лет не был занесен в списки полка, что весьма пагубно отразилось на моей аттестации, каковой не имелось вовсе, ибо значился я не строевым солдатом, а пажем-*мочилеро*, а это настоящей службой как бы и не считалось. Следовало, стало быть, возместить недостачу. Способ отыскал наш друг капитан Алонсо де Контрерас, после недолгого гостевания у Лопе де Веги возвращавшийся к месту службы и пригласивший нас составить ему компанию на пути в Неаполь. Что может быть лучше, доказывал он, чем провести недостающие два года в расквартированном там полку испанской пехоты, где служат их с Алатристе старые боевые товарищи, а заодно и насладиться всеми удовольствиями, коими так щедро одаривает испанцев город у подножия Везувия, и прикопить деньжат при налетах, учиняемых нашими галерами на греческие острова и африканское побережье? Вернитесь, господа, ненадолго к прежнему ремеслу, взывал Контрерас, воздайте Марсу то, что воздавали прежде Венере да Вакху, и почитаемое немыслимым — свершится... Ну и так далее. Аминь.

Одно сомнению не подлежало — капитана Алатристе ничего больше в Мадриде не удерживало: за душой ни гроша, амуры с Марией де Кастро завершились, а Каридад Непруха стала заговаривать о браке пугающе часто, так что, снова и снова обдумав предложение и опорожнив в полнейшем молчании множество бутылок вина, он наконец решился. И летом двадцать шестого мы отплыли из Барселоны в Геную, а оттуда — дальше на юг, до Партенопы, как в древности назывался Неаполь, где Диего Алатристе-и-Тенорьо с Иньиго Бальбоа Агирре зачислены были в полк. И весь остаток года, пока на святого Деметрия не завершилась навигация, бесчинствовали мы в Адриатике, на побережье Северной Африки и в Морее, сиречь южной части Греции. Потом, сделав перерыв на зиму, сбили малость каблуки, шляясь по бесчисленным неаполитанским увеселениям, наведались с познавательной целью в Рим, дабы я своими глазами смог увидеть поразительнейший на свете город и величественную колыбель христианства, а с наступлением мая, как положено, снова погрузились на отстоявшиеся в порту и готовые к новой кампании галеры. Первое плавание совершили, эскортируя караван, шедший из Италии в Испанию с заходом на Балеарские острова, а второе — это вот, нынешнее, — в составе конвоя охраняя купеческие суда, двигавшиеся из Картахены на Оран, а потом — в Неаполь. Обо всем прочем — о пиратской галеоте, за которой погнались мы, выйдя из ордера, о преследовании в виду африканского побережья — я уже поведал вам более или менее подробно. Прибавлю только, что нет, не желторотый птенец, а вполне стреляный воробей был давний ваш знакомец, вдосталь понюхавший пороху и заматеревший к семнадцати годам Иньиго Бальбоа, что купно с капитаном Алатристе и прочими вояками взошел на борт «Мулатки» и сражался с турками, коими в ту пору именовали мы всех подданных Блистательной Порты, будь то собственно турки, или мавры, или мориски, и вообще всякий, кто не под испанским флагом шастал по морям и безобразничал на торговых путях. О том, как именно было это, узнаете вы, господа, из моего повествования, в котором я предполагаю воспомнить времена, когда мы с Диего Алатристе по примеру прошлых лет сражались плечом к плечу, но уже не как хозяин и слуга, а как равные, как боевые товарищи. Расскажу, ни на йоту не прилгнув, единой запятой не упустив, о сражениях и стычках, о корсарах и абордажах, о блаженной поре первой младости, о грабежах и смертоубийствах. Расскажу о том, сколь громко в мои времена — о, в какую дальнюю даль отодвинулись они теперь, когда я убелен сединами и так давно уже изукрашен шрамами! — звучало имя моего любезного отечества, какой страх и трепет наводило оно на всех, кто бороздил моря Леванта. И о том, что нет у дьявола ни рода-племени, ни цвета кожи, ни знамени, под которым он воюет. И еще о том, что для сотворения преисподней на суше ли, на море, нужны-то всего-навсего испанец да клинок у него в руке.

— Хватит, я сказал! — крикнул капитан «Мулатки». — Они денег стоят!

Дон Мануэль Урдемалас был несколько стеснен в средствах и потому не любил лишнего и безосновательного кровопролития. И мы повиновались — не сразу, не все и неохотно. Меня вот, например, капитану Алатристе пришлось придержать за руку, когда я уж совсем было собрался перерезать глотку одному из тех, кто, быв в пылу боя сброшен в воду, теперь вознамеривался влезть на борт. Что говорить, мы еще не остыли, и учиненная нами резня, верно, оказалась недостаточной, чтобы утишить страсть к убийству. Покуда «Мулатка» шла на сближение, турки, у которых, как мы сразу поняли, был превосходный канонир, скорее всего передавшийся врагу португалец, — успели шарахнуть по нам из пушки и двоих убили. И потому уж мы накинулись на них со всей нашей пресловутой испанской яростью, не собираясь никого щадить, вопя во все горло, ощетинясь короткими пиками и абордажными крючьями, дымя фитилями аркебуз, а гребцы, выбиваясь из сил, под щелканье бича, свистки и перезвон собственных кандалов ворочали тяжеленными веслами, покуда галера, повинуясь их стараниям, не врезалась наискосок в неприятельский парусник, снеся носовую надстройку, где помещался кубрик. Поднаторелый в своем ремесле рулевой доставил нас именно туда, куда следовало: не прошло и минуты, как таран, в щепки переломав весла, въехал прямо в середку правого борта, а три выстрела из носовых пушек, заряженных гвоздями и обрезками жести, как метлой прошлись по вражьей палубе, сметя с нее все живое. Потом, постреляв несколько из аркебуз и камнеметов, первая абордажная команда с криками «Испания и Сантьяго!» по носу перебралась на галеоту и без особых затруднений очистила все пространство от мачты до кормы, рубя и режа и на первых порах не встречая, в сущности, сопротивления. Кто не поспел спрыгнуть за борт, погиб тут же, между скользких от крови гребных скамеек-банок, другие отступили на корму и вот там, надо отдать им должное, дрались отважно и достойно, покуда на мостик, где они засели, не ворвалась вторая абордажная команда. В составе ее были и мы с капитаном: он, сделав пяток выстрелов из аркебузы, бросил ее и вооружился шпагой и круглым щитом, я же в кирасе и шлеме поначалу орудовал своим копьецом, а затем сменил его на хорошо отточенную секиру, вырванную из рук умирающего турка. И так вот, оберегая друг друга, шаг за шагом, от банки к банке продвигались мы вперед, благоразумно не оставляя за собой никого живого — даже тех, кто молил о пощаде, — покуда не добрались вместе с остальными до кормы, где тяжело раненный турецкий *капудан* и те, кто еще был на борту, сложили оружие, сдались на милость победителя. Каковой, однако, не получили, потому что раньше надо было думать; с этой же минуты пошла уже натуральная бойня и больше ничего, и потребовался, как я уже сказал, повторный приказ дона Мигеля, чтобы мы, приведенные в бешенство упорным сопротивлением турок — абордаж стоил нам девятерых убитых, включая накрытых удачным пушечным выстрелом, и двенадцати раненых, не считая гребцов-невольников, — перестали наконец рубить, резать и колоть, впрочем, продолжая, как все равно уток, подстреливать из аркебуз барахтавшихся в воде, а тех, кто пытался вскарабкаться на борт, — сбрасывать, невзирая на их жалобные крики, назад ударом весла по голове.

— Ну довольно, — сказал мне Диего Алатристе. — Уймись.

С трудом переводя дух, я взглянул на него: капитан вытирал клинок подобранной с палубы тряпкой — судя по всему, то была размотанная мавританская чалма, — потом вложил шпагу в ножны, не сводя при этом глаз с тех, кто тонул вокруг галеоты или еще плавал неподалеку, опасаясь приблизиться. Вода была не слишком холодна, и они могли бы держаться на плаву довольно долго — разумеется, речь не о раненых, которые, захлебываясь, пуская пузыри, оглашая воздух предсмертными криками и стонами, из последних сил боролись со смертью в покрасневшей от крови воде.

— Это не твоя кровь, так?

Я осмотрел руки, пощупал ноги, провел ладонью по кирасе и радостно убедился, что не получил ни царапины.

— Цел. Все на месте. Как и у вас.

Потом мы оглядели пейзаж после битвы: два еще сцепившихся корабля, груды распотрошенных тел меж гребных скамей, турки — пленные, мертвые, умирающие, а также сколько-то живых, но мокрых, начавших под угрозой аркебуз и копий взбираться на борт, — и наши, уже втихомолку принявшиеся шарить по галеоте. Левантийский бриз сушил чужую кровь у нас на руках и лицах.

— Кажется, мы зря старались, — вздохнул Алатристе.

Да, на этот раз нам не обломилось: галеота, вчера вышедшая из пиратского порта Сале[[3]](#footnote-3), еще не успела ничего награбить перед тем, как мы заметили ее приближение, так что, если не считать разного тряпья да еще оружия, добычи не было никакой — ничего ценного мы не нашли, хоть и перетряхнули весь корабль от киля до клотика и даже переборки в трюме взломали. И на уплату пресловутой королевской пятины, будь она неладна, не нашлось ни единого дублона. Мне пришлось довольствоваться бурнусом тонкой шерсти — да и тот оспаривать едва ли не на кулаках с кем-то из наших, уверявшим, что заметил его первым, — а капитану Алатристе достался извлеченный из тела убитого клинок с затейливой резьбой на рукояти и отлично заточенным обоюдоострым лезвием дамасской стали. С этими трофеями он и вернулся на «Мулатку», я же, продолжая рыскать по галеоте, отправился поглядеть на пленных. Ибо за неимением иной добычи единственную ценность представляли выжившие турки. По неслыханному везению, среди гребцов не оказалось ни одного христианина, ибо пираты, смотря по обстоятельствам, сами брались то за весла, то за оружие, и когда движимый благоразумием дон Мигель Урдемалас приказал остановить резню, сдавшихся в плен, раненых и выловленных из воды оказалось семьдесят душ. Это означало, что за каждую, смотря по тому, на каком невольничьем рынке станут их продавать, можно выручить от восьмидесяти до ста эскудо. Если вычесть королевскую пятину и долю капитана галеры да разделить полученную сумму на пятьдесят членов команды и семьдесят солдат — почти двести гребцов-каторжан, как и всегда, не в счет, — легко будет убедиться, что сильно-то с этого не разживешься, однако кое-что все же получишь, а кое-что — лучше, чем ничего. Всегда и неизменно, господа, следует помнить, на носу себе зарубить: больше выживших — больше прибыль. Ибо вместе с каждым из тех, кто барахтается в воде, пытаясь вскарабкаться на борт, уйдет на дно тысяча реалов.

— Капудана повесить, — сказал капитан Урдемалас.

Сказал негромко — так, чтобы его слова слышали только комит, прапорщик Муэлас, штурман, сержант Альбадалехо и двое пользующихся особым его доверием солдат, одним из коих был Диего Алатристе. Они держали совет на корме «Мулатки» возле фонаря, поглядывая время от времени на галеоту, все еще насаженную на острие нашего тарана. Весла переломаны, в пробоину поступает вода, так что все сошлись на том, что нет никакого смысла буксировать его: потонет скоро и совершенно неминуемо.

— Он вероотступник, — Урдемалас поскреб бороду. — Испанец родом с Майорки. Некто Боикс. Здесь его звали Юсуф Боча.

— Он ранен, — заметил комит.

— Значит, вздернуть поскорей, пока не подох.

Командир галеры поглядел на солнце, висевшее у самого горизонта. Через час стемнеет, прикинул Алатристе. За это время пленные должны быть закованы и препровождены на борт «Мулатки», а та возьмет курс на ближайший дружественный порт, где их можно будет продать. А сейчас как раз допрашивают, проверяя, на каком языке говорят, какому богу молятся, отделяют христиан от морисков, морисков — от мавров, мавров — от турок. Каждый пиратский корабль — плавучая Вавилонская башня. Нередко, вот как сейчас, встретишь и таких, кто предал свою веру, и еретиков — англичан и голландцев. И в том, что *капудана* надо повесить, согласны были все.

— Готовьте петлю.

Алатристе знал, что иначе и быть не может. Вероотступнику, командовавшему вражеским кораблем, оказавшему сопротивление и повинному в гибели подданных испанского государя, как никому другому впору придется пеньковый воротник, раз и навсегда вылечивающий человека от несварения. Это уж как водится. А уж если он ко всему еще и испанец, то и вообще говорить не о чем.

— Почему его одного? — спросил прапорщик Муэлас. — Здесь есть и другие мориски — помощник капитана и еще четверо, самое малое. Их было больше, но остальные убиты. Или умирают.

— А прочие пленные?

— Вольнонаемные гребцы, мавры из Сале. Есть двое белобрысых, сейчас как раз проверяют, обрезанцы они или христиане.

— Ну так вы знаете, как поступить с ними: обрезаны — приковать к веслам, а потом сдать в инквизицию. А не обрезаны — на рею... Сколько у нас убитых?

— Девять, да еще те, кто не дотянет до утра. Это не считая гребцов.

Урдемалас нетерпеливо и с досадой хлопнул ладонью по фонарю.

— Значит, вешать всех шестерых!

Наш капитан был человек дошлый и тертый, несколько грубоватый в обращении, и тридцать лет плаваний по Средиземноморью врезали глубокие морщины в его обветренную, загорелую кожу, посеребрили ему бороду. Он-то знал, как поступать с людьми, которые, закат встречая в Берберии, а рассвет — на испанском берегу, опустошали все, что попадалось под руку, и преспокойно возвращались досыпать домой.

Солдат доложил о чем-то Муэласу, и тот повернулся к капитану:

— Говорит, оба белобрысых — обрезаны... Один предатель — француз, другой — из Лиорны.

— К веслам — обоих.

Теперь понятно, почему так яростно сопротивлялась галеота — матросы ее знали, на что идут, и терять им было нечего. Почти все мориски на борту предпочли бы погибнуть в бою, чем сдаться, и тут, по бесстрастному замечанию Муэласа, сказывалось воздействие земли, родившей этих морских псов. Исстари и повсеместно повелось так, что испанские солдаты не оставляли в живых своих отрекшихся от истинной веры земляков, если те командовали пиратскими кораблями, да и рядовых матросов-морисков щадили лишь в том случае, если те попадали к ним в руки без боя: тогда их передавали святейшей инквизиции. Морисков, то есть крещеных, но сомнительных в смысле веры мавров, изгнали из Испании восемнадцать лет назад, после многих кровавых восстаний, лживых обращений, предательств и новых мятежей. Тысячу злосчастий претерпевали они в этом исходе: погибали, лишались всего достояния, видели, как становятся жертвами насилия их жены и дети, а когда добирались до побережья Северной Африки, находили не очень-то радушный прием у своих единоверцев и соплеменников. Обосновавшись наконец в самых пиратских портах — в Алжире, Тунисе, а по большей части — в Сале, расположенных ближе всего к берегам Андалузии, они делались наилютейшими, непримиримейшими врагами нашими — никто не проявлял большей жестокости в стычках на море и при налетах на приморские испанские городки и селения: разоряли их беспощадно, благо, во-первых, знали местность, как собственный двор, каковым она, в сущности, и была, а во-вторых, действовали со вполне понятной и объяснимой злобой людей, явившихся поквитаться и свести старинные счеты.

— А тех — повесить, да без лишнего шума, — посоветовал Урдемалас. — Чтобы переполох среди пленных не поднялся. Вздернуть после того, как все уже будут в кандалах.

— Невыгодно, сеньор капитан, — возразил комит, въяве представив, как повиснут на реях еще сколько-то тысяч реалов. — Прямой убыток.

Комит, который по части скаредности мог перещеголять и своего капитана, был наделен отталкивающей наружностью и еще более омерзительными душевными свойствами и, стакнувшись с корабельным профосом, умудрялся получать дополнительный доход, делая — не безвозмездно — различные послабления и поблажки гребцам.

— Мне плевать на ваши деньги, — ответил Урдемалас, испепелив его взглядом. — И на тех, кто мог бы вам их добыть.

Комит, зная, что с капитаном шутки плохи, а перечить ему — дело дохлое, пожал плечами и удалился, громким голосом требуя у подкомита и профоса веревок. Оба они были в это время заняты тем, что расковывали погибших в ходе боя гребцов — четверых мавров-невольников, голландца и троих испанцев, сосланных на галеры по приговору суда, — чтобы сбросить их тела в море, а освободившиеся цепи надеть на пленных. Еще с полдюжины гребцов в ручных и ножных кандалах жалобно стенали на окровавленных банках, ожидая, когда ими займется наш цирюльник, исполнявший на «Мулатке» обязанности судового лекаря и хирурга и любую рану, сколь бы ни была она ужасна, лечивший, как водится на галерах, уксусом и солью.

Тут Диего Алатристе встретился глазами с Мануэлем Урдемаласом.

— Двое морисков — почти дети, — промолвил мой хозяин.

И это была сущая правда. В тот миг, когда *капудан* упал раненным, Алатристе заметил двоих юнцов — они скорчились меж кормовых банок, пытаясь укрыться от разящей стали. Заметил — и самолично отвел в сторонку, чтобы им в горячке боя не перерезали горло.

Урдемалас скорчил злобную гримасу:

— Что это значит — «дети»?

— То и значит.

— Родились в Испании?

— Понятия не имею.

— Обрезаны?

— Скорей всего.

Моряк выбранился себе под нос, не сводя глаз с собеседника. Потом обернулся к сержанту Альбадалехо:

— Займитесь-ка ими. Осмотрите у них оснастку. Есть волосы на лобке — значит, как Бог свят, есть и шея, за которую можно вешать. Нет — значит, сажай на весла.

Сержант без особой охоты побрел по настилу гребной палубы к захваченной галеоте. Заголять мальчишек, чтобы убедиться, что они уже созрели для петли, было во всех смыслах слова срамное дело, однако против рожна, как известно, не попрешь. Капитан меж тем продолжал сверлить Алатристе пытливым взглядом, словно пытаясь понять, не кроется ли чего-нибудь за этим его заступничеством. Дети они или не дети, в Испании родились или нет — кстати, последние мориски, жители долины Рикоте в Мурсии, покинули нашу отчизну в 1614 году — для Урдемаласа, как и для почти всех испанцев, в любом случае речь о жалости и сострадании не шла. Двух месяцев еще не минуло с того дня, как пираты высадились на побережье Альмерии, угнали в рабство семьдесят четыре человека из одной приморской деревни, саму ее разграбили дочиста, алькальда же и еще одиннадцать жителей, поименованных в некоем списке, — распяли. Женщина, которой удалось где-то спрятаться от расправы, уверяла потом, что в числе разбойников были и мориски, некогда обитавшие в этой деревне.

Так что на этом средиземноморском перекрестке, где, кипя в котле застарелой ненависти, смешалось столько племен и наречий, давние счеты были у всех со всеми. Что касается собственно морисков, для которых родными были каждая тропинка и любой уголок в тех местах, куда они возвращались для мести, то об этом их неоспоримом преимуществе дон Мигель де Сервантес, не понаслышке знакомый с пиратами, ибо и сражался с ними, и в плену у них сидел, писал сравнительно недавно в своих «Алжирских нравах»[[4]](#footnote-4):

Рожденный и возросший в сем краю,

Все выходы я знаю здесь, все выходы,

А супостат найдет в нем в смерть свою...

— Вы, сдается мне, бывали в тех местах, не правда ли? — настойчиво спросил Урдемалас. — В Валенсии, в шестьсот девятом?

Алатристе кивнул. В замкнутом пространстве галеры тайны недолго остаются тайнами. У него с Урдемаласом были общие друзья, а сам он благодаря боевому опыту занимал несколько особое положение и фактически исполнял капральские обязанности. Они относились друг к другу с уважением, но табачок, как говорится, держали врозь.

— Ходили слухи, — продолжал Урдемалас, — будто помогали приструнить малость тамошний народец?

— Помогал, — ответил Алатристе.

Можно и так сказать, подумал он. Схватки и стычки, скалистые отроги и кручи, палящий зной, засады, ловушки, убийства из-за угла, казни. Беспримерная жестокость с обеих противоборствующих сторон, а между ними — несчастные мирные жители, христиане и мориски, которым, как оно всегда и бывает, приходилось платить за разбитые горшки. Насилия, кровопролития, бесчинства — и страдают опять же они. А потом — длинные вереницы этих бедолаг, бросивших свои дома, продавших за бесценок все, что нельзя унести с собой, влекутся по дорогам, а их преследуют, грабят все кому не лень — и местные крестьяне, и сами солдаты, из которых многие даже дезертировали, чтобы предаться этому делу без помехи. Потом всходят на корабли, увозящие их на чужбину, где, как сказал Гаспар Агиляр:

...кровного лишившись достоянья,

На нищенство они обречены...

— Клянусь честью, — промолвил капитан Урдемалас, улыбнувшись не без лукавства, — вы не больно-то гордитесь своей службой Богу и королю?

Алатристе пристально взглянул на собеседника. Потом медленно провел двумя пальцами левой руки вдоль усов, приглаживая их.

— Вы, сеньор капитан, разумеете то, что было сегодня или же относящееся к девятому году?

Сказано это было очень отчетливо и холодно, хотя и совсем негромко. Урдемалас беспокойно переглянулся с Муэласом, своим помощником и вторым капралом.

— По поводу сегодняшнего дела мне сказать нечего, — ответил он, всматриваясь в лицо Алатристе так внимательно, будто задался целью пересчитать все его шрамы. — Будь у меня под началом десятеро таких, как ваша милость, мы за одну ночь взяли бы Алжир. Разве что...

Алатристе, пропустив мимо ушей похвалу, продолжал гладить усы:

— «Разве что» — что?

— Ну... — пожал плечами Урдемалас. — Мы здесь все свои, и все про всех все знают. Поговаривают, вам не нравилось то, что было в Валенсии... И будто бы вместе с вашей шпагой вы передались противной стороне.

— А вы, сеньор капитан, имеете на сей счет личное мнение?

Урдемалас следил за движениями левой руки Алатристе, оставившей усы в покое и упершейся в бок, совсем рядом с эфесом шпаги — помятым и исцарапанным ударами чужих клинков. Моряк был человек неробкий, и все это знали. Но слухами не только земля полнится, но и море, а молва об Алатристе как о человеке весьма опасного свойства впереди его бежала и опередила его появление на «Мулатке». Мало ли, конечно, что о ком говорят, можно и пренебречь. Однако в этот миг, наблюдая за ним и за его руками, самый несмышленый юнга поверил бы, что люди зря не скажут. И Урдемалас знал это лучше, чем кто-либо еще.

— Нет, — отвечал он. — Не имею. Каждый человек — это целый мир... Но что говорят, то говорят.

Он произнес это твердым голосом, искренним тоном, и Алатристе минуту раздумывал. Но ни к сути этого высказывания, ни к форме, эту суть облекавшую, нельзя было предъявить никаких претензий. Командир галеры был умен. И осмотрителен.

— Ну и пусть себе говорят, — уступил Алатристе.

Прапорщик Муэлас счел за благо высказаться в ином ключе.

— Я из Вехера, — сказал он. — И отлично помню, что творили в наших краях турки, ведомые местными морисками, которые говорили им, когда и откуда напасть, чтобы застать нас врасплох... Соседский мальчонка погонит, бывало, коз на выпас или, скажем, с отцом порыбачить, а утро встретит уже где-нибудь в подвале у берберов. Может, стал таким, как эти, на галеоте... от святой веры отступился. Может, в содомита его превратили... Они детей насиловали... Про женщин уж я не говорю.

Помощник и второй капрал угрюмо закивали. Оба слишком даже хорошо знали, как люди строили дома где-нибудь в горах повыше, подальше от береговой полосы, чтобы уберечься от берберийских пиратов, налетавших с моря, как жили в вечном страхе перед набегами морских разбойников и их сухопутных единоверцев, помнили о кровавых мятежах морисков, не желавших признавать королевскую власть и принимать крещение, славших тайные просьбы о помощи во Францию, лютеранам и туркам с тем, чтобы подготовить общее восстание. После проигранных в Гранаде и Альпухарре войн, после того, как провалились все попытки Филиппа Третьего расселить их по другим провинциям и обратить в христианство, на весьма уязвимых берегах Андалузии собралось триста тысяч морисков — колоссальная цифра для страны с населением в девять миллионов — непокорных, упрямых, лишь формально принявших католичество, гордых, как подобает испанцам, коими они, как ни крути, и были, денно и нощно мечтавших вернуть себе утерянные свободу и независимость, изо всех сил сопротивлявшихся намерению влить их в единую испанскую нацию, выплавленную столетие назад, что, кстати, развязало жесточайшую войну на всех границах нашего королевства, ибо разом ополчились на нас движимые алчной завистью Англия и Франция, еретики-протестанты и необозримая в ту пору могучая турецкая держава, она же — Блистательная Оттоманская Порта. И потому, пока не решено было окончательно изгнать морисков из пределов нашего королевства, этот, по-ученому говоря, анклав являл собою кинжал, готовый вонзиться в спину Испании, повелевавшей полумиром, а с другой половиной находившейся в состоянии войны.

— Сущее бедствие было, — продолжал меж тем Муэлас свой рассказ. — От Валенсии до Гибралтара мы, старые христиане, оказались будто в клещах: с моря — пираты, со стороны гор — мориски. А кто, как не они, раскладывал сигнальные костры по ночам, кто пристани устраивал, чтоб удобно было причалить, высадиться да начать грабеж, а уж на какие только ни шли они увертки и отговорки, чтобы не есть свинину...

Диего Алатристе качнул головой. Не все было так, и он это знал.

— Случалось мне встречать среди них и людей, искренно обратившихся в истинную веру, верноподданных нашего короля. Один такой служил у нас во Фландрии в полку... Да и вообще это работящий, трудолюбивый народ. Среди них нет идальго, проходимцев, монахов, нищих-попрошаек... И тем они с самого начала отличны были от испанцев.

Все воззрились на него, и повисло довольно продолжительное молчание. Потом прапорщик, отгрызя и выплюнув за борт кусочек ногтя, высказался так:

— Этих достоинств, пожалуй, маловато будет. Непременно следовало покончить с постоянным источником смуты. Вот, с Божьей помощью, и покончили.

Алатристе подумал, что на самом деле ничего еще не кончилось. Глухая междоусобная война, на которой одни испанцы убивали других, продолжалась — только иными средствами и в других местах. Кое-кому из морисков — очень, впрочем, немногим — удалось впоследствии и тайно вернуться в отчий край, с помощью соседей обосноваться там. Остальные же, изгнанные из Гранады и Андалузии, из Арагона, Кастилии и Валенсии, унесли свою злобу и тоску по утраченной родине в пиратские города Берберии, сильно поспособствовав укреплению Оттоманской Порты и городов на севере Африки, благо превосходно знали многие ремесла, а также в совершенстве владели навыками и умениями, потребными для морского разбоя, так что в их лице приобрел мавританский флот многих опытных и дельных мореходов — капитанов и судоводителей. Плавали стрелками-аркебузирами на галерах и галеонах — на каждом захваченном пиратском корабле обнаруживалось их обычно не менее дюжины, — оказывались прирожденными лоцманами, ибо умели пристать к берегу точно в тех местах, что намечены были для налета и ограбления, были искусными корабелами, оружейниками, пороховщиками, не знали себе равных в работорговле. Клокотавшие в них ненависть и жажда мести в сочетании с высоким воинским мастерством и решимостью сражаться, пощады не давая и не прося, делали их лучшими бойцами на всем турецком флоте, так что разбавленные ими экипажи ценились выше тех, что набирались из одних мавров. Никто не мог превзойти их в жестокости, никто не обращался с пленными беспощадней, и, одним словом, на средиземноморском театре не было у Испании врагов злейших, нежели мориски.

— Так или иначе, надо отдать им должное, — заметил помощник. — Дерутся, сволочи, как звери.

Алатристе обвел взглядом пространство вокруг галеры и галеоты. Убитые уже все пошли ко дну. Лишь некоторые, благодаря тому, что воздух остался в легких или раздул одежду, еще покачивались, раскинув руки, на тихой воде. В такие минуты едва ли кто — и уж точно не он — вздумал бы усомниться, что изгнание диктовалось суровой необходимостью. Такие уж времена. Ни Испания, ни Европа, ни весь прочий мир не склонны деликатничать и чистоплюйствовать. Алатристе, однако, не давало покоя то, *как* производили это самое изгнание — как причудливо сочеталось тут холодное чиновничье безразличие с хамоватой солдатской бесцеремонностью, как полно раскрылась тут низменная природа человека. Вспомнилось, что дон Педро де Толедо, командовавший галерным флотом Испании, писал королю: *«* ...*представляется необходимым лишать их возможности забирать с собою столько денег, ибо многие уходят очень охотно»*. И потому в лето от Рождества Христова тысяча шестьсот десятое двадцативосьмилетний солдат Диего Алатристе, ветеран Картахенского полка, переброшенного из Фландрии как раз для подавления мятежных морисков, подал рапорт о переводе в Неаполитанский полк, чтобы драться с турками в Восточном Средиземноморье. И сказал, что если уж резать мусульман — то лишь тех, которые способны защищаться. И вот судьба распорядилась так, что почти двадцать лет спустя вновь довелось ему продолжить это почтенное занятие.

— Ничего, бивал я их и в шестьсот десятом году, и в одиннадцатом, между Денией и побережьем Орана, — заметил капитан Урдемалас. — Собак этих.

Насчет собак сказано было с большим нажимом. Затем капитан очень внимательно воззрился на Диего Алатристе, будто желая проникнуть взглядом в самую его душу.

— Собак... — задумчиво повторил тот.

Ему вспомнились вереницы скованных мятежников, бредущих на рудники Альмадены, где добывали ртуть и откуда никто не возвращался живым. И старик-мориск из валенсианской деревушки — ему единственному власти, снисходя к его дряхлости и хворям, разрешили остаться, да, видно, не в добрый час: вслед за тем его насмерть забили камнями местные мальчишки, причем никто из соседей и даже приходской священник не подумали вступиться и остановить расправу.

— Если и собаки, то — разных пород, — договорил он.

И, горько улыбнувшись, с отсутствующим видом уперся светло-зеленым льдистым взглядом в глаза капитана Урдемаласа. И по выражению его лица понял — тому не понравились ни взгляд этот, ни улыбка. Но понял также и то, благо умел с первого взгляда оценить всякого, кто стоял перед ним, что Урдемалас остережется высказывать свое неудовольствие вслух. В конце концов, и с формальной точки зрения здесь никто никому не нанес обиды. Что же до всего остального и последующего, то ведь свет клином не сошелся на этой галере, где суровая корабельная дисциплина запрещает выяснять отношения с глазу на глаз, с оружием в руках. Много на свете портов, а в портах не счесть темных и безлюдных переулков, уединенных пустырей, где как-нибудь безлунной ночью Урдемалас, не имея иной защиты, кроме своей шпаги, сможет получить пядь отточенной стали куда-нибудь между грудью и спиной, да так, что даже «Иисусе!» вскрикнуть не успеет. И потому, когда взгляд и улыбка Алатристе задержались до степени вызывающей, а рука, будто по рассеянности, легла на эфес шпаги, капитан Урдемалас отвел глаза и стал смотреть на море.

## II. Сто копий — в оран

Когда пиратская галеота затонула, я оглянулся. В последнем, меркнущем свете дня виднелись пять безжизненных тел, покачивавшихся на реях над самой поверхностью темной воды, что будто грозила вот-вот поглотить их, — тела капудана, его помощника и трех морисков, среди которых был и тот юнец, у кого прапорщик Муэлас обнаружил поросль на лобке. Второго, помладше и, выходит, посчастливее, посадили на весла вместе с другими пленными, и они теперь, прикованные к банкам, гребли или — опять же в цепях — ожидали своей очереди в трюме. Что же касается штурмана-мориска, оказавшегося родом из Валенсии, то он, уже с петлей на шее, стал клясться на хорошем испанском языке: мол, хоть и покинул Испанию в детстве, но неизменно оставался верен своему обращению и всегда жил, как подобает доброму католику, столь же чуждому поклонникам пророка, как тот христианин, что воскликнул когда-то в Оране:

Не клял Христа, не славил Магомета.

А что пришлось носить бурнус с чалмой —

Мне лишь за тем потребовалось это,

Чтоб дальний замысел исполнить мой.

— ...Обрезание же, поверьте, было чистейшей проформой: без этого, а верней сказать — с этим, не прожить ни в Алжире, ни в Сале. — На что капитан Урдемалас, очень развеселившись, отвечал в том смысле, что если ты христианином был и остаешься, то, значит, и смерть прими, как ему подобает. И, поскольку капеллана у нас на галере не имеется, прочти, будь добр, по разу «Верую» и «Отче наш», ну и еще что-нибудь по своему усмотрению, чтобы с чистой совестью переселиться в мир иной, а для исполнения долга твоего будет тебе предоставлено известное, пусть и малое, время перед тем, как петля захлестнет горло. Мориск принял рекомендацию капитана Урдемаласа в дурную сторону и страшнейшей матерщиной покрыл Господа нашего Иисуса Христа и Пречистую Деву, но теперь уж не столько на правильном кастильском языке, сколько на том бытующем в Берберии наречии, что именуется *лингва-франка* [[5]](#footnote-5), и приправил свое богохульство отборной валенсианской бранью, причем остановился только раз, набрать воздуху, но и передышку эту использовал, чтобы харкнуть смачно и метко прямо на сапог Урдемаласу, отчего капитан распорядился провести экзекуцию по сокращенному варианту, то есть без «господи-помилуй» и без «господа-душу-мать», и мориск со связанными за спиной руками задергался на рее, не облегчив душу свою молитвой, а бранью — не отведя. Раненых же корсаров, не разбирая, мориски они или нет, сбросили без долгих слов в море. Но одного из тех, кто заслуживал именно петли, повесить не смогли. Он был ранен в шею, однако оставался на ногах: разрез в полпяди шириной чудом каким-то не затронул артерию, и потому бедняга не истек кровью, да и вообще, если смотреть на него с другого боку, был, конечно, мертвенно-бледен, но свеж, как только сорванный с грядки салат-латук, коим я тщусь заменить в сем случае избитое слово «огурчик». По мнению профоса, повесишь его — голова оторвется, и зрелище выйдет совершенно непотребное. Окинув пленного взглядом, капитан согласился с этим, и беднягу, скрутив ему руки, столкнули за борт, как и всех прочих.

Дул слабый норд-ост, луна не выкатилась на небо, зато звезд было в избытке, когда я почти ощупью отправился искать капитана Алатристе. На заполненной людьми палубе — язык не поворачивается сказать «вонючей», поскольку я сам, вдосталь пропитавшись разнообразными дурными запахами, щедро источал их, — солдаты и моряки, получив розданные им соленую рыбу и толику вина для восстановления сил, отдыхали после боя, покуда гребная команда, бросив весла и доверив заботы о продвижении корабля попутному ветру, закусывала вымоченными в масле и уксусе сухарями; звучали тихие беседы и громкие стоны раненых и ушибленных. Слышно было, как кто-то напевает, побрякивая в такт цепями и похлопывая ладонями по обитым кожей банкам:

Христианская галера,

это что еще за зверь?

Задних лап — в помине нету,

а передних — сотни две.

В общем, ночь ничем не отличалась от всех прочих. «Мулатка» медленно подвигалась в темноте, держа курс на юг, и колыхание надутых парусов, огромными светлыми пятнами нависавших над палубой, то скрывало от наших глаз усыпанное звездами небо, то вновь его нам являло. Хозяина своего я нашел на корме по левому борту, возле такелажной кладовой. Алатристе стоял неподвижно, облокотясь о фальшборт, и смотрел на темное небо и море, которые на западе еще слабенько отсвечивали красным. Мы перекинулись с ним несколькими словами насчет давешнего боя, а потом я спросил, верны ли гулявшие по судну слухи, что, мол, назад пойдем не в Мелилью, а в Оран.

— Урдемалас не хочет далеко забираться в открытое море с таким грузом на борту, — отвечал капитан. — Предпочитает зайти в ближайший порт да продать пленных. Так будет спокойнее.

— И выгоднее! — весело подхватил я, ибо, как и все на галере, произвел подсчеты, из которых получалось, что минувший день принес двести эскудо самое малое.

Алатристе пошевелился. Из ночной тьмы тянуло холодом, и по шороху я догадался, что капитан застегивает колет.

— Губы-то не раскатывай, — посоветовал он. — В Мелилье за рабов платят хуже... Однако до нее рукой подать, а до Орана — сорок лиг. Мы ведь в одиночном плаванье, вот Урдемалас и опасается нарваться на неприятную встречу.

В Мелилье мне прежде бывать не доводилось, и я обрадовался новым впечатлениям, однако Алатристе и здесь остудил мой пыл, рассказав, что городок этот — всего лишь маленькая крепость на оконечности скалистого мыса, где несколько домиков лепятся к склону огромной горы Гуругу, а жители не расстаются с оружием, ибо окружены, как и все испанские анклавы на африканском побережье, враждебными арабскими племенами. Для просвещения досужих читателей поясню, что арабами именовались в ту пору оседлые или кочевые, но одинаково воинственные и вероломные мавры, жившие за городской чертой, которых вместе с обитавшими внутри ее называли мы берберами, чтобы отличить от турок из Турции, в большом количестве то наезжавших из Константинополя, то возвращавшихся туда. Там правил Великий Турок, сиречь султан, более или менее верными вассалами коего в большей или меньшей степени, зависевшей от постоянно меняющейся обстановки, были все они; потому-то для краткости звали мы всех, кто наведывался на наши берега, турками, независимо от того, принадлежали они к этой нации или же нет. Так и говорили: «Интересно, высадится в этом году турок или нет?» — или: «Любопытно, турецкая это фелюга или еще чья?» — хотя судно могло быть приписано к порту Сале или Туниса, а не Анатолии. Здесь уместно будет упомянуть о том, что корабли всех стран мира, ведя оживленнейшую торговлю, прибывали ежечасно в густонаселенные пиратские города, где, опричь местных жителей, равно как и морисков, иудеев, вероотступников, а также мореходов и купцов всех наций и государств, обитало и бесчисленное множество христиан-рабов — за подробностями отсылаю вас к Сервантесу, Херонимо де Пасамонте[[6]](#footnote-6) и прочим неоспоримо авторитетным авторам, которые знакомы были с невольничьей долей не понаслышке. И прошу досточтимых читателей принять во внимание, сколь сложен и замысловат был мир, расположившийся по берегам этого внутреннего моря, представлявшего собою естественную границу Испании с юга и востока, это двоесмысленное, подвижное, опасное, беспрестанно менявшее очертания пространство, где с нами перемешивались различные расы, выступая за или против нас, становясь либо противниками, либо союзниками в зависимости от того, какая дробь выбивалась на заплатанной барабанной шкуре. Справедливости ради отмечу, что не в пример Англии, Франции, Голландии и Венеции, которые якшались с Турцией и даже объединялись с нею против других христианских народов — и прежде всего против Испании, когда это казалось им уместным, а казалось почти всегда, — мы, сколько бы ошибок ни наляпали, в каких бы противоречиях ни вязли, неуклонно отстаивали чистоту истинной веры, не поступаясь ни единой буквой Священного Писания. И, в надменном сознании своего могущества без меры и счета тратили деньги и проливали кровь, покуда не надорвались в полуторастолетней войне, которую в Европе вели против последышей Лютера и Кальвина, а на средиземноморских берегах — с приверженцами пророка Магомета. За взятием Лараче последовало спустя четыре года и падение Маморы. Две берберийские твердыни, как и все прочие, достались нам большой кровью, ценой огромных жертв, удерживались с неимоверным трудом, а потом, к стыду нашему, были потеряны из-за извечной нашей расхлябанности и всегдашнего невезения. Ах, и в этом случае, как и почти во всех остальных, стоило бы нам уподобиться другим народам, то есть печься о процветании ревностнее, нежели о репутации, расширять нами же открытые горизонты, вместо того чтобы припадать к зловещим сутанам королевских духовников, дрожать над привилегиями, даруемыми кровью и родом, славить не труд, к коему никогда у нас не было ни влечения, ни склонности, но шпагу и крест, от которых угас светоч нашего разума, сгнили и сгинули отчизна и душа. Но ведь никто не дал нам права выбора. Что ж, по крайней мере, к вящему изумлению Истории, мы, горсточка испанцев, отбиваясь до последнего, сумели сделать так, что мир очень дорого заплатил за свои притязания. Вы, господа, скажете, пожалуй, что это слабое утешение, скажете — и будете, несомненно, правы. Но мы всего лишь делали то, чему были обучены, исполняли нашу должность, думать не думая о властях, о философиях, о богословских тонкостях. Да чёрта ли нам в них?! Мы были солдаты.

Вот угас последний красноватый отблеск у черного горизонта. И небо от моря отличить можно было только по густой россыпи звезд, под которыми в полнейшей тьме плыла наша галера, подгоняемая восточным ветром, ведомая искусством рулевого, который держал курс на звезду, указующую, где север, или время от времени открывал ящичек — богопротивные голландцы именуют его «нактоуз», — где слабый огонек освещал стрелку компбса. Позади, у грот-мачты, кто-то спросил капитана Урдемаласа, не зажечь ли кормовой фонарь, на что последовал ответ — тому, кто, мол, выбьет кресалом хотя бы малую искру, он, капитан, лично выбьет мозги.

— А насчет солдатского богатства, — заговорил вдруг Алатристе, словно вздумал вдруг ответить на мои слова, — я, признаться тебе, ни разу не видел, чтобы оно приваливало к кому-нибудь надолго. Все в распыл идет — на пропой души, на игру, на баб... Да ты сам это отлично знаешь.

И воцарившееся молчание было довольно красноречиво. Достаточно кратко, чтобы эти слова не звучали упреком, и достаточно продолжительно, чтобы укоризна все же чувствовалась. А я и в самом деле отлично знал, о чем речь. Мы были вместе уже почти пять лет и уже семь месяцев провели в Неаполе и на галерах, так что у друга моего отца был случай заметить во мне кое-какие перемены. И не только телесные, хоть я уже догнал его ростом и был, кстати, хоть и худощав, но строен, с сильными руками, крепкими ногами и довольно приятным лицом, — нет, я имею в виду перемены другие, более сложные и потаенные. Я знал, что капитан никогда не желал, чтобы будущность моя была связана с военной службой, а потому при помощи друзей своих, дона Франсиско де Кеведо и преподобного Переса, старался сызмальства приохотить меня к чтению хороших книг и к переводам с латинского и греческого. Пером, часто повторял он, дотянешься дальше, чем шпагой; и перед тем, кто поднаторел в литературе и юриспруденции да еще сумел занять прочное положение при дворе, откроется путь попривлекательнее, нежели у профессионального вояки. Однако пересилить природную мою склонность оказалось невозможно, и, хотя благодаря его усилиям, удалось все же привить мне вкус к словесности — так что спустя столько лет, кажущихся ныне столетиями, я и сам взялся за сочинительство, занося на бумагу нашу с капитаном историю, — но родовое начало, передавшееся мне, по всей видимости, от отца, что сложил голову во Фландрии, равно как и годы, проведенные бок о бок с Диего Алатристе, беспокойную и опасную жизнь которого начал я делить с тринадцати лет, предопределили мою судьбу. Я хотел быть солдатом, и наконец стал им, и предавался марсовым, так сказать, утехам со всем пылом необузданной младости.

— Баб у нас на галере не имеется, вино преотвратное, да и того мало, — отвечал я, слегка уязвленный. — Так что зря вы это, обидно слушать... Ну а насчет игры... У меня, сами знаете, в кармане — вошь, а на аркане — блоха...

Вошь, кстати, упомянута была не для красного словца. Капитан Урдемалас, утомясь от бесконечных потасовок и прочего мордобоя, объявил карты и кости на борту вне закона, а тех, кто пренебрежет запретом, пообещал заковывать в цепи. Однако голь на выдумки хитра, или, как говорят в наших краях, кобыла смыслит больше кучера, а потому моряки и солдаты изобрели новую игру: мелом вычерчивали на дощатом столе несколько кружков, в центр сажали уловленную вошку — одну из того множества, что в буквальном смысле ели нас поедом, — и делали ставки на то, куда именно она поползет.

— Вот когда вернемся в Неаполь, видно будет, — досказал я.

И поглядел на капитана краем глаза, ожидая какой-нибудь ответной реплики, однако темная фигура, рядом и вместе со мной чуть покачивавшаяся на шаткой палубе, оставалась безмолвна и неподвижна. Дело все было в том, что еще некоторое время назад капитан понял: как ни старайся оберечь и защитить своего питомца, не получается его оградить от кое-каких предосудительных сторон военной жизни, не говоря уж об опасностях, прямо с нею связанных, ибо за годы, протекшие с тех пор, как моя бедная матушка прислала меня в Мадрид под опеку Диего Алатристе, я несколько раз ввязывался в его сомнительные предприятия, или, если угодно, темные дела, очень сильно рискуя и свободой, и самой жизнью. Теперь я был — ну или должен был вот-вот стать — сложившейся личностью. И если капитан иногда решал вразумить меня добрым советом — а ведь вы, господа, помните, верно, что он относился к тому сорту людей, которые отдают безоговорочное предпочтение делам, а не словам, — то они во мне должного и сочувственного отклика не находили, ибо я считал, что превзошел всю житейскую премудрость и мне море по колено. Осознав тщету своих наставлений, капитан, как человек безмерно опытный, дальновидный, предусмотрительный и любящий меня, вместо того чтобы читать мне морали, просто-напросто старался оказываться рядом всякий раз, как считал это необходимым. Власть же свою употреблять — а он, видит Бог, делал это превосходно — лишь в самых крайних случаях.

Допускаю, что в отношении женщин, вина и карт были у него кое-какие основания досадовать на меня. Жалованье свое, составлявшее четыре эскудо в месяц, равно как и деньги, добытые в предыдущих предприятиях, когда атаковали в заливе Майна два турецких трехпалубных *купца*, провели прелестный денек на побережье Туниса, взяли, что называется, «на шпагу» парусник у мыса Пахаро и галеру, севшую на мель у Санта-Марии, тратил я до последнего грошика, поступая в сем случае в полнейшем соответствии с установившимися среди нашего брата правилами и без малейших отличий от того, как вел себя в пору своей юности капитан Алатристе, что он и сам пусть неохотно, но признавал. Правда, надо сказать, что жажда новых ощущений не давала мне покоя. Ибо для здорового парня моих лет, к тому же испанца, Неаполь, мировой перекресток, был истинным раем на земле: отличные трактиры, лучшие на свете таверны, роскошные девки — было, одним словом, на что солдату порастрясти мошну. Кроме всего прочего, судьба, словно бы для того, чтобы еще больше окрылить меня, подгадала так, что там же оказался в ту пору Хайме Корреас, мой собрат по ремеслу мочилеро, с которым проделали мы всю фламандскую кампанию двадцать пятого года. Он уже прослужил в Италии достаточно, чтобы приобщиться в полной мере ко всем ее злачным местам. О нем речь у нас будет впереди, а сейчас скажу лишь, что бо́льшую часть зимы, покуда разоруженные галеры стояли на ремонте, я, как ни супил брови капитан Алатристе, провел в обществе Хайме и в удалых набегах на таверны и игорные дома, не пренебрегая и домами веселыми — впрочем, тут я все же усердствовал не слишком. И дело было не в том, что бывший мой хозяин лицемерил или был святее папы римского, — вот уж нет, совсем, как вы знаете, наоборот, однако азартные игры, досуха выдоившие столько солдатских кошельков, никогда его не привлекали. Что же касается иных увеселений, то мастерицы нескучного досуга, которых он иной раз посещал — хоть никогда не нуждался в покупном корме, ибо неизменно умел устроиться так, чтобы пощипать на тучных лугах сочную даровую травку, — были все наперечет и вполне надежны. Ну, зато, правда, Бахусову пороку предавался капитан так, словно вырвался из адского пекла, где истомился неутолимой жаждой. Но, хотя он нередко напивался допьяна, особенно в те дни, когда дух его был омрачен печалью или гневом, — тут, кстати сказать, делался он особенно опасен, ибо вино не притупляло его чувств и не влияло, сколько ни вливай, на твердость руки и проворство, — однако неизменно совершал это в полнейшем одиночестве и без свидетелей. И, я полагаю, побуждали его опорожнять одну бутылку за другой не столько приятные ощущения, сколько желание утопить в вине каких-то гнездящихся в душе и когтящих ее демонов, никому, кроме Господа нашего и самого капитана, не ведомых.

С первыми рассветными лучами наша галера бросила якорь у стен Мелильи, испанской крепости, отбитой у мавров сто тридцать лет назад, причем стала не в лагуне, а с внешней стороны, в бухточке, и не на якорь стали, а пришвартовались к берегу, и, короче говоря, сделав все, чтобы оказаться под защитой высоченных крепостных башен и стен. Внушительный облик города оказался, впрочем, совершенной мнимостью, в чем, покуда капитан Урдемалас уточнял стоимость пленных, убедились мы, пройдя вдоль стен и по узеньким улочкам, где не было ни единого деревца. Всюду чувствовались заброс и запустение. Восемь веков изнурительной борьбы с исламом умирали на этой убогой границе. Поток золота и серебра из Индий лился мимо, сюда не попадало ни грошика. Все уходило в лапы генуэзских банкиров, если не перехватывалось на штормовых торговых путях англичанами и голландцами — дай им Бог сдохнуть без покаяния! Ныне все августейшие помыслы устремлены были к Фландрии да Индиям, африканские же наши затеи, некогда столь милые сердцу великого императора Карла и наследовавших ему католических государей, утратили всякую привлекательность в глазах четвертого Филиппа и его фаворита, графа-герцога Оливареса, причем до такой степени утратили, что об этом сложена была даже язвительная сатира, распространявшаяся в списках без имени автора:

...Плевать, что втуне сгинут все усилья

И черный час придет для христиан,

Как только мавр оттяпает Оран,

И за Сеутой вслед падет Мелилья, —

Когда у андалузских берегов,

К нам искони кипящих злобой дикой,

Услышишь плеск турецкого весла —

С кем станешь отбивать тогда врагов?

Витиза нет средь нас, нет Родерика,

А Юлианам подлым — нет числа[[7]](#footnote-7)

Но, хоть стихами говори, хоть прозой, дело было в том, что крепости на побережье Северной Африки держались просто чудом и спасала их скорее былая слава, нежели что-либо иное, и пираты, хоть и лишились из-за них доступа к некоторым портам и опорным пунктам, жили себе не тужили в Алжире, Тунисе, Сале, Триполи или в Бизерте. И запертые в этом каменном мешке, чьи казематы и бастионы ветшали и разрушались из-за того, что не на что было их восстанавливать, наши солдаты, в большинстве своем — израненные и покалеченные ветераны, давным-давно выслужившие себе отставку и покой, — вместе с семьями своими ходили оборванцами и влачили полуголодное существование — ибо тут не было и клочка земли, чтобы вырастить на ней что-нибудь, — со всех сторон окруженные врагами, а какая бы то ни было помощь могла прийти только с Полуострова, а до него, прикиньте, день — ну, может, чуть меньше — пути по морю. И придет она не вдруг: это зависит от состояния моря и от расторопности тех, кому в Испании по должности полагается помощь эту оказывать. Так что Мелилья, как и прочие наши африканские владения, включая Танжер и Сеуту, о которых португальцы с полным правом могли сказать: «Были наши — стали ваши» [[8]](#footnote-8), рассчитывать могла только на отвагу своего гарнизона да на более-менее мирные отношения с сопредельными маврами, то выторговывая у них, то добывая силой необходимые припасы. Многое из всего этого я понял, обойдя город и поглядев на источники пресной воды, от которых зависела здесь вся жизнь. Побывал в лазарете, в церкви, в подземной галерее Санта-Ана и на том рыночке за крепостной стеной, куда из окрестных мавританских селений привозили на продажу мясо, рыбу, овощи: весьма, надо сказать, оживленное место, но — лишь до захода солнца, ибо перед тем, как на ночь закрывались городские ворота, Мелилью должны были покинуть все арабы, за исключением самых надежных и проверенных — те могли остаться и переночевать в местной тюрьме, под присмотром альгвазила. Его самого мне увидеть не довелось, потому что в этот же вечер «Мулатка», пока о нас не дали знать, потихоньку, на веслах, выбралась в открытое море, а там, пользуясь ветром с берега, двинулась на восток, так что рассвет застал нас уже на траверзе Чафариновых островов, на полпути к Орану, куда к вечеру следующего дня мы и прибыли без приключений, счастливо избежав неприятных встреч.

Оран — это, конечно, было нечто совсем другое, хотя место тоже далеко не райское. И этот город пребывал в бедственном состоянии, присущем, впрочем, всем испанским крепостям на африканском побережье, по причине скверного снабжения и ненадежных средств сообщений, и его равелины да бастионы тоже пребывали в забросе и небрежении. Разница была в том лишь, что не в пример Мелилье, скажем, где стены возвели на голом утесе, Оран был настоящим городом, благо рядом протекала река, так что воды было в изобилии, а где вода — там богатые урожаи с огородов и садов; гарнизон же его, хоть и не очень многочисленный — в ту пору насчитывал он тысячу триста солдат с семьями да еще полтысячи жителей, занимавшихся кто чем, — вполне мог отбить и нападение, и охоту повторять его. Так вот, короче говоря, если прочие испанские крепости были заброшены в небрежении, то судьба Орана была пусть и плачевна, но все же лучше, чем у других. Зримым доказательством тому служил караван груженных всяким припасом судов, вошедших в бухту Фалькон: там-то между грозным фортом Масальквивир и мысом Мона, под защитой пушек замка Сан-Грегорио, и расположилась Оранская гавань. Там наша галера, вернувшись к флотилии, чей ордер покинула, погнавшись за пиратом, и стала на рейде невдалеке от берега, рядом с вынесенной в море башней, а мы на катере добрались до суши и дальше пешком прошли примерно полулигу до города, с высоты нависавшего над побережьем и повторявшего все его изгибы, надвое разделенного рекой, по обоим берегам которой живописно раскинулись сады и рощи, белели ветряные мельницы.

Добрались, говорю, преисполненные радости оттого, что вновь ступили на твердую землю, да притом — не с пустым карманом, и пусть Оран в подметки не годился Неаполю, мог все же и он предоставить кое-какие увеселения. В избытке было там таверн, коими владели отставные солдаты, рынок, благодаря торговле с маврами, ломился от товаров, а доставленные нами с Полуострова зерно, порох и ткани сильно обрадовали местных. Город, хоть и был невелик, располагал каким-никаким, а все же публичным домом, ибо в отношении к подобным гарнизонам даже епископы и богословы, всласть подискутировав на эту тему, пришли к выводу, что следует покориться неизбежному, ибо сколько-то веселых девиц легким своим поведением не только облегчают тяготы несущих воинскую службу, но и оберегают непорочность барышень и честь замужних дам, поскольку сокращается число как изнасилований, так и дезертиров, отправляющихся в мавританские деревни утолить телесный голод. Об этом и толковали мы, солдаты и моряки, намереваясь первым долгом, подобным прохождению таможни и уплате въездных пошлин, посетить оранский бордель, когда произошла, лишний раз доказуя, что за каждым поворотом жизненного пути подстерегают нас большие неожиданности, совершенно непредвиденная, невероятная и отрадная встреча.

— Да чтоб меня повесили! Это сон или явь?! — произнес знакомый голос.

И повернувшийся к нам — руки в боки, шпага на поясе — караульный начальник, который в тенечке беседовал с солдатами у входа, оказался Себастьяном Копонсом собственной персоной — низкорослой, тощей и жилистой.

— Так вот все оно и было, — завершил он свой рассказ.

Мы выпивали втроем за столиком тесной и грязной таверны, под парусиновым, многажды штопанным навесом, защищавшим от солнца. Копонс, по своему обыкновению, потратил очень мало слов, живописуя свое житье-бытье за последние два года, ибо именно столько минуло с нашей последней встречи в андалузской, опять же, таверне, где мы распрощались с ним по окончании достославной истории с «Никлаасбергеном» и золотом короля, когда при участии еще нескольких молодцов перебили множество фламандцев и испанцев-наемников. И, как поведал нам Копонс, злое невезение спутало ему карты, не позволив исполнить похвальное намерение уволиться из армии, обзавестись в родном краю, под Уэской, клочком земли, домиком и женою. Некая провалившаяся затея в Севилье, смертоносный удар шпагой в Сарагосе — и вот уж замельтешили вокруг него альгвазилы, писцы, судьи, стряпчие и прочие паразиты, гнездящиеся в канцелярских делах, как клопы за обивкой, повели хоровод, опустошили его карманы, обобрали дочиста, так что снова пришлось топать в казарму зарабатывать на жизнь. Попытался уехать в Индии — ничего не получилось: там требовались не столько солдаты, сколько чиновники, священники и мастеровые, а когда он совсем уж было собрался завербоваться во Фландрию или в Италию, случилась новая драка в кабаке, итогом коей стали двое избитых стражников и перекрещенный клинком альгвазил, — и опять затрепыхался наш Копонс в тенетах правосудия. На этот раз денег у него не хватило даже на то, чтобы сделать слепую Фемиду хотя бы кривой, и счастье еще, что судья, оказавшийся из тех же краев, посочувствовал земляку и предложил на выбор: либо четыре года в каталажке, либо год — солдатом в Оране за полсотни реалов в месяц. Так он и попал сюда, а год нечувствительно обернулся полутора.

— А отчего же вы застряли-то? — брякнул я по неизбывной своей наивности.

Себастьян Копонс переглянулся с Диего Алатристе, словно говоря: «Душевный малец этот Иньиго, только совсем еще безмозглый», и тотчас разлил по кружкам вино, кислое и едкое, неведомой лозы, однако выбирать не приходилось: мы были в Африке, и жарища там, как и полагается, была — страшное дело, не приведи, Господи. А главное — мы выпивали втроем, впервые свидевшись после Руйтерской мельницы, Бреды, Терхейдена, Севильи и Санлукара.

— Начальство не отпускает.

— А кто ваше начальство?

— Его сиятельство маркиз де Велада, комендант крепости и начальник гарнизона.

И вслед за тем, потягивая вино, рассказал мне, что такое служба в Оране: скверно обеспечиваемые, еще хуже оплачиваемые люди гниют здесь, не надеясь на продвижение по службе да и вообще — ни на что, кроме как на то, что состарятся здесь, в одиночестве или в кругу семьи, если ею обзаведутся, и тогда признают негодным, а до тех пор ни рапорты, ни прошения, ни черт, ни дьявол не помогут. Прежде чем разрешат уползти на карачках домой, в Испанию, изволь-ка лет сорок тянуть здесь лямку, ибо вакансии заполнять некем, а солдаты, которых отправляют в Берберию, не успеют на сходни взойти, а уж норовят дезертировать. Полчасика погуляй по городу — и увидишь, до чего оборваны и истощены здешние люди: на каждую счастливую оказию урвать что-нибудь приходятся недели голодухи и нехватки всего на свете: провианта не привозят, не платят ни жалованья, ни боевых, ни полевых, ни за особые условия службы и вообще ничего не платят, хотя здешний солдат обходится казне дешевле любого другого: решил какой-то придворный финансист — а его королевское величество, видать, согласилось, — что если в наличии есть вода, сады-огороды и мавры по соседству, то войско само себя как-нибудь да прокормит, так что нечего на него деньги тратить. Беда в том, что давали солдатам какое-либо вспомоществование только в самом крайнем случае, так что вот и Себастьян Копонс, прослужив полных семнадцать месяцев, ни единого медного грошика из тех ста с чем-то эскудо, что причитались ему как старому солдату, знающему обращение с аркебузой и мушкетом, не получил. Единственное подспорье — набеги.

— Чего? — переспросил я.

Копонс, сощурив один глаз, взглянул на меня. За него ответил капитан Алатристе:

— Да-да, как во времена наших дедов. Снаряжаются, выходят и грабят поселения незамиренных мавров.

— Оран, — добавил Копонс, — это старая сводня, которая тем кормится и сыта бывает.

Я глядел на него, сбитый с толку:

— Не понимаю.

— Всему свое время, — ответил Себастьян Копонс.

И налил еще. Он был, как всегда, крепок, жилист, сух, но мне показалось — не то постарел, не то устал. И вот еще что: против обыкновения удивительно речист сегодня. Мне показалось, что в душе этого человека, у которого, подобно моему хозяину, слова с языка шли туго в отличие от шпаги, вылетавшей из ножен с легкостью неимоверной, скопилось за время, проведенное в Оране, слишком много такого, что теперь, под воздействием непредвиденной встречи со старыми друзьями, растопилось и хлынуло потоком. И я слушал в оба уха, поглядывая на него с ласковой приязнью. От жары он распахнул на груди грязный и залощенный замшевый колет, надетый прямо на голое тело — сорочки, как и прочего белья, Копонс не носил за отсутствием оного; заработанный на Руйтерской мельнице шрам тянулся к левому виску, пропадая в коротко остриженных волосах, где прибавилось белых нитей. И на плохо выбритом подбородке тоже посверкивала седая щетина.

— Ты объясни ему, кто такие незамиренные мавры, — сказал капитан.

И Себастьян объяснил. Арабы, обитавшие по соседству, делятся на три разряда — мирные, немирные и *могатасы*. Мирные ведут торговлю с испанцами, доставляя им продовольствие и все прочее. Платят нечто вроде податей, и пока платят, считаются друзьями. А с той минуты, как перестают, становятся врагами.

— Звучит устрашающе, — заметил я.

— Не только звучит. Заловят кого-нибудь из наших, перережут глотку или оттяпают все мужское достояние. А мы, когда поймаем, производим это с ними...

— А как вы отличаете мирных от немирных?

Капитан качнул головой:

— Да мы и не отличаем.

— Где уж нам, скудоумным... — вставил Себастьян Копонс.

Услышав эти слова, я призадумался над их зловещей подоплекой. Потом осведомился: кто же такие могатасы? А это те, ответствовал капитан, кто, не переходя в христианство, сражается на нашей стороне как испанские солдаты.

— И что же — им можно доверять?

Копонс скорчил гримасу:

— Можно... Не всем.

— Я бы вот вообще ни одному мавру не смог довериться.

Оба ветерана насмешливо воззрились на меня. Должно быть, я показался им непроходимым дурнем.

— В таком случае тебя ждет еще много открытий. Мавры, брат, — они разные бывают.

Мы спросили еще вина, и, как деготь, черная, как смерть, страшная кабатчица — особливо завлекательны у ней были босые ноги, но и все прочее не лучше — подала новый кувшин. Я пребывал в задумчивости, глядя, как Копонс наполняет мой стакан.

— А как узнать, можно доверять или нельзя?

— Поживи с мое, мальчуган. — Копонс дотронулся до кончика носа. — Нюхом начнешь чуять. И вот что я тебе еще скажу: христиан, приверженных пороку винопийства, я на своем веку повидал немало. А мавра — ни одного. Опять же, не в пример нам, грешным, они и в карты не садятся, даже если тузов в колоде сдать им столько же, сколько лет ихнему Магомету.

— Они слова не держат, — возразил я.

— Смотря кто и кому это слово дал. Вот когда изрубили в куски людей графа де Алькаудете, его могатасы остались ему верны и дрались до последнего... Потому я тебе и говорю: мавры — они разные.

И, покуда мы добирались до дна очередного кувшина разбавленного свыше всякой меры вина — дьявол бы его побрал вместе с той паскудой, что винную бочку спутала, видать, с крестильной купелью, — Копонс продолжал живописать нам оранское житье-бытье. Людей нехватка, страшеннейшую убыль восполнять некем, повествовал он, ни одна тварь своей волей в Африку отправляться не желает, все знают: попадешь сюда — век не выберешься, завязнешь намертво. Потому и не хватает в гарнизоне четырехсот человек до списочного состава, а с Пиренеев если кого и доставляют, то либо исключительный сброд и отребье, отпетую каторжанскую сволочь, пробы ставить негде, галеры по ним плачут, либо новобранных олухов, которым в их развешанные уши напели, с три короба наплели, вот как прибывшему прошлой осенью пополнению в сорок два человека, что служить будут в Италии, а в Картахене погрузили на корабль да привезли в Оран, позабыв спросить их на то согласия, причем троицу самых артачливых пришлось повесить, прочими же доукомплектовали здешние части. Ничего не попишешь: дернула нелегкая — неси тяготы. Так что недаром и неслучайно, в добавление к поговорке «поставить копье во Фландрии», что означает трудность немыслимую, задачу невыполнимую, вроде как «луну достать с неба», добавилось еще и речение «доставить сто копий в Оран». Не с ветру оно взято, ох не с ветру.

— Так и живем... Драные, рваные, голые-босые и впроголодь. Отчаяться впору. — Копонс чуть понизил голос: — Дивиться ли, что те, кому уж совсем невмоготу и невтерпеж, кого допекло превыше сил человеческих, передаются маврам? Помнишь, Диего, бискайца Индураина?.. Ну он еще при Флерюсе оборонял хутор с Утрерой, Барреной и прочими... Один только и уцелел тогда... Он да еще трубач. Помнишь, нет?

Капитан кивнул.

— И что же сталось с этим бискайцем Индураином? — поинтересовался я.

Копонс оглядел свой стакан, сплюнул, немного скобочившись, под стол и перевел взгляд на меня:

— Что сталось? Он прокуковал здесь полных пять лет, а платы не получил и за три года. Тому назад будет два месяца, как повздорил с сержантом, сунул ему нож под ребро, а ночью ушел из-под стражи вместе с приятелем, которого от большого ума приставили к нему часовым. Перелезли через стену и смылись. Слышал, будто они добрались с большими мытарствами до Мостагана и там приняли турецкую веру. Так ли, нет, не знаю...

Алатристе и Копонс переглянулись понимающе. И потом я увидел, что мой хозяин омочил в вине усы, пожал плечами, как бы приемля смиренно и безропотно все, что судьба выкатила на долю и ему, и другу его Копонсу, и прочим, и всем, и злосчастной их Испании. Теперь я понял наконец прикровенный смысл четверостишия, слышанного мною года за два до сего дня в одном из мадридских театров и, помнится, сильно меня тогда возмутившего:

Сбежим отсюда да поищем,

куда бы приклонить главу:

невместно быть герою — нищим,

противно это естеству!

— Нет, — неожиданно сказал капитан Копонсу, — ты представь, как Индураин расстилает коврик, поворачивается лицом к Мекке и творит намаз.

И криво усмехнулся. Арагонец бегло и скупо улыбнулся в ответ, явно имея в виду то же, что и Алатристе. Веселости в этом было, надо сказать, негусто, в отличие от скепсиса, столь присущего старым солдатам, которые с полным правом могли бы сказать: «Мы так долго ходим строем, что иллюзий уж не строим».

— Но, знаешь ли, тем не менее, — сказал Копонс. — Как ударят в барабан — все тут как тут.

Святые слова, и время снова и снова подтверждало их правоту. Сколь ни велики были заброс, нищета и небрежение, в коих пребывали земли Северной Африки, но когда доходило до дела, руки для защиты их отыскивались почти неизменно. Люди сражались не для денег, не славы ради, да, кстати, на подкрепление тоже не больно-то рассчитывая — но движимые только отчаянием, гордыней и заботой о сложившемся в веках мнении, иначе именуемом *репутация*. Сражались, дабы умереть стоя, а не в неволе сдохнуть: поверьте, я знаю, о чем говорю, а достанет вам терпения дочитать мою меморию — и вы узнаете. Как бы то ни было, люди определенного сорта утешаются в смертный час мыслью, что жизнь они продали дорого. Для нас, для испанцев, это не вчера началось и не завтра кончится, и продолжаться будет, пока бо́льшая часть этих земель, Богом, а тем паче — королем забытых, не перейдет в руки турок или мавров. Так еще в прошлом веке произошло и в Алжире, когда Хайр-ад-Дин Барбаросса штурмовал запиравшую выход в порт крепость на скалах с гарнизоном в полторы сотни наших солдат, которые ждали, да так и не дождались помощи от Испании, бросившей их на произвол судьбы — по причине, как указал хронист Пруденсио де Сандоваль, «иных тяжких и многообразных забот, занимавших в ту пору помыслы нашего императора», — но тем не менее отбивались отчаянно, так что когда турки, шестнадцать дней кряду крушившие редут из пушек, ворвались в укрепление, где уже камня на камне не оставалось, то обнаружили там лишь полсотни бойцов, поголовно раненных или покалеченных, во главе с их капитаном Мартином де Варгасом, которого Барбаросса, придя в ярость от такого упорного сопротивления, приказал посадить на кол. И спустя несколько лет после описанных здесь событий свирепый натиск двадцатитысячного войска довелось испытать на себе и гарнизону крепости Лараче — полутораста солдатам да полусотне инвалидов: они дрались, будто бесами обуянные, обороняя пространство в шесть тысяч шагов. И Оран весьма достойно выдержал несколько осад и приступов, среди коих один вдохновил дона Мигеля де Сервантеса сочинить комедию «Неустрашимый испанец». Ему же, дону Мигелю то есть, не зря сражавшемуся при Лепанто, обязаны мы двумя прекрасными сонетами, написанными в память тех тысяч солдат, что пали смертью храбрых, оставленные своим королем умирать, как повелось и сейчас еще ведется в нашей истории и сделалось самым что ни на есть испанским обыкновением. Стихи эти, включенные в «Дон Кихота», вспоминают защитников прикрывавшего Тунис форта Ла-Голета, которые, противостоя двадцати пяти тысячам турок, отбили двадцать два штурма, так что из той горсточки уцелевших не нашлось ни одного, кто не был бы ранен. *«Вам не отвага — силы изменили»*, — говорится в первом сонете. Второй же звучит так:

На сей земле израненной, бесплоднойГде в прах была повержена твердыня, Три тысячи солдат легли, и в синиСтремят их души свой полет свободный.

Сперва они стеной стояли плотной,

Их тщился выбить враг в своей гордыне.

Но руки слабли, ряд редел, и ныне

Лёг под мечами строй их благородный.[[9]](#footnote-9)

Но, как уже было сказано, жертвы оказались напрасны. После битвы при Лепанто, знаменовавшей собой наивысшую точку в противостоянии двух великих средиземноморских держав, Турция обратилась к своим интересам в Персии и на восточной оконечности Европы, а наши короли — ко Фландрии и к атлантическим затеям. Столь же мало внимания уделял Африке и четвертый Филипп, нынешний наш государь, беря в сем небрежении пример со своего первого министра графа-герцога Оливареса, который сам терпеть не мог портов и галер, на палубу ни одной из коих он во всю жизнь не вступил, уверяя, будто от тамошней вони у него разыгрывается мигрень, морское же дело презирал, считая, что занятие это, низменное и заурядное, пристало одним голландцам — если только речь шла не о доставке из Индий золота, без которого не много навоюешь. И вот потому-то, благодаря королям да фаворитам, Средиземноморье, позабыв времена, когда его бороздили крупные корсарские флота, а две империи разыгрывали на его просторах мудреные шахматные партии, превратилось не в поле, так в море деятельности мелких каперов из прибрежных стран, каковая деятельность, хоть от нее кто-то менял бедность на богатство, а порою — и жизнь на смерть, уже не заставляла сердце Истории биться чаще. И теперь, когда минуло уж больше века с наивысшего взлета христианской Реконкисты, ведя которую на протяжении восьмисот лет, мы, испанцы, создавали самих себя, когда решено было отказаться от проводимой кардиналом Сиснеросом и старым герцогом де Медина-Сидония политики контрударов по исламу, уже и к Африке утратила интерес наша держава, оказавшаяся на ножах чуть ли не с целым светом. Форты и крепости в Берберии были ныне если не символами, то уж и не больше чем дозорными вышками и нужны были исключительно, чтобы держать в узде корсаров вкупе с Францией, Голландией и Англией и не дать им обосноваться на этом побережье, чтобы с него отправляться на перехват наших галеонов, идущих в Кадис. Вот и не давали мы им потачки и воли, которую давно уже обрели они в корсарских республиках на Карибском архипелаге благодаря консулам своим и коммерсантам. Ну и чтоб покончить с этим предметом, осталось мне добавить лишь, что спустя два-три года Танжер на два десятилетия стал собственностью британской короны, с толком и выгодой для себя воспользовавшейся возмущением в Португалии, и что уже в следующем, 1628 году при осаде Ла-Маморы именно английские саперы учили мавров и траншеи копать, и мины подводить. Дело известное, недаром же говорится: рыбак к рыбаку приплывет на боку — или как там?

Затем решили мы прогуляться. Копонс повел нас по узеньким улочкам, стиснутым с обеих сторон каменными, оштукатуренными стенами домов, немного напоминавших толедские с той лишь разницей, что здесь кровли были плоские и крыты не черепицей, а немногочисленные подслеповатые окна не ставнями закрывались, а завешивались циновками. От влажности, порожденной близким соседством моря, штукатурка лупилась и обваливалась кусками, от чего вид делался совсем неприглядный. Добавьте рои мух, полощущееся на веревках белье, оборванных детей, игравших в патио, инвалидов, что, сидя на ступеньках или скамейках, провожали нас любопытствующими взглядами, — и вы получите верное представление о том, каким показался мне Оран. На каждом шагу веяло здесь военным духом, да и как же иначе: город являл собою одну огромную казарму, населенную солдатами и их семьями. Впрочем, я смог убедиться, что на довольно обширном пространстве, огороженном крепостными стенами и располагавшемся на нескольких уровнях, как бы уступами, имелось также изрядное количество разного рода присутственных мест, равно как и булочных, мясных лавок и таверн. Цитадель, или крепость в крепости, где находилась резиденция губернатора и гарнизонного начальства, выстроена была еще маврами — иные уверяли, что и вовсе римлянами, — и выстроена прочно и крепко, с умом и размахом. Были в городе также казарма, солдатский лазарет, еврейский квартал — к моему удивлению, здесь еще не повывелись евреи, — монастыри францисканский, доминиканский и мерседарианский[[10]](#footnote-10), в восточной части — несколько превращенных в церкви старинных мечетей, из коих одна выделялась размерами и по воле кардинала Сиснероса, некогда завоевавшего Оран, сделалась кафедральным собором Пресвятой Девы Победу Дарующей. И повсюду, здесь и там, на улицах, на тесных убогих площадях, под парусиновыми навесами или в тени подворотен виднелись неподвижные фигуры: безучастно и отчужденно сидели, прислонив к стене костыли, погруженные в свои мысли мужчины, среди которых много было старых солдат — кто без руки, кто без ноги, но все одинаково оборванные и покрытые рубцами да шрамами. Я вспомнил о неведомом мне бискайце Индураине, что зарезал сержанта, а потом ночью спустился по крепостной стене, предпочтя совершить измену, нежели оставаться здесь долее, — и поневоле опечалился.

— Ну как тебе нравится Оран? — спросил меня Копонс.

— Сонное царство какое-то, — отвечал я. — И люди здесь какие-то снулые и расслабленные.

Арагонец кивнул. Провел ладонью по лицу, утирая пот.

— Да, они встрепенутся, если мавры наскочат или, наоборот, — если будет готовиться набег. На человека поистине чудотворное действие оказывают нож у горла или звон в кармане... — Тут он полуобернулся к Алатристе. — Короче говоря, вы прибыли вовремя. Что-то явно затевается.

В светлых глазах капитана, отражавших из-под надвинутой шляпы слепящий блеск улицы, мелькнула искра интереса. В эту минуту мы как раз приблизились к арке Пуэрта-де-Тремесен, то есть оказались в дальней от моря части города. Несколько оборванных каменщиков — испанцев-арестантов и мавров-невольников — тщились укрепить покосившуюся и грозящую рухнуть стену. Копонс поздоровался с одним из часовых, сидевших в тенечке, и мы выбрались за ворота, от которых Ифре — ближайший городок мирных мавров — отстоял на два аркебузных выстрела. Здесь все было в еще более плачевном виде: каменные плиты поросли буйным кустарником, стена во многих местах была разрушена, караульная будка лишилась крыши и разваливалась, гнилое дерево подъемного моста, перекинутого через узкий ров, который едва ли не доверху был завален всякой дрянью и мусором, угрожающе потрескивало у нас под ногами. Просто чудо, подумал я, что отсюда еще умудряются отражать врага.

— Набег? — спросил Алатристе.

Копонс скорчил гримасу, долженствовавшую означать: «Весьма вероятно».

— Куда?

— Не говорят. Но мне думается — вон туда. — Арагонец показал на уходящую к югу Тремесенскую дорогу, петлявшую в садах. — Там несколько бедуинских поселений... Ходят слухи, что на них и ударим, угоним скот, возьмем пленных, а за них — выкуп. Будет чем разжиться.

— Мавры-то немирные?

— Нет, так будут.

После этих слов я уставился на Копонса, немало, признаться, удивленный ими. И попросил подробнее объяснить механику предприятия, именуемого «набег».

— Помнишь Фландрию? Нечто вроде этого: выходим ночью, идем быстро, а чуть рассветет, орем: «Испания и Сантьяго!» Больше чем на восемь лиг от Орана не удаляемся.

— Стрельба-пальба?

Копонс качнул головой:

— Почти нет. Чтобы пороха не тратить, режемся, что называется, грудь в грудь. Если становище поблизости, забираем скот и пленных. Если подальше — одних людей и все мало-мальски ценное. Потом возвращаемся за стену, подсчитываем, на сколько потянет добыча, продаем, а выручку делим поровну.

— И что же — есть что делить?

— Как когда. Если приводим невольников, можно заработать эскудо четыреста, а то и поболе. Миловидная бабенка детородного возраста, дюжий негр или молодой мавр дают в общий котел по тридцать реалов с носа. Детишки, если здоровые, — по десять. Последний набег сильно скрасил нам жизнь. Мне, к примеру, досталось восемьдесят эскудо чистыми — половина моего годового жалованья.

— Вот потому тебе король и не платит, — сказал я.

— Нет, не потому... От каменного падре дождись железной просфоры...

В это время мы шли уже берегом реки — ухоженным, обсаженным фруктовыми деревьями; вдалеке виднелись ветряные мельницы и нории[[11]](#footnote-11). Попавшиеся навстречу нам старик-мавр и с ним мальчишка — оба в изношенной и обтрепанной одежонке — несли за спиной корзины, доверху наполненные овощами и зеленью. Я невольно восхитился тем, какой дивный вид открывался отсюда: зеленые возделанные поля, простершиеся между рекой и городскими стенами, Оран с вознесенной на крутом склоне цитаделью, а далеко внизу — развернувшееся синим веером море.

— Без таких вылазок да без урожая с этих садов-огородов мы бы долго не протянули, — заметил Копонс. — Пока не пришла ваша галера, мы четыре месяца кряду получали по фанеге[[12]](#footnote-12) зерна в месяц и по шестнадцати реалов пособия каждому семейному солдату. Сами небось видели, какими оборванцами тут люди ходят... Старый фламандский трюк, а, Диего? Вам надобно денег? Милости просим на приступ вон того форта: возьмете — все ваше... С Богом, ура! Там были еретики-голландцы, тут мавры — королю это без разницы.

— А королевскую пятину берут? — полюбопытствовал я.

— А как же! — ответствовал Копонс. — Королю долю его отдай и не греши. И сеньор губернатор своего не упустит — выберет себе лучших невольников или целое семейство вождя того племени, что жило в разоренной деревне. Остальное разделят между солдатами и офицерами сообразно жалованью и чину. Включая и тех, кто на вылазку не ходил, а сидел в крепости... Ну и святую нашу матерь-церковь не позабудь.

— Как? Пресвятые отцы тоже военной добычей не брезгуют?

— Еще бы им брезговать... Здесь набегами кормятся все решительно, ибо даже ремесленники и купцы внакладе не остаются: арабы приходят к ним выкупать свою родню за деньги или за товар. После каждого удачного дела весь город — одна базарная площадь в торговый день.

Мы остановились у дощатого сооружения, крытого пальмовыми листьями, — караульной будки, где по ночам прятались от холода часовые у моста, который связывал город со всеми его пригородами и огородами и форты — Росалькасар, стоявший на другой стороне реки Гуааран, и Сан-Фелипе, находившийся чуть подальше. Первый, поведал нам Копонс, совсем уже почти развалился, а во втором ведутся беспрестанные работы, и конца им не видно. И крепости, некогда составлявшие славу Орана, ныне стали едва ли не чистой мнимостью, и самый город для защиты своей располагает всего лишь древней стеной, а больше ничего и нет — ни рва, ни частокола, ни подземного хода, ни поперечного прикрытия, сиречь траверса, ни хоть самого завалящего равелина. В общем, как сказал не помню кто, не беда, что стены тонки, — зато кишка не тонка. Что-то в этом роде.

— Нам тоже можно будет пойти? — спросил я.

Копонс посмотрел на меня, на капитана, опять на меня, а потом с видом полнейшего безразличия осведомился:

— И далеко ль собрался?

Я и взгляд его не моргая выдержал, и сам держаться постарался молодцевато, как подобает солдату, ответив с большим хладнокровием:

— Куда ж еще, как не с вашей милостью на вылазку?

Оба ветерана снова переглянулись, а Копонс в раздумье поскреб загривок.

— Как ты полагаешь, Диего?

Мой бывший хозяин глядел на меня изучающе и задумчиво. Потом, не отводя глаз, пожал плечами:

— Деньги лишними не бывают.

Копонс, всецело разделяя это мнение, заметил, однако, что есть одна сложность: на подобные вылазки в едином порыве рвется весь гарнизон.

— Впрочем, — добавил он, — когда приходят галеры, берут людей и с них. Подкрепление. Так что момент для вас благоприятен. У нас многие маются от лихорадки, слегли в лазарет или так ноги еле таскают от здешней солончаковой воды — она хоть и в изобилии, да для питья непригодна. В общем, потолкую с Бискарруэсом, благо земляк и тоже воевал во Фландрии. Только язык — за зубами, никому ни слова.

Говоря это, он смотрел не на Алатристе, а на меня. Я не отвел глаза, постаравшись, чтобы он прочел во взгляде моем оскорбленное самолюбие и упрек. Копонс слишком давно и хорошо знал меня и мог бы обойтись без этого предупреждения. Арагонец понял ход моих раздраженных мыслей и на мгновение призадумался. Потом, обернувшись к Алатристе, пробурчал:

— Подрос щеночек-то. Клычки не шатаются...

Потом снова окинул меня взглядом с ног до головы, задержался на пальцах за ременным поясом, оттянутым слева шпагой, справа — кинжалом. Я услышал, как за спиной вздохнул капитан, и в этом вздохе мне почудилась легкая насмешка, смешанная с толикой досады.

— Ох, Себастьян, ты его еще не знаешь.

## III. Вылазка в Уад-Беррух

Издали донесся собачий лай. Диего Алатристе, ничком лежавший на земле меж кустов, проснулся, повинуясь безошибочному чутью старого солдата, поднял голову, уткнутую в скрещенные руки, открыл глаза. Спал он недолго: может, всего несколько секунд, однако среди прочих солдатских навыков, въевшихся в плоть и кровь, числил он и умение спать где придется и сколько доведется. Ибо люди его ремесла редко могут сказать наверное, когда им в следующий раз выпадет минутка всхрапнуть, поесть или выпить. Или, наоборот, облегчиться. Вокруг, на склоне, среди неподвижных и безмолвных фигур несколько солдат именно этим и занимались, зная, вероятно, как рискованно получить пулю или клинок в брюхо, если брюхо это — полное. И Алатристе, расстегнув штаны, не замедлил последовать их примеру. «Запомните, господа солдаты, на пустой желудок драться лучше», — наставлял их некогда один из первых его сержантов, дон Франсиско дель Арко, впоследствии убитый в двух шагах от Алатристе в дюнах Ньюпорта: с дель Арко капитан, в ту пору едва достигший пятнадцати лет, ходил в конце прошлого века на голландцев и на французов, брал и грабил Амьен, что удалось на славу — вдосталь хлебнуть лиха пришлось потом, попозже, когда французы почти на семь месяцев взяли город в правильную осаду.

...Делая свое дело, он задрал голову кверху. Кое-где еще посверкивали звезды, по небу на востоке уже разливался сероватый свет зари, но голые вершины холмов по-прежнему держали во тьме — такой, что хоть глаз выколи — шатры бедуинского становища в просторной долине, отстоявшей от Орана на пять лиг: проводники называли ее Уад-Беррух. Алатристе, затянув пояс со всей амуницией, застегнувшись, снова улегся на землю. Днем, когда африканское солнце устроит свое обычное пекло, он взмокнет в толстом колете, но сейчас он — как нельзя более кстати, потому что ночи здесь, черт бы их драл, несусветно, невыносимо холодные. Пригодится и старый нагрудник из буйволовой кожи. Рукопашная — она рукопашная и есть, независимо от того, с кем режешься — с турками, маврами или еретиками-лютеранами. Вот они, памятные знаки этих встреч: на лбу, на брови, на руке, на ноге, на бедре, на спине — и как только все на теле-то уместились? — общим числом девять, если считать след от аркебузной пули, а вместе с ожогом на предплечье — то и все десять.

— Разбрехалась, проклятая тварь, — пробормотал кто-то из лежавших поблизости.

В отдалении вновь залаяла собака. И ей тут же отозвалась другая. Скверно, подумал Алатристе, если это они не просто так, а учуяли солдат и сейчас перебудят обитателей становища. К этому часу отряд, заходящий с противоположной стороны долины, уже должен занять позицию, спешившись и оставив лошадей, чтоб, не дай бог, ржанием своим не помешали нападению врасплох. Там — человек двести, и тут — примерно столько же да еще полсотни могатасов: более чем достаточно, чтобы обрушиться на спящих и ничего не подозревающих кочевников, которых вместе с женщинами, детьми и стариками всего-то три сотни.

Все это Алатристе днем рассказали в Оране, а прочие подробности он узнал во время ночного шестичасового перехода, когда с разведчиками-могатасами впереди люди и лошади сторожко двигались во тьме по Тремесенской дороге: сперва строем, а после — россыпью, сначала — берегом реки, а потом, оставив позади лагуну, отшельничий скит, в здешних краях называемый *морабитом*, колодец и равнину, обогнули холмы с востока, прежде чем разделиться на две партии и залечь в ожидании рассвета. Ну так вот: обосновавшиеся здесь арабы из племени бени-гурриарана, земледельцы и пастухи, считались мирными маврами, которых испанский гарнизон обязывался защищать от враждебных племен при том условии, что они ежегодно в установленный срок будут доставлять в город определенные количества зерна и сколько-то голов скота. О прошлом годе, однако, они и припоздали, и недопоставили — по сию пору остались должны еще примерно треть оговоренного, — но поклялись всем святым, что в возмещение недоимок пригонят скотину не весной, а сейчас. Обязательства свои так и не выполнили и, по слухам, намеревались сняться и перекочевать куда-нибудь подальше от Уад-Берруха, в такое место, где испанцы не достанут.

— Вот мы их и поздравим с добрым утром, прежде чем они смоются, — сказал, помнится, главный сержант Бискарруэс.

Человек этот, арагонец родом, вояка по ремеслу и склонности души, пользовался доверием губернатора Орана и был самым что ни на есть образцом нашего африканского воинства: этакий кремень, лицо будто выдублено солнцем, пылью, пуще же всего — самой жизнью, которую вел он в беспрестанных боях сначала во Фландрии, а потом — в Африке, где за спиной у тебя море, до короля далеко, до Бога высоко, тем паче что Он, по всему судя, развлечен иной какой-то докукой, зато до мавров рукой подать, — особенно если в руке этой шпага. Под началом у него служили люди, которым, кроме как на добычу, надеяться было не на что: отпетые висельники, отъявленные головорезы, опасный каторжанский сброд, в любую минуту готовый дезертировать, взбунтоваться или устроить поножовщину, — и он умудрялся держать их в узде. Словом, был он крутенек, но не спесив, а продажен не более, нежели все прочие. Так описал его Себастьян Копонс перед тем, как на исходе первого нашего дня в Оране отправиться к Бискарруэсу. Мы нашли его в одном из казематов цитадели, перед картой, расстеленной на столе и придавленной по углам кувшином вина, свечой в шандале, кинжалом и пистолетом. Здесь же находились еще двое: высокий мавр в белом бурнусе и некто смуглый, носатый, худосочный, с подстриженной бородкой — этот был в испанском платье.

— Прошу разрешения, сеньор главный сержант... Позвольте представить вам — мой друг Диего Алатристе, старый солдат, воевал во Фландрии, сейчас — в неаполитанском галерном флоте... Диего, это дон Лоренсо Бискарруэс. А это — Мустафа Чауни, командир могатасов, и наш переводчик Арон Кансино.

— Во Фландрии был? — Главный сержант поглядел на капитана с интересом. — И где же именно? В Амьене? Или в Остенде?

— И там, и там.

— Сыро. У проклятых еретиков, я разумею. Здесь-то месяцами ни капельки с неба не упадет.

Они поговорили еще немного, вспоминая общих знакомцев — живых и убитых, — после чего Копонс изложил дело и получил разрешение Бискарруэса. Капитан же тем временем рассматривал всех троих. Могатас был из племени улад-галеб, три поколения которого верно служили Испании, и наделен всеми его особенностями: темнолицый и седобородый, он носил мягкие туфли на манер комнатных, ятаган у пояса и, оставляя по мавританскому обычаю лишь одну длинную прядь на темени, наголо брил голову — на тот случай, если враг отрубит ее да захочет унести как трофей: чтоб не совал пальцы в рот или в глаза. Он командовал полутора сотнями воинов из числа своих соплеменников или сородичей — одно подразумевает другое, — обитавших вместе с женами и детьми в городке Ифре и окрестных селениях и дравшихся — при том, разумеется, условии, что заплатят или выделят долю в добыче, — под знаменами с крестом святого Андрея так доблестно и свирепо, что им позавидовали бы многие подданные и единоверцы его католического величества. Что же до второго, то Алатристе не удивило, что в городе обязанности переводчика исполняет иудей, ибо, хоть племя это из пределов Испании было давным-давно изгнано, в анклавах на севере Африки присутствие его приходилось терпеть по причинам, проистекающим из интересов торговых, финансовых, а также и от преобладания арабского языка. Как узнал я впоследствии, все в роду Кансино — одного из двадцати примерно семейств, населявших еврейский квартал, — с середины прошлого столетия служили доверенными драгоманами и, умудряясь исполнять Моисеев закон — Оран был единственным городом, где еще сохранилась синагога, — соединяли отличные дарования с верностью королю, а потому губернаторы к ним благоволили, отличали их и награждали, передавая должность сию от отца к сыну. Да и немудрено — поскольку речь шла не только о превосходном знании нескольких мавританских наречий, турецкого языка, ну и, разумеется, своего собственного, но также и о шпионстве, благо все иудейские общины Берберии связаны были меж собой весьма тесно. Снисходительно относиться к иудеям побуждал также и блеск их коммерческих дарований, нимало не потускневший за годы и века тяжких гонений и позволявший сынам Израилевым в годы тощих коров ссужать оранских правителей деньгами или зерном. Прибавьте к сему и их роль в работорговле: с одной стороны, они посредничали в выкупе невольников, с другой — сами были хозяевами большей части продаваемых в Оране турок и мавров. В конце концов, молишься ли ты Приснодеве, Магомету или Моисею, иудей ли ты, испанец или мавр — серебро, откуда бы оно к тебе ни прикатилось, звенит одинаково, а дело есть дело. «Дивной мощью наделен дон Дублон», как метко подметил дон Франсиско де Кеведо. Аминь.

Вдалеке вновь раздался лай, и Алатристе погладил рукоять на совесть смазанного пистолета за поясом. Может, и лучше будет, подумалось капитану, если пес не уймется и добьется того, что мавры — ну или хоть сколькие-то из них, — повскакав с постелей, схватятся за свои ятаганы в тот миг, когда Бискарруэс отдаст приказ к атаке. Резать спящих и сонных, чтобы потом угнать их скотину, увести в рабство их жен и детей, — самое, конечно, милое дело: оно, конечно, и легче, и проще, нежели драться с бодрствующим противником, но, Господи, никакого вина не хватит, чтобы потом вымылась из памяти эта кровь.

— Приготовиться.

Приказ передавался по цепочке, из уст в уста и, приближаясь ко мне, звучал все громче. Когда дошло до меня, я повторил его, и словечко покатилось дальше, постепенно затихая среди распластанных на земле фигур, покуда не смолкло, словно замершее где-то в бесконечности эхо. Я облизнул растрескавшиеся губы и тотчас же стиснул челюсти, чтобы не клацать зубами от стужи. Потом затянул ремни альпаргат, размотал тряпье, которым во избежание неуместного шума обвернуто было мое оружие — шпага и короткое копьецо, — и огляделся. В предутренних сумерках не разглядеть было капитана Алатристе, но я знал, что он залег, как и все остальные, где-то неподалеку. А совсем рядом со мной пристроился Себастьян Копонс, обратившийся в темный, неподвижный бугорок, от которого несло по́том, насаленной кожей амуничных ремней и сталью, обильно смазанной ружейным маслом. Вокруг виднелось еще несколько таких же фигур — лежавших кучками или поодиночке среди мастиковых деревьев, кактусов и чертополоха.

— Два раза подряд «Символ веры...» — и пойдем, — снова передали по цепи.

И кое-кто сейчас же принялся бормотать молитву — то ли от избытка набожности, то ли чтобы засечь время. И я услышал, как вокруг меня, вразнобой, на все лады зазвучали в полутьме приглушенные голоса с бискайским, астурийским, андалузским, валенсианским, кастильским выговором, ибо мы, испанцы, сообща только убиваем, а молится каждый наособицу: *«Credo in unum Deum, partem omnipotentem, factorem caeli et terrae* ...*»* Услышал, разумеется, не впервые, но меня, как всегда, позабавило это благочестивое бормотание, долженствовавшее послужить прелюдией к побоищу; и все эти люди, твердя священные слова, молили Бога о том, чтобы вывел из боя живым, помог добыть золота и рабов, сподобил вернуться в Оран и в Испанию на своих ногах, да с богатой добычей, да чтоб на обратном пути не оказалось врагов поблизости, ибо все превосходно знали — а Копонс и Алатристе особенно настойчиво растолковывали это: ничего на свете нет хуже, чем после схватки с маврами на их земле возвращаться к себе по этим скалистым отрогам, под безжалостным солнцем, когда воды нет вовсе или когда каждый глоток ее обходится тебе в кварту собственной крови; чем обнаружить за собой погоню; чем, отстав от своих, раненым попасть в руки к маврам, а уж они с большим искусством сделают так, чтобы ты умирал подольше, и времени на то не пожалеют. Может быть, именно поэтому слышалось сейчас вокруг это бормотание: *«Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero...»* Вскоре уж и сам я незаметно для себя принялся повторять эти слова — сперва бездумно, как мурлычут какую-нибудь назойливо привязавшуюся старинную канцонетту, но потом проникся смыслом и стал молиться с самым искренним жаром: *«Et exspecto ressurectionem mortuorum et vitam venturi saeculi, amen»* [[13]](#footnote-13).

— Сантьяго! Сантьяго и Испания! Пошли! Пошли!

Так завывал теперь этот голос, пресекаемый отрывистыми сигналами горна, и люди, подхватившись, побежали вперед меж кустов, вздымая над собою знамя короля. Я тоже вскочил и бросился со всеми вместе, слыша, как на другом краю становища гремят аркебузы, вспышками выстрелов озаряя тьму — черную полосу под небом, где на синевато-сером все ярче проступал багрянец.

— Испания! Вперед! Вперед!

Бежать по песчаному руслу пересохшего ручья было трудно, и, когда я добрался до противоположного края, где в загоне, огороженном колючими ветками, стояла скотина, ноги у меня будто свинцом налились. О черт! Теперь и с нашей стороны грянули аркебузы, а тем временем мои товарищи, чьи силуэты из неразличимо-черных сделались серыми, так что можно было теперь узнать друг друга, волной нахлынули в пространство среди шатров становища — там мелькали фигурки бедуинов: одни пытались сопротивляться, другие убегали. И боевой клич испанцев и могатасов тонул в топоте вылетевшей с другого конца деревни конницы, в истошных воплях женщин и детей, которые в ужасе выскакивали из шатров и метались среди одурелых со сна мужчин, а те тщились защитить их, отбивались, гибли. Я увидел, как рассыпает удары шпагой Себастьян Копонс, и с ним — еще несколько наших, и поспешил к ним, выставив свое копьецо, которого, впрочем, тут же и лишился, ибо первым же ударом завязил острие в груди полуголого бородача с ятаганом в руке. Он рухнул к моим ногам, даже не вскрикнув, и я не успел еще высвободить оружие, как из шатра выскочил другой мавр — помоложе первого, да, пожалуй, и меня, — и, занося кривой *ханджар*, кинулся ко мне с такой яростью, что придись хотя бы один из его ударов куда нужно, я без промедления бы отправился к Богу в рай — ну или к черту в зубы, — а жители Оньяте недосчитались бы одного из своих земляков. Я отпрянул, на ходу вытаскивая саблю — отличную, кстати, саблю: широкую, короткую, незаменимую для абордажных боев, — и, с нею в руке почувствовав себя гораздо увереннее, обернулся к противнику. Первым ударом я наполовину отсек ему нос, вторым — отрубил пальцы. Третьим — когда паренек уже валялся на земле — прикончил, тупеём тяжелого лезвия перебив ему гортань. Потом осторожно просунул голову за полог шатра и увидел в углу сбившихся кучей и пронзительно вопящих женщин, заходящихся криком младенцев. Задернул полог, повернулся и двинулся дальше.

Готов! Диего Алатристе, упершись ногой в грудь заколотого мавра, высвободил клинок и огляделся. Арабы почти прекратили сопротивление, и нападавшие большей частью занялись грабежом с усердием и рвением, которое и англичанам сделало бы честь. Кое-где слышались еще выстрелы, но крики ярости и отчаяния сменились стонами раненых, жалобными причитаниями пленных и жужжанием ошалевших от восторга мух, неисчислимыми полчищами роящихся над лужами крови. Солдаты и могатасы выволакивали из шатров женщин, детей и стариков, сбивали их в нестройную толпу, понукая и пихая, как скотину, меж тем как другие собирали все мало-мальски ценное и готовились перегонять скотину истинную. Мавританки — дети сидели у них на руках или цеплялись за юбки — пронзительно вопили, царапали себе лицо над телами своих мужей, отцов, братьев и сыновей, а одна, обезумев от горя, кидалась на солдат, покуда ее не отогнали пинками. В стороне под дулами аркебуз и наставленными копьями в испуге и смятении стояли мужчины — покрытые пылью, вымазанные кровью, избитые, раненные. Тех немногих, кто попытался было сохранять достоинство, победители бесцеремонно хлестали по щекам, расплачиваясь звонкими оплеухами — тут главенствовал неписаный закон не убивать то, что денег стоит, — за смерть полудюжины солдат, павших в схватке. И при виде этого капитан Алатристе поморщился, ибо всегда считал, что надо убить — убей, а унижать человека незачем, особенно на глазах у его родни и друзей. Однако подобная щепетильность в ту пору если и встречалась, то крайне редко. Он отвернулся и с беспокойством оглядел окрестности становища. Меж холмов испанские кавалеристы, догнав мавров, которые сумели сперва спрятаться в зарослях тростника и фиговой рощице, а потом убежать, теперь вели их обратно — скрутив им руки и привязав к лошадиным хвостам.

Уже запылало несколько шатров, откуда вытащили и кучей сложили снаружи одеяла, подушки, котелки и прочий скарб. Главный сержант Бискарруэс, все происходящее державший в поле зрения, зычно приказывал поторапливаться со сбором добычи — пора было пускаться в обратный путь. Алатристе заметил, как, сощурясь, он посмотрел на солнце, только что выкатившееся из-за горизонта, а потом с озабоченным видом огляделся по сторонам. Человеку столь опытному, как капитан, не составляло труда угадать, о чем думает Бискарруэс: колонна истомленных переходом и боем испанцев, ведущих сотню с лишним голов скота и больше двухсот пленных — таков, прикинул он, итог набега, — станет легкой добычей для немирных мавров, если не успеет до захода солнца укрыться за стенами Орана.

Алатристе ощущал, что глотка у него пересохла, как этот песок под ногами, и беззвучно выругался: даже сплюнуть не могу, а от пороховой гари язык и нёбо стали как терка. Снова повел глазами по сторонам и наткнулся на взгляд — одновременно и дружелюбный, и свирепый — рыжебородого могатаса, который старательно отделял от туловища голову убитого. Голову другого, еще живого, но, видно, тяжело раненного мавра, поддерживала старуха, сидевшая на корточках чуть поодаль. Когда Алатристе, все еще со шпагой в руке, остановился перед нею, она обратила к нему морщинистое лицо, все покрытое, как и руки, синеватыми татуировками, окинула ничего не выражавшим взглядом.

— Пить. Воды. Пить.

Старая мавританка не отвечала, пока он не дотронулся до ее плеча кончиком шпаги, и лишь после этого безразлично показала на большой, обтянутый выдубленными козьими шкурами шатер, а потом, не обращая внимания ни на что вокруг, вновь занялась стонущим парнем. Алатристе направился к шатру, откинул полог и шагнул внутрь, в полутьму.

И сразу понял, что лучше бы он этого не делал.

В мельтешении солдат, деловито грабивших становище, я наконец заметил капитана и порадовался, что он цел и невредим. Крикнул ему, а когда понял — не слышит, сам двинулся за ним, огибая уже горящие шатры, натыкаясь на груды сваленного там и тут скарба, на тела раненых и убитых. Увидел, что следом за Алатристе в большой черный шатер вошел еще кто-то: издали показалось, что это мавр из наших, могата*с.* Но тут капрал, которому я некстати подвернулся под руку, приказал мне покараулить нескольких пленных, покуда их будут связывать. Дело это задержало меня ненадолго — вскоре я снова держал путь к шатру. Отдернул закрывавшую вход шкуру, заглянул внутрь — и оцепенел: в углу с кипы циновок и подушек поднималась молодая полуголая мавританка, которой Алатристе как раз помогал одеться. Поскуливая, как измученное животное, она размазывала слезы по разбитому в кровь лицу. На полу сучил ножками младенец — всего нескольких месяцев от роду, — а рядом с ним валялся наш, испанский солдат с расстегнутым поясом и спущенными до колен штанами. Череп у него был разнесен пистолетным выстрелом. У входа навзничь лежал другой испанец — тот был в пристойном виде и при полной форме, но из взрезанного от уха до уха горла еще била кровь. Та самая, сообразил я в те доли секунды, покуда еще пребывал в столбняке, что еще не засохла на лезвии кинжала, который приставил мне к горлу бородатый и мрачный могатас. От всего этого — а вот посмотрел бы я на вас, господа, окажись вы тогда в моей шкуре, — у меня вырвалось некое нечленораздельное восклицание, заставившее капитана обернуться и довольно поспешно произнести:

— Это — свой, он мне как сын. Никому не скажет.

Могатас придвинулся совсем вплотную, так что я ощутил на лице его дыхание, покуда он вперял в меня взгляд черных живых глаз, опушенных ресницами столь длинными и шелковистыми, что любой красотке впору. Впрочем, больше ничего женственного не было в этом смуглом, выдубленном солнцем лице, зверское выражение которого рыжая остроконечная борода усиливала до такой степени, что я похолодел. На вид ему было немного за тридцать: тонок в кости, но широкоплеч и с крепкими руками; размотанный и окрученный вокруг шеи тюрбан позволял видеть, что голова у него гладко выбрита и лишь на затылке оставлена по обычаю длинная прядь, в обоих ушах блестели серебряные серьги, а на левой скуле я заметил синий вытатуированный крест. Мавр отвел наконец от моего горла клинок и обтер его о рукав своего бурнуса, прежде чем спрятать в кожаные ножны на поясе.

— Что тут было? — спросил я у капитана.

Тот медленно выпрямлялся. Женщина, вся сжавшись от страха и стыда, спрятала голову под бурым покрывалом. Могатас сказал ей по-своему несколько слов — я разобрал что-то вроде *«барра барра»*, — и она, подняв с земли плачущего ребенка, закутала его тем же покрывалом, потупившись, быстро прошла мимо нас и скрылась.

— А то было, — спокойно ответствовал капитан, — что мы с теми двумя удальцами разошлись в толковании слова «добыча».

Наклонившись, он подобрал с земли разряженный пистолет и сунул его за пояс. Потом взглянул на могатаса, по-прежнему стоявшего у выхода, и под усами его обозначилось некое подобие улыбки.

— Спор становился все жарче и складывался не в мою пользу. И тут появился этот мавританин и принял в нем живейшее участие...

Алатристе подошел к нам поближе и теперь очень внимательно оглядывал могатаса с ног до головы. И, похоже, остался доволен увиденным.

— Эспаньоли уметь говорить? — коверкая язык, спросил он.

— Да, я знаю ваш язык, — ответил тот без малейшего чужестранного выговора.

Капитан теперь рассматривал висевшее у него на поясе оружие.

— Славная штука.

— Полагаю, что так.

— И ты владеешь ею на славу.

— *Уах*. Мне приходилось это слышать.

Несколько мгновений оба молча глядели друг другу в глаза.

— А как тебя зовут?

— Айша Бен-Гурриат.

Я ожидал, что последуют еще какие-то слова и объяснения, однако не дождался. Бородатое лицо араба осветилось улыбкой — такой же беглой и скупой, как у Алатристе.

— Ну, пошли отсюда, — сказал тот, в последний раз окинув взглядом два мертвых тела. — Только надо бы сперва поджечь шатер. Концы — в воду, вернее, в огонь.

Предосторожность оказалась излишней: вскоре мы узнали, что оба негодяя, будучи проходимцами без роду и племени, сущими подонками, не раз уж замеченными в подобных делах, друзьями не обзавелись, так что исчезновение их, никого не встревожившее, списали без проверки на боевые потери. Что же касается возвратного нашего пути, то был он и тяжек, и опасен, но завершился благополучно. На дороге из Тремесена в Оран, под отвесными лучами солнца, сводившими наши тени до крохотного пятнышка у самых ног, растянулась колонна солдат и захваченных людей и скота — овец, коз, коров и нескольких верблюдов: их поставили впереди, опасаясь нападения ифрийских мавров. Перед самым выходом из Уад-Берруха пришлось нам пережить несколько весьма неприятных минут: переводчик Кансино, допрашивая пленных, вдруг осекся на полуслове, как-то растерянно затоптался на месте, замялся, запнулся, но все же довел до сведения сержанта Бискарруэса, что мы разграбили и сожгли совершенно не то становище, какое следовало, ибо проводники ошибкой ли или намеренно вывели нас к поселению мирных мавров, неукоснительно платящих свои дани-подати. А перебито-то их было никак не менее тридцати шести человек. И честью вас уверяю, господа: ни раньше, ни потом не случалось мне видеть ярости такого накала, как в тот миг, когда обуянный ею Бискарруэс, пугая нас лиловатым оттенком вмиг побагровевшего лица и жилами, взбухшими на лбу и шее так, что, право, я думал, сейчас лопнут, орал, что на первом суку вздернет проводников, всех их предков и ту распутную, с хряком спутавшуюся проблядь, что произвела их на свет. Впрочем, тем дело и кончилось. Бискарруэсу ли, человеку практической складки и военному до мозга костей, было не знать, что неразбериха и путаница неотъемлемо присущи бранному ремеслу, а потому не остается ничего иного, как успокоиться. Мирные мавры, немирные — велика ль разница, тем паче если в Оране за них можно будет выручить совсем недурные деньги? Были такими — стали эдакими, ну, значит, и все, конец, не о чем тут больше толковать.

— Ладно. Снявши голову, по волосам не плачут, — примолвил он напоследок. — Ничего, мы это дело еще проясним... Разберемся, кто напутал... Всем — рот на замок, а тому, кто язык за зубами не удержит, Господом нашим клянусь, я его своими руками вырву.

После чего, перевязав раненых и слегка подкрепившись найденным в становище — хлеб, испеченный в золе, горстка фиников, кислое молоко, — мы двинулись вперед скорым шагом, держа аркебузы наготове и ворон не считая, в рассуждении до темноты оказаться под защитой крепостных стен. Да, как уж было сказано, шли сторожко, головой вертя во все стороны — в авангарде гнали скотину, затем следовало ядро отряда, обоз и пленные, коих оказалось двести сорок восемь человек — мужчин, женщин и детей, — способных идти своими ногами. В хвост колонны поставили еще скольких-то аркебузиров с копейщиками, а кавалерия защищала нас с флангов и дозорами рыскала впереди, высматривая, как бы мавры не вздумали испортить нам радость возвращения или отрезать от воды. По пути и в самом деле имели место мелкие стычки и незначительные сшибки, однако невдалеке от оазиса, именуемого Дель-Морабито, то есть Отшельничьего, по-нашему говоря, где в изобилии произрастали пальмы и рожковые деревья, арабы, которые в изрядном количестве наступали нам на пятки, подкарауливая отставших или ожидая удобный случай, решили, что случай этот наконец представился, и вздумали к источнику нас не допустить, предприняв на сей раз серьезную атаку: больше сотни всадников с гиканьем и свистом, выкрикивая что-то очень непристойное и донельзя для нас оскорбительное, ударили нам в хвост. Однако арьергард не сплоховал, запалил фитили, и арабы, когда их сильно покропило свинцовым дождичком, повернули коней и умчались, оставив нескольких убитых и решив более не пытать счастья. Радуясь одержанной победе и сбереженной добыче, мы поспешали в Оран, дабы сбыть ее там, и уста мои будто сами собой зашевелились — а я тому не препятствовал, — произнося такие вот стихи:

Суть зверских тех времен, венчанных лавром,

Непостижима тем, кто в них не жил:

Ты Господу тем ревностней служил,

Чем больше глоток перерезал маврам.

Впрочем, два обстоятельства омрачили то радужное состояние духа, в коем пребывал я, возвращаясь из Уад-Берруха. Во-первых, не снеся путевых тягот, умер на руках у матери младенец, и незадолго до сего прискорбного происшествия наш капеллан, фрай Томас Ребольо, сопровождавший экспедицию по своему духовному долгу и сану, заметил Бискарруэсу, что, когда ребенок при смерти, мать теряет над ним свою родительскую власть, а следовательно, умирающий может быть на законных основаниях окрещен и без ее согласия. Поскольку поблизости, как на грех, не оказалось никого с богословского факультета, так что уточнить было не у кого, дон Лоренсо Бискарруэс, обремененный множеством иных забот, ответил монаху в том смысле, что делай, мол, как знаешь. Капеллан же, невзирая на протесты и вопли матери, вырвал у нее из рук младенца и свершил над ним таинство, благо нашлось и несколько капель воды, и елей, и соль. Младенчик вскорости скончался, а капеллан же возликовал оттого, что в такой день, как сегодня, когда столько врагов-нехристей приняли смерть, оставаясь нераскаянными приверженцами зловредной секты магометан, одна ангельски чистая душа вознесется к престолу Всевышнего, дабы лучше познать промыслы Господни и споспешествовать вящему посрамлению врагов Его... Ну и так далее. Впоследствии мы узнали, что маркиза де Велада, супруга нашего губернатора, дама весьма набожная, щедро жертвующая на богоугодные дела и раздающая подаяние, ежедневно бывающая у причастия, пришла в такой восторг от поступка фрая Томаса, что распорядилась доставить к ней мать упокоившегося в лоне святой нашей церкви дитяти, желая утешить ее и доказать неоспоримо, что если та обратится к истинной вере, непременно когда-нибудь соединится с ним на небесах. Распоряжение исполнено не было. В самую ночь нашего возвращения в Оран мавританка от горя и позора удавилась.

По сию пору живо и воспоминание о мальчике лет шести-семи, который шел рядом со вьючными мулами, везшими отрубленные головы мавров. Дело было в том, что губернатор Орана платил — вернее будет сказать: сулил платить — награду за каждого мавра, убитого в бою, а павшие в Уад-Беррухе вполне подпадали под эту категорию. Ну так вот — чтобы не быть голословными, и везли мы с собой тридцать шесть голов взрослых мавров, которые — головы, разумеется, а не мавры, хоть и мавры тоже — должны были увеличить долю каждого из нас на несколько медяков-мараведи. Мальчуган этот шел рядом с мулом, а у того с обоих боков висела гирляндой дюжина голов. Недурно, а? Если жизнь каждого нормального человека омрачают призраки, являющиеся ему в ночи и не дающие порой сомкнуть глаза, то перед моим мысленным взором — а навидался я, слава тебе, Господи, всякого-разного-многообразного! — стоит этот грязный босой мальчуган: шмыгая сопливым носом, оставляя на замурзанных щеках дорожки слез, беспрестанно льющихся из воспаленных глаз, он, как ни шугают его погонщики, упрямо держится возле мула и все отгоняет мух, роем вьющихся над отрубленной головой его отца.

На следующий же день, едва лишь получив причитающуюся каждому долю от проданной добычи, мы трое стали лагерем в веселом доме Сальки. Весь Оран начал праздновать и ликовать еще с прошлого вечера, когда на закате, оставив скотину в окрестностях Лас-Пилетас, на берегу реки, мы свершили наше триумфальное шествие: вошли в город через Тремесенские ворота церемониальным, можно сказать, маршем, стройными, как говорится, рядами, пустив вперед пленных под конвоем аркебузиров, взявших «на плечо». По улице, празднично освещенной толстыми восковыми свечами, продефилировали мы прямо к кафедральному собору и связанных невольников провели мимо самых дверей, куда викарий со всем причтом, крестом и святой водой вытащил образ Господа, а затем, спев *«Te Deum laudamus»* [[14]](#footnote-14) в благодарность за то, что дал нам одержать зримо явленную здесь победу, расползлись, образно выражаясь, все сверчки по своим шесткам до следующего утра, когда и начали, собственно говоря, праздновать всерьез, ибо рабы с торгов разошлись очень даже хорошо, общая же сумма выручки составила славную цифру в сорок девять тысяч шестьсот дукатов. За вычетом губернаторской доли и королевской пятины, которая в Оране уходила на закупку продовольствия и огневого припаса, после того как выплатили причитающееся офицерам, святой нашей матери-церкви, госпиталю, где содержались ветераны, и могатасам, разбогатели мы с капитаном на пятьсот шестьдесят реалов каждый, то есть соответствующие карманы потяжелели на семьдесят превосходных восьмерных дублонов. Себастьяну Копонсу в соответствии с должностью его и привилегиями досталось несколько больше. А потому, не успев получить свои деньги у родственника нашего переводчика Арона Кансино — причем дело чуть было не дошло до кинжалов, ибо у иных монеток обнаруживались подозрительные следы напильника да и всучить их нам пытались не взвешивая, — мы и решили определить известную толику по назначению. Вот во исполнение этого замысла мы сейчас и сидели втроем у сеньоры Сальки, потчевавшей нас молодым вином.

Хозяйкою сего злачного места была крещеная мавританка зрелых лет, вдова солдата и старинная приятельница Копонса, который и уверил нас, что ей можно доверять всецело — ну, разумеется, не переходя границ здравого смысла. Заведение помещалось неподалеку от Пуэрта-де-ла-Марина, среди домиков, лепившихся за старой башней. С террасы наверху открывался дивный вид: слева нависал над бухтой, заполненной галерами и другими судами, замок Сан-Грегорио, а в глубине бурым клином врезался в пространство между портом и синей ширью Средиземного моря форт Масалькивир, увенчанный исполинским крестом. К этому часу солнце стояло уже низко, над самым морем, освещая нежаркими лучами Копонса, капитана Алатристе и меня: мы сидели на кожаных мягких табуретах на небольшой открытой террасе, чувствуя, что больше нам и желать нечего, ибо были и сыты, и пьяны, и ублаготворены во всяком ином-прочем отношении. Компанию с нами разделяли три питомицы сеньоры Сальки, с которыми еще совсем недавно проводили мы время в приятных беседах и не в них одних, однако, выражаясь деликатно, последнюю линию траншей так и не взяли: капитан и Копонс с присущим обоим здравомыслием сумели убедить меня, что одно дело — поужинать в женском обществе, и совсем другое — очертя голову кидаться, так сказать, в рукопашную, рискуя получить в качестве награды за доблесть французскую хворобу или еще какую-нибудь болячку, коими могут наделить публичные женщины, — тем более что здесь, на краю света, по причине малочисленности своей они публичны до крайности, — отняв у беспечного блудодея и здоровье, да и самое жизнь. С веселыми девицами ищешь веселья, а обрящешь совсем иное, ибо не одного ли корня слова «тоска» и «потаскуха»? Нет? Ну и ладно. Девицы же оказались вполне ничего себе: две были христианками, андалусийками недурной наружности, попали в Оран из какой-то уж и вовсе несусветной африканской глухомани, куда забросила их череда опрометчивых шагов и пагубных последствий. Третья же, чересчур смуглая на испанский вкус, однако отлично сложенная, видная и нарядная, была крещеной мавританкой, до тонкостей превзошедшей ремесло, какому в монастырской школе не научат. Хозяйка, завороженная звоном свежеполученного серебра, расхвалила их донельзя, сказав, что барышни они чистенькие, усердные, а если бы за искусство блуда присуждали ученые степени, все три давно бы стали бакалаврами. Впрочем, я со свойственной нашему баскскому племени недоверчивостью опровергать или подтверждать справедливость последнего утверждения поостерегся.

Ну, так я говорил о том, что мы ели и пили, но — не только. Помимо кое-каких приправ и специй, по мне — так слишком уж пряных, я впервые испробовал некой мавританской травки, которой, смешавши ее с табаком, моя новоявленная подружка чрезвычайно ловко набила трубки с металлическими чашечками и длинными деревянными мундштуками. Надо сказать, мне никогда особо не нравился табак — ни в каком виде, включая и то в пыль растертое зелье, что так любил трепетными ноздрями втягивать дон Франсиско де Кеведо. Однако же как было новичку не отведать знаменитой местной достопримечательности? И вот, не следуя примеру Алатристе, вообще отказавшегося от этого угощения, и Себастьяна Копонса, всего раза два пыхнувшего дымком, я выкурил целую трубку — и тотчас сделался как-то дурашливо весел, голова пошла кругом, язык стал заплетаться, тело будто утеряло вес, и показалось, что я плавно парю над городом и морем. Это не мешало мне принимать участие в беседе, невеселый тон коей противоречил благолепию застолья и шальным деньгам, свалившимся на сотрапезников. Копонс до смерти хотел попасть в Неаполь или еще куда-нибудь — мы знали, что «Мулатка» через двое суток снимется с якоря, — но должен был оставаться в Оране, ибо прошениям его об отставке ходу не давали.

— ...по всему видать, — хмуро договорил он, — что гнить мне здесь до Страшного суда.

После этих слов он выдул чуть не кварту малаги — резковатой, пожалуй, но крепкой и ароматной — и прищелкнул языком, как бы в знак того, что против рожна не попрешь. Рассеянным взором я следил за тремя девицами, которые, увидев, что мы заняты беседой, оставили нас в покое и, отойдя к перилам, принялись болтать между собой и подавать приветные знаки проходящим по улице солдатам. Сводня, знавшая, что после набега день год кормит, на славу вымуштровала своих корсарок, и те даром времени не теряли.

— Есть одно средство, — промолвил капитан Алатристе.

Мы — а особенно Копонс — взглянули на него внимательно. Лицо арагонца оставалось по обыкновению бесстрастно, но в глазах блеснула надежда. Слишком давно был он знаком с Алатристе и усвоил накрепко: старинный его друг слов на ветер не бросает.

— Средство покинуть Оран? — уточнил я.

— Да.

Копонс взял капитана за руку — пальцы его пришлись в точности на то место, где на предплечье оставался рубец от ожога, полученного два года назад в Севилье, когда мой хозяин допрашивал генуэзца Гараффу.

— Пропади оно все пропадом, Диего... Я дезертиром не буду. В жизни своей ниоткуда не бегал, а теперь уж поздно начинать.

Капитан, приглаживая усы, улыбнулся ему. Улыбнулся открыто и ласково, что случалось с ним крайне редко.

— Я говорю, что есть средство выбраться отсюда достойно и законно... Уволиться честь по чести, с записью в аттестате.

Арагонца слова эти обескуражили.

— Я ж тебе толковал — Бискарруэс, который тут всем заправляет, не отпустит. Ты ведь знаешь, нет ходу из Орана, никому нет. Ну разве что тем, кто, вроде вас, приплыл, постоял — и назад.

Алатристе покосился на трех девиц и понизил голос:

— Сколько у тебя денег?

Копонс нахмурил лоб, мучительно соображая, к чему бы этот вопрос — к селу или к городу? Потом понял, в чем дело, и замотал головой: дескать, куда там, и думать забудь, того, что я получил за набег, не хватит.

— Сколько, я спрашиваю? — настойчиво повторил капитан.

— За вычетом тех, что придется выложить за угощение, эскудо восемьдесят наберется. Ну, еще какой-нибудь меди наскребу... Но я ж тебе сказал...

— Вот предположим, свезло тебе... Попал в Неаполь. Дальше что?

Копонс расхохотался:

— Зачем спрашивать? Без гроша в кармане в Италии что делать?.. Опять завербовался бы, ясное дело, куда-нибудь. Ловчил бы к вам, на галерный флот, попасть.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Я, мало-помалу выныривая из туманного морока, наблюдал за ними с живым любопытством. От одной мысли, что Копонс поплывет с нами в Неаполь, мне хотелось плясать от радости.

— Диего...

Это слово прозвучало скептически, однако искры упования разгорались в глазах арагонца все ярче. Капитан вымочил усы в вине, подумал еще немного и вот, решившись, тряхнул головой:

— Твои восемьдесят да те шестьдесят с чем-то, которые я получил за набег... Это будет... это будет...

Загибая пальцы над медным мавританским подносом, заменявшим нам стол, капитан, с четырьмя правилами арифметики управлявшийся не так споро, как со шпагой, полуобернулся ко мне. Я потер лоб, стараясь разогнать последние клочья тумана, застилавшего мне мозг:

— Сто сорок.

— Курам на смех, — отозвался Копонс. — Чтоб уволить меня вчистую, Бискарруэс затребует впятеро больше.

— Значит, еще пять раз по столько... Выходит... Иньиго, ну-ка, помножь... И сложи сто сорок да те двести, что я выручил в Мелилье за добычу с галеоты...

— Еще не спустил? — поразился Копонс.

— Нет, представь себе. Держу в тайничке на гребной палубе, а цыган из Перчеля — ему еще лет десять на галерах сухари грызть: зверюга почище самого комита — за ними присматривает... И дерет с меня за сбережение по полреала в неделю. Ну, Иньиго, счел? Сколько вышло?

— Триста сорок.

— Так. Теперь прибавь сюда свои шестьдесят эскудо.

— Что?

— Что слышал, черт возьми! — Светлые глаза впились в меня не хуже бискайских клинков. — Сколько теперь?

— Четыреста.

— Все равно не хватает. А ну, прибавь и свои две сотни за галеоту.

Я открыл было рот возразить, но капитан глядел на меня так, что я понял — бесполезно. Туман и дурман рассеялись разом и окончательно. Прощай, мое сокровище, с беспощадной трезвостью подумал я, приятно было познакомиться, жаль, что разлука вышла нам так скоро, бог весть, когда теперь увидимся...

— Шестьсот ровно, — стоически приемля свой удел, возгласил я.

Капитан Алатристе, явно обрадованный, теперь повернулся к арагонцу:

— С теми, которые тебе причитаются от казны, твой Бискарруэс получает сколько нужно, даже с лихвой.

Копонс переводил взгляд с Алатристе на меня и, силясь сказать что-то, судорожно двигал кадыком, словно слова застряли у него в горле. В этот миг я не мог не вспомнить, как он стоял в первой шеренге на Руйтерской мельнице, месил жидкую глинистую грязь в траншеях под Бредой, лез, черный от пороховой копоти и крови, на стену редута в Терхейдене, дрался на севильской набережной и карабкался по борту «Никлаасбергена» у Санлукарской банки. Неизменно молчаливый, маленький, жилистый, крепкий.

— Ах ты ж мать их... — выговорил он наконец.

## IV. Могатас

Надев шляпы, пристегнув шпаги, мы покинули заведение в скудном и тусклом свете гаснущего дня, меж тем как в дальних углах крутых оранских улочек уже сгущалась тьма. В этот час стало прохладнее, и город со своими жителями, рассевшимися на стульях и табуретах у порогов, с кое-где еще открытыми лавками, где внутри горели плошки или сальные свечи, так и приглашал прогуляться. Улицы были заполнены солдатами с галер и из гарнизона — сии последние продолжали праздновать удачный набег. Мы остановились снова промочить горло у таверны — маленькой, на четыре столика, приткнувшихся в крытой галерее, — которую содержал отставной безногий ветеран. Покуда, не присаживаясь, а лишь привалясь спиной к стене, воздавали мы должное вину — на этот раз вполне пристойному, в меру охлажденному кларету, — по улице прошел, расчищая дорогу, альгвазил, а за ним провели в цепях троих мужчин и двух женщин из числа проданных утром пленных: их под конвоем препровождал к себе домой новый хозяин — некто со шпагой на боку, весь в черном, не считая кружевного воротника-*голильи*, по виду — чиновник, набивший себе мошну тем, что обкрадывал людей, которые жизнь свою кладут, чтобы добыть ему этих невольников. Они шли понуро, смирившись со своей участью, и на лбу у каждого, включая женщин, уже горело выжженное раскаленным железом клеймо — буква «S». Подобная жестокость, уже не вызывавшаяся необходимостью, многими теперь почиталась пережитком варварской старины, однако закон еще разрешал хозяевам клеймить рабов, чтобы, если сбегут, поймать было легче и знать, кому возвращать. Заметив, как, заиграв желваками, с отвращением отвернулся Алатристе, я подумал: с каким наслаждением, доведись только, оставил бы — не раскаленным железом, но ледяной сталью своего кинжала — метку на морде этого рабовладельца, чтоб ему на пути в Испанию налететь на берберского корсара, на своей шкуре познать «алжирские нравы» да окончить дни свои под дубинками надсмотрщиков. Впрочем, тотчас спохватился я с немалой горечью, у людишек такого сорта всегда найдется чем заплатить выкуп, и неволя их будет недолгой. В Тунисе, Бизерте, Триполи, Константинополе гнить придется другим — тысячам пленных солдат и прочих бедолаг, захваченных в море или на испанском побережье, — ибо никто и медного пятака не пожертвует, чтоб даровать этим несчастным свободу.

Сильно развлеченный такими думами, я не сразу заметил, как кто-то, пройдя мимо, вдруг остановился чуть поодаль и принялся наблюдать за нами. Присмотревшись, я узнал в нем того могатаса, который помог капитану справиться с двумя негодяями в Уад-Беррухе. На нем был прежний полосатый бурнус, бритая голова с длинной прядью на темени была непокрыта, а чалма — или арабский тюрбан — размотана и небрежно окручена вокруг шеи. Длинный кинжал, некогда приставленный к моему горлу, — при воспоминании об этом у меня и сейчас вся шерсть стала дыбом — как и прежде, висел у пояса в кожаных ножнах. Я обернулся к хозяину, чтобы предупредить его, но тот уже и сам заметил могатаса, однако хранил молчание. На расстоянии в шесть-семь шагов они рассматривали друг друга, не произнося ни слова, причем араб, не смущаясь тем, что оказался в самой гуще людской толчеи, не трогался с места, не сводил глаз с капитана и как будто чего-то ожидал. Наконец Алатристе слегка прикоснулся пальцем к полю шляпы и чуть склонил голову. Подобная учтивость была для солдата вообще, а уж для такого человека, как мой хозяин, в особенности, чем-то просто неслыханным — тем более по отношению к мавру, будь он хоть сто раз могатас и друг Испании. Тот, впрочем, приняв поклон как должное и совершенно естественное, кивнул в ответ и сейчас же, с тем же самоуверенно-горделивым видом, двинулся дальше: но, как я заметил, ушел он недалеко — остановился в конце улицы под тенью арки.

— Давай-ка заглянем к Фермину Малакальсе, — предложил Копонс. — Вот обрадуется старик.

Этот самый Малакальса, мне пока неведомый, был давний товарищ обоих ветеранов, делил с ними опасности и всяческие тяготы во Фландрии, где дослужился до капрала и получил под начало полувзвод, в котором волею судьбы оказались Алатристе, Копонс и Лопе Бальбоа, мой отец. А ныне, по словам Копонса, на славу вытрепанный годами, напрочь уделанный ранами да хворями, был уволен вчистую по возрасту, но остался в Оране, обзаведясь семьей. Бедствовал, как и все здесь, концы с концами сводил благодаря поддержке былых однополчан — и Копонса, разумеется, тоже, — которые, стоило только какой-нибудь мелочишке забренчать у них в кармане, наведывались к старику и делились последним. Сейчас ему выпал счастливый случай — он, как отставной гарнизонный солдат, имел право на малую толику общей добычи, хоть и не участвовал в последней экспедиции. Арагонец по поручению начальства намеревался вручить Фермину его долю, причем я подозреваю — прибавив к ней кое-что от себя, чтоб весомей была.

— Мавр-то за нами увязался, — сказал я капитану Алатристе.

Мы поднимались к дому Фермина Малакальсы по узкой и убогой улочке, мимо сидевших на пороге стариков и возившихся в грязи и отбросах детей. А могатас и в самом деле шел следом, шагах в двадцати, не отставая, ближе не подходя, но и не пытаясь прятаться. Алатристе, коротко оглянувшись через плечо, сказал:

— Дорога — мирская...

Мирская-то мирская, подумал я, но странно, что после захода солнца мавр разгуливает по городу в одиночку. И в Мелилье, и в Оране после того, как закрывались ворота, все арабы, за исключением тех немногих, кто пользовался особыми правами, во избежание крупных неприятностей покидали город, возвращаясь в свои поселения, деревни, становища, откуда утром привозили на продажу мясо, овощи, фрукты. Местные ночевали в мавританском квартале, расположенном неподалеку от цитадели и хорошо охраняемом, и до утра благоразумно оттуда не выходили. Этот же могатас перемещался по городу свободно, что еще больше разожгло мое любопытство. Тем временем мы уже подошли к дому Фермина Малакальсы, старого друга Алатристе, Копонса и моего отца. И если бы Лопе Бальбоа под стенами Юлиха разминулся с аркебузной пулей, судьба его, весьма вероятно, сложилась бы так же, как у человека, которого в эту минуту увидел перед собой Бальбоа Иньиго. А увидел я седого, изможденного старика лет семидесяти, хоть было ему немного за пятьдесят: семнадцать лет, проведенные здесь, в Оране, даром не даются, — с искалеченной ногой, с морщинистой, изрезанной шрамами и рубцами кожей цвета грязного пергамента. Живой блеск и цвет сохраняли одни глаза, ярко светившиеся на лице, которое было все — включая и густые солдатские усы — будто припорошено буроватым пеплом. И глаза эти вспыхнули радостью, когда их обладатель, сидевший на табурете у порога дома, поднял голову и увидел перед собой широкую улыбку Диего Алатристе.

— Клянусь Вельзевулом, той шлюхой, что родила его, и всеми лютеранскими демонами ада!..

Он непременно хотел, чтобы мы познакомились с его семейством и рассказали, что привело нас сюда. В обиталище его — тесном и темном, скудно освещенном единственным огарком, — пахло плесенью и чем-то прогорклым. На стене висела солдатская шпага с широкой гардой и толстыми защитными кольцами. Две курицы клевали на полу хлебные крошки, за кадкой с водой, догладывая мышку, алчно урчал кот. Проведя много лет в Берберии и утеряв надежду когда-либо отсюда выбраться, Малакальса в конце концов выкупил, окрестил и взял в жены пленную мавританку, наплодил с нею пятерых детишек — это они сейчас, босые и оборванные, беспрестанно сновали по комнате взад-вперед, путаясь под ногами.

Фермин позвал жену и велел ей подать вина. Мы принялись отказываться, ибо в голове шумело от выпитого у Сальки и в таверне, однако хозяин и слушать ничего не хотел. Ковыляя по комнате, он расстилал на столе какую-то дерюгу взамен скатерти, придвигал табуреты и приговаривал:

— У меня в доме чего другого, может, и нет, может, и вовсе хоть шаром покати, но уж стакан-то вина двоим старым товарищам я поднесу... Троим, — поправился он, когда ему сказали, что я — сын Лопе Бальбоа. Через мгновение появилась и жена — смуглая, молодая, но уже огрузневшая, сильно изношенная родами и трудами, с завязанными на манер конского хвоста волосами, в платье испанского покроя, но при этом в мягких кожаных *бабучах* на ногах, со звенящими на запястьях серебряными браслетами, с синеватыми татуировками на тыльных сторонах ладоней. Когда, скинув шляпы, мы по очереди протиснулись за шаткий сосновый стол, она безмолвно разлила вино по кружкам, разнокалиберным и щербатым, и скрылась в своем кухонном закутке.

— Бабочка справная, — вежливо заметил Алатристе.

Малакальса резко взмахнул рукой, подтверждая:

— Чистая, честная, порядливая. Может, чересчур живого нрава, но послушная. Из здешних отличные жены получаются, надо только уметь в руках держать... Испанкам до них не досягнуть, как бы нос ни драли.

— Да уж куда им! — веско и значительно согласился капитан.

Тощенький мальчуган, лет трех-четырех от роду, черноволосый и курчавый, робко приблизился к столу и вцепился отцу в штанину, а тот подхватил его, нежно поцеловал и усадил к себе на колени. Четверо других ребятишек — старшему было на вид лет двенадцать — наблюдали за нами от дверей. Ноги у всех были босы и грязны. Копонс выложил на столешницу несколько монет, но Малакальса воззрился на него, не прикасаясь к деньгам. Потом перевел взгляд на Алатристе и подмигнул ему.

— Сам видишь, Диего, — заговорил он, одной рукой поднося стакан к губам, а другой обводя свое жилище, — каково живется в отставке солдатам короля. Тридцать пять лет беспорочной службы, четыре ранения, в костях ревматизм и, — тут он похлопал себя по бедру — заднюю клешню скрючило, не разогнуть... Вот бы знать, что так оно все кончится, в ту пору, когда там, во Фландрии — помнишь небось? — мы начинали тянуть эту лямку, и ни ты, ни я, ни Себастьян, ни бедняга Лопе, земля ему пухом, — как бы поминая его, он поглядел на меня и поднял стакан на уровень глаз, — и никто из нас еще не брился. А-а?

В словах его не слышалось особой горечи — он, как и подобает людям этого ремесла, безропотно принимал свою долю и словно бы всего лишь перечислял то, что и без него отлично известно всякому отцову сыну. Капитан слегка подался к нему:

— Ты-то почему не возвращаешься на Полуостров? У тебя есть на это право...

— Что я там забыл? — Малакальса погладил сына по черным завиткам. — Сидеть на паперти, выставив напоказ порченую ногу? Христарадничать? Побирушек и без меня пруд пруди...

— Домой бы поехал. Ты ведь из Наварры, так? Из долины Бастан, сколько мне помнится?

— Да, из Альсате. Но опять же — что мне там делать? Если кто из соседей меня еще не забыл, в чем я сильно сомневаюсь, представь, как они будут тыкать в меня пальцами: «Гляди, вон еще один из тех, что поехал за богатством и честью, а вернулся нищим калекой, чтоб клянчить на монастырском подворье даровую миску супа». Здесь, по крайности, нет-нет да и случится набег, и ветеран без помощи, пусть и скудной, не останется. И потом, ты же видел мою супружницу и... — он снова погладил сына по голове и показал на тех, кто стоял у двери, глядя на нас во все глаза, — ... этих вот пострелят. Вот переберусь с ними в Испанию — а вдруг, не ровен час, святейшая инквизиция прицепится, наушников и соглядатаев у нее хватает... Так что уж я лучше здесь. Здесь, по крайней мере, все ясно. Понимаешь?

— Чего ж не понять.

— А кроме того, здесь у меня товарищи. Под стать тебе, Себастьяну и мне самому... Есть с кем поговорить... То к морю спустишься, поглядишь на галеры, то к городским воротам, когда солдаты входят или выходят... То в казарму сходишь — а тебя там угостят, кто еще помнит, поднесут стаканчик... Постоишь на смотру или на разводе караулов, помолишься на полевой мессе... Услышишь: «Под знамя — смирно!» — и как будто сам еще не списан. Это, знаешь ли, хорошо от тоски помогает.

Он поглядел на Копонса, как бы побуждая его подтвердить истинность своих слов, и арагонец коротко кивнул, но промолчал. Малакальса поднес стакан к губам, по которым в этот миг скользнула улыбка. Чтобы так улыбаться, надо иметь в душе немалую отвагу.

— И еще кое-что... — продолжал он. — Не в пример Полуострову, здесь ты хоть и отставлен, да словно бы недалеко. Словно бы ты — в запасе первой очереди. Понимаешь, о чем я? Порой мавры нагрянут, осадят город, а подкреплений ждать неоткуда... Вот тогда доходит черед и до нас, всех зовут, всем культяпым-увечным место найдется — не на стенах, так в бастионе...

Он помолчал, расправил седые усы, повел вокруг себя глазами, будто отыскивая милые сердцу образы. Потом меланхолично окинул взглядом висящую на стене шпагу.

— Ну, впрочем, — прибавил он, — потом все идет, как прежде, своим чередом... Но все же остается надежда, что опять мавры поднапрут, и тогда юдоль сию покинешь, как подобает тому, кто ты есть... Или — кем был когда-то...

Он произнес эти слова совсем иначе. Если бы не мальчуган у него на коленях и те, что жались в дверях, я подумал бы: случись это нынче же вечером — он обрадуется.

— Уход не из худших, — согласился капитан.

Малакальса медленно, будто смотрел из какой-то дальней дали, перевел на него взгляд:

— Старый я стал, Диего... Знаю, сколько пришлось мне отдать Испании и людям ее. И, по крайней мере, здешние тоже это знают. То, что я служил в солдатах, здесь, в Оране, кое-что да значит. А там, у вас... Кому там дело есть до записей в моей аттестации — «редут „Конь“, „бастион Дуранго»?.. Да они и названий таких не слыхали... И, скажи-ка ты мне, не наплевать ли сто раз писарю какому-нибудь, судье или чинуше, в порядке ли, рядов не разравнивая, развернув знамена, отступали мы в дюнах Ньюпорта — или бежали как зайцы?

Он замолчал, подливая себе из кувшина остатки вина.

— Посмотри на Себастьяна. Он хоть и молчит по своему обыкновению, однако согласен со мной. Видишь — кивает.

Он опустил правую руку на стол, рядом с кувшином, и внимательно оглядел ее — иссохшую и костлявую, с давними шрамами на косточках и на запястье, как и у Алатристе с Копонсом.

— Репутация... — послышалось его бормотание.

Наступило долгое молчание. Наконец Малакальса снова поднес к губам стакан, рассмеялся сквозь зубы:

— Ну вот он я — перед вами. Отставной солдат короля Испании.

Он взглянул на монеты, выложенные Копонсом, и, внезапно помрачнев, сказал:

— Ладно... Вина больше нет. А у вас, наверно, и еще дела найдутся...

Мы поднялись, взялись за шляпы, не зная, что на это ответить. Малакальса оставался за столом.

— А на посошок предлагаю выпить за этот мой послужной и никому не нужный список... Кале... Амьен... Бомель... Ньюпорт... Остенде... Ольденсель... Линген... Юлих... Оран... Аминь.

Он произносил эти слова и складывал монетки горкой, глядя на них взглядом отсутствующим и невидящим. Потом словно очнулся, взвесил их на ладони, спрятал в кошелек. Поцеловал мальчика, все еще сидевшего у него на коленях, ссадил его на пол, поднялся, оберегая покалеченную ногу.

— И — за короля, храни его Господь.

В голосе его не слышалось, как ни странно, ни насмешки, ни укоризны.

— За короля! — повторил капитан Алатристе. — Король есть король, что бы там ни было.

И мы, обратясь лицом к старой шпаге на стене, дружно выпили.

Уже поздним вечером покинули мы дом Фермина Малакальсы. Двинулись вниз по улице, куда свет падал лишь из открытых дверей домов, где смутно виднелись фигуры жителей, да еще от свечей и масляных коптилок, горевших в нише перед образом святого. В эту минуту какой-то человек, который сидел на корточках во тьме, при нашем появлении выпрямился. Капитан на этот раз не удовольствовался беглым взглядом через плечо, но оправил наброшенный на плечи колет, высвободив рукояти шпаги и кинжала. После чего, имея в тылу Копонса и меня, отставил церемонии и подошел к этой темной фигуре вплотную.

— Чего надо? — задал он вопрос, подобный выстрелу в упор.

Спрошенный, до этого стоявший неподвижно, чуть передвинулся ближе к свету — явно для того, чтобы мы его узнали и перестали опасаться.

— Сам не знаю, — ответил он на чистейшем испанском языке, который бы сделал честь и мне, и Копонсу, и Алатристе.

— Таскаясь за нами, как пришитый, ты нарвешься на неприятности.

— Едва ли.

Слова эти, сказанные уверенно, спокойно и бестрепетно, сопровождались немигающим взглядом. Капитан провел двумя пальцами по усам.

— Это почему же?

— Я спас тебе жизнь.

Услышав, что араб говорит моему хозяину «ты», я искоса взглянул на Алатристе: проверить, сильно ли он взбешен этим. Мне ли было не знать, что он способен убить не только того, кто осмелился бы ему тыкать, но и сказал бы «вы» — обращаться к нему следовало «ваша милость». К моему удивлению, капитан, казалось, вовсе не был раздражен. Он сунул руку в карман, но могатас в тот же миг отступил назад, оскорбленно вопросив:

— Вот, стало быть, чем ты оцениваешь свою жизнь? Деньгами?

Да, этот человек был явно не какой попало, не простой: что-то у него было за плечами. Тусклая коптилка высветила серебряные серьги в ушах и не слишком темную кожу, бросила красные блики на бороду и эти пушистые девичьи ресницы, обнаружила вытатуированный на левой скуле крест с маленькими ромбовидными навершиями, серебряный браслет на запястье правой руки, которую араб поднял и повернул ладонью вверх, словно бы показать, что она — далеко от висящего на поясе кинжала и в ней нет оружия.

— Не пойти ли тебе своей дорогой? А мы пойдем своей.

Мы повернулись и, спустившись по улице, завернули за угол. Тут я оглянулся и удостоверился, что мавр идет следом. Заметил его и капитан, которого я дернул за полу колета. Копонс потянулся за кинжалом, но Алатристе удержал его руку. Потом медленно, словно раздумывая, что сказать мавру, двинулся назад.

— Слушай-ка, ты...

— Меня зовут Айша Бен-Гурриат.

— Я знаю, как тебя зовут. В Уад-Беррухе ты мне представился.

Они стояли неподвижно и рассматривали друг друга в полумраке, а мы с Копонсом в отдалении наблюдали за ними. Мавр по-прежнему держал руки на виду — и не делал попытки взяться за кинжал. А вот я рукоять своего *бискайца* стиснул, готовясь при первом же подозрительном движении пригвоздить мавра к стене. Капитан, однако, моих опасений не разделял — заложив большие пальцы за ременный пояс, отягощенный оружием, он быстро оглянулся на нас и прислонился к стене, рядом с мавром.

— Зачем ты тогда вошел в шатер? — спросил он наконец.

Мавр ответил без промедления:

— Выстрел услышал. Я еще раньше видел, как ты дерешься. Ты показался мне истинным воином — *имъяхадом*, по-нашему. Истинно так.

— Обычно я не суюсь в чужие дела.

— Я тоже. Но тут вошел и заметил, что ты защищаешь мавританку.

— Не все ли равно — мавританка или нет... Те двое отвечали мне с непростительной дерзостью... Так что не в женщине было дело.

Мавр прищелкнул языком.

— *Тидт*. Твоя правда... Но ведь ты мог бы отвернуться или сам принять участие в забаве.

— Наверно, и ты мог. Однако же — не стал. А ведь если бы ты попался, за убийство испанца спроворил бы себе, как Бог свят, пеньковый воротник.

— Но — не попался же. Судьба.

Они примолкли, не сводя друг с друга глаз и словно бы решая, кто перед кем в большем долгу: мавр перед капитаном за то, что вступился за женщину его племени, или капитан перед мавром за то, что тот спас ему жизнь. Меж тем мы с Копонсом, удивляясь этой беседе, столь же странной, сколь и неуместной, незаметно переглянулись.

— *Саад*, — по-арабски, задумчиво и так, будто эхом откликнулся на последнее слово мавра, пробормотал капитан.

Айша одобрительно улыбнулся:

— Мы говорим *«элькхадар»*. На моем наречии это значит разом и удачу, и судьбу.

— Откуда ты?

Мавр сделал какое-то неопределенное движение рукой, указывая в никуда.

— Оттуда... С гор.

— Далеко?

— *Уах*. Очень далеко и очень высоко.

— Чем тебе помочь? — осведомился Алатристе.

Тот пожал плечами, но потом, будто размышляя вслух, ответил:

— Я — *асуаг*. — И прозвучало это так, словно должно было разом снять все вопросы. — Из племени бени-баррани.

— Ловко чешешь по-нашему.

— Моя мать — христианка... Испанка из Кадиса. Еще ребенком ее продали в рабство в Арсео — приморский городишко в семи лигах к востоку от Мостагана... И там ее купил мой дед для моего отца.

— Занятный у тебя рисуночек на щеке... Особенно для мавра.

— Это старинная история... Мы, асуаги, происходим от христиан. В те времена, когда здесь еще были готы, а нам не чуждо было слово *исбах*. Честь, по-вашему. Потому-то мой дед и женил сына на христианке.

— И потому-то, надо полагать, ты сражаешься с нами против других мавров?

Айша пожал плечами, покорствуя судьбе:

— *Элькхадар*.

После чего замолчал, поглаживая бороду и улыбаясь каким-то своим мыслям.

— «Бени-баррани» — значит «сын чужеземца», понимаешь? Это племя людей без родины.

Вот так оно и вышло, что в 27-м году, в Оране, после набега на становище Уад-Беррух, мы с капитаном Алатристе познакомились с наемником Айшой Бен-Гурриатом — весьма примечательной личностью, чье имя не раз еще встретится на этих страницах. Никто из нас тогда и представить себе не мог, что знакомство, начавшееся в этот вечер, продлится целых семь лет — до кровавого сентябрьского дня 34-го года, когда Гурриат, капитан и я, и еще множество наших товарищей, дрались на окаянном нордлингенском холме. Череда странствий и опасных приключений будет предшествовать тому дню, когда наш неколебимый, как скала, полк выдержит за шесть часов пятнадцать шведских атак, но не сдвинется ни на пядь, могатас погибнет у нас на глазах геройской смертью, что значит — приличествующей солдату испанской пехоты. Защищая чужую веру и чужую отчизну — в чаянии обрести когда-нибудь свои собственные. Подобно многим другим сложит голову за неблагодарную сквалыгу Испанию, никогда никому ничего не дававшую взамен — ибо именно ей по каким-то ему одному ведомым расчетам Айша Бен-Гурриат из племени азуагов Бени-Баррани решил служить с истинно собачьей, свирепой и несокрушимой верностью. И сделал это самым что ни на есть причудливым способом — выбрав себе в сотоварищи капитана Алатристе.

В последующие двое суток, пока оставившая за кормой берберийское побережье «Мулатка» держала курс к северу, на Картахену, Диего Алатристе имел богатую возможность присмотреться к мавру Гурриату получше, благо тот ворочал веслом на пятой банке правого борта, рядом с загребным. Он был без цепей и звался отныне вербото́й: так именуют на наших галерах всякое припортовое отребье, проходимцев не в ладах с законом, людей отчаявшихся и готовых на все — в том числе и на то, чтобы пойти в гребцы не по приговору суда, а своей охотой и за деньги. Замечу кстати, что для таковых молодцов, коих на турецком флоте зовут *морлаками* [[15]](#footnote-15) или просто шакалами, галеры в море служат убежищем столь же надежным, как церковь — на суше. Именно такой путь оказаться на борту «Мулатки» избрал для себя наш могатас, решивший сопровождать Диего Алатристе и пытать счастья с ним вместе и заодно. После того как уладилось дело с отставкой Себастьяна Копонса — главный сержант Бискарруэс удовлетворился пятью сотнями дукатов в руку вдобавок к тем, что рано или поздно казна выплатит арагонцу, — в кармане у моего бывшего хозяина еще что-то брякало, так что в случае нужды можно было умаслить кого надо. Нужды, однако, не возникло. Мавр, у которого нашлись собственные средства, чье происхождение он объяснять не пожелал, развязал платок, обвязанный жгутом вокруг поясницы, и достал из-под него несколько серебряных монет, которые, хоть и были отчеканены в Алжире, Фесе и Тремесене, произвели обыкновенное свое, то есть чудотворное, действие на комита и судового альгвазила: и, засияв в полнейшем блеске, аргументец вышел веский, вполне убедив обоих в том, что они поступят в высшей степени разумно и хорошо, если возьмут мавра на борт. И, не чиня никаких препятствий, они приняли на веру христианскую веру нашего могатаса, а его самого — в состав экипажа, внеся в судовую роль под именем Гурриато из Орана и положив ему одиннадцать реалов жалованья в месяц. И — быть по сему: с этой минуты новый гребец, нечувствительно восприявший таинство крещения, сделался добрым католиком и лицом, состоящим на службе у короля Испании, против чего возражать нимало не намеревался, а потому, явив предусмотрительность и хитроумие, лишился знака своего воинского достоинства — пряди на макушке, — оставшись с наголо обритой, как у всякого галерника, головой; а чалму, сандалии, шаровары и прочее мавританское платье сменив на штаны, полотняную куртку, красную нижнюю сорочку-*альмилью* и берет, так что из всей своей прежней амуниции сохранил при себе лишь кинжал, заткнутый, как и раньше, за кушак, да полосатый бурнус, которым укрывался по ночам или в непогоду — вот примерно как сейчас, когда свежий попутный ветер делал усилия гребцов ненужными. Что же касается татуировки и серебряных серег в ушах, то он у нас в команде был не единственный, кто блистал такими особенностями.

— Странный малый этот мавр... — заметил Себастьян Копонс.

Не скрывая радости от того, что Оран давно скрылся позади, арагонец сидел у поскрипывающей фок-мачты под сенью вздутого восточным ветром паруса.

— Не странней, чем ты да я, — отвечал ему Алатристе.

Он целый день наблюдал за могатасом, а тот издали совсем не отличался от прочей гребной братии — каторжан и рабов, насильно усаженных на весла, закованных в кандалы по рукам и ногам. Из двухсот обитателей гребной палубы едва ли набралось больше полудюжины завербовавшихся своей охотой — ну или оттого, что охота шла за ними. Имелось также известное количество и «добровольных галерников» — такой вот чисто испанский оксюморон объяснялся тем, что по причине вечной нехватки людей на королевских галерах и в берберских гарнизонах каторжников, отбывших свой срок, на свободу не отпускали, а заставляли делать то же, что и прежде, но уже за плату. Предполагалось — пока им на смену не прибудет новая партия сосланных на галеры по приговору суда, но поскольку обычно происходило это с большими задержками, то, отмахав веслами по два года, по пять, а иные и по восемь-десять лет, впрочем, до конца десятилетнего срока мало кто дотягивал, — арестанты — даже и не скажешь: волей-неволей, ибо именно что неволей, — оставались здесь еще на несколько месяцев, а то и лет.

— Гляди, — сказал Копонс. — Молятся, а ему хоть бы хны. Будто и впрямь не из них.

Ветер, как я уже говорил, был благоприятным, и гребцы всех перечисленных мною разрядов — и каторжане, и вольные, и задержанные в силу необходимости — предавались блаженной праздности. Вся эта публика разлеглась на скамейках-банках, справляла нужду за борт или в гальюнах на носу, била вшей, починяла одежонку или мастерила что-то по заказу моряков и солдат. Рабам, пользовавшимся доверием начальства, позволялось снять цепи и свободно ходить по всему кораблю, устраивать постирушку в морской воде или помогать нашему коку стряпать: от плиты, помещавшейся по левому борту между грот-мачтой и кормовой надстройкой, валил ароматный пар — там упревали тушеные бобы. Десятка два гребцов — почти половину их у нас на галере составляли турки и мавры — воспользовались затишьем, чтобы сотворить один из пяти ежедневных намазов: обратясь лицом на восток, стали на колени и, то утыкаясь лбом в настил, то выпрямляясь, затянули хором: *«Ла-иллях-иль Алла, уа Мухаммад расул Алла»*, то есть «Нет бога, кроме Бога, и Магомет пророк его». Команда и солдаты смотрели на это и молиться не препятствовали, однако и мусульмане, стоило лишь комиту щелкнуть бичом, когда на горизонте показывался парус или ветер стихал и звучал приказ разобрать весла, вмиг прекращали молитву и принимались грести, звоном своих кандалов вторя плеску воды под лопастями. На нашей галере все службу понимали.

— Так оно и есть, — ответил Алатристе. — Я думаю, он и в самом деле — ниоткуда, как сам сказал.

— Полагаешь, врет насчет того, что племя его раньше было христианским?

— Может, и не врет. Ты ж видел — крестик на скуле? А вечером он рассказывал про бронзовый колокол, спрятанный в пещере. У мавров колоколов нет. Меж тем во времена готов, когда пришли сарацины, многие не пожелали отречься от святой веры и бежали в горы. Конечно, за столько веков вера-то повыветрилась, но остались обычаи, воспоминания... Всякая такая штука. Да и борода у него отдает в рыжину.

— Может, мастью в мать удался.

— Может, может... А только ты присмотрись — и увидишь: он себя мавром не считает.

— Ни мавром, ни христианином.

— Мне-то хоть мозги не полощи, Себастьян... Сам-то за последние двадцать лет сколько раз был у мессы?

— Сколько раз не смог отвертеться, столько и был, — рассудительно промолвил арагонец.

— А какие именно Божьи заповеди нарушал с тех пор, как пошел в солдаты?

Копонс сосредоточенно посчитал на пальцах и ответил угрюмо:

— Все до единой.

— И что же — это помешало тебе воевать за короля?

— Еще чего!

— То-то и оно.

Диего Алатристе продолжал наблюдать за Гурриато, а тот, свесив ноги, сидел на борту и созерцал морской простор. По словам могатаса, он впервые оказался на корабле, однако, несмотря на мертвую зыбь, в которую мы попали, едва лишь скрылся из виду крест Масалькивира, от качки и морской болезни, от нее проистекающей — о-о, и сколь еще обильно! — не в пример прочим не страдал. Секрет, как он уверял, был в том, что, по совету одного мавра, положил поближе к сердцу листик шафрана.

— Так или иначе, выносливый малый оказался. Быстро осваивается, — сказал Алатристе.

Копонс издал утробный стон.

— В отличие от меня, — он вымученно улыбнулся. — Я не так давно изверг из утробы все, что там было... Видно, ничего не захотел забирать с собой из Орана...

Алатристе кивнул. В свое время ему самому нелегко далась привычка к тяготам галерной жизни — теснота и скученность, когда люди постоянно трутся боками в замкнутом пространстве и мозолят друг другу глаза, грызут каменной твердости, червивые, со следами мышьих зубов сухари, которые черта с два размочишь, пьют безвкусную и протухшую воду, терпят насмешки матросов, сносят вонь и смрад... И кожа зудит под одеждой, стиранной в соленой воде, и спишь вповалку на голой палубе, со щитом взамен подушки под головой, и нежное тело твое беспрестанно язвят то зной, то ливень, а по ночам в открытом море — холод, сырость, обильная роса, от которой, говорят, тебя удар хватит или глухота постигнет. Не говоря уж о качке, выматывающей душу, выворачивающей нутро, о ярости штормов, об опасностях морских боев, когда дерешься на шаткой, ходуном ходящей палубе, ежеминутно рискуя сверзиться в море. И все это происходит в изысканном обществе самой что ни на есть отборной сволочи, сосланной на галеры, а перед тем подвергнутой телесному наказанию, то бишь — выдранной публично: еретиков, фальшивомонетчиков, верооступников, лжесвидетелей, святотатцев, мошенников, растлителей, прелюбодеев, воров, грабителей и убийц, никогда не расстающихся с засаленной колодой или с костями. Впрочем, не лучше и моряки с солдатами, ибо там, куда они сходят на берег, — в Оране для вразумления остальных одного пришлось даже повесить — не остается курятника, который бы они не распотрошили, огорода, который бы не опустошили, вина, которого бы не выжрали, еды и одежды, которых бы не забрали, женщины, которая сберегла бы честь после встречи с ними, мужчины, которого бы они не зарезали или не избили. Ибо, как говорит старинное присловье, Господу виднее, кому послать холеру, кого — на галеру.

— И ты всерьез полагаешь, из него выйдет солдат?

Копонс снова уставился на мавра. И Алатристе тоже. Потом как-то неопределенно передернул плечами:

— Поглядим. Сейчас он, как сам того хотел, познаёт мир.

Арагонец с пренебрежением ткнул пальцем в сторону гребной палубы и тотчас красноречиво поднес его к носу. Если бы не свежий ветер, надувавший паруса, то от гальюнного смрада, соединенного с витающим над куршеей зловонием немытых тел, скученных среди весел, бухт каната, каких-то тюков, дышать было бы совсем нечем.

— «Познаёт мир»... Это ты, пожалуй, загнул, Диего. — Все еще недоумевая, он приподнялся на локтях и вымолвил: — И чего мы его с собой тащим?

— Никто его не тащит. Своей волей пошел.

— А тебе не странно, что так вот, за здорово живешь, он выбрал нас в товарищи?

— Ну, если вспомнить, с чего все началось, то не за здорово живешь... Сам-то подумай, черт возьми... Товарищи тебя выбирают, а не ты их.

Он еще некоторое время смотрел на могатаса, а потом, слегка сморщившись, добавил задумчиво:

— В любом случае это звание он еще не заслужил.

Копонс погрузился в размышления, осмысляя эти слова. Потом снова утробно простонал и молчал, пока Алатристе не спросил:

— Знаешь ли, Себастьян, о чем я думаю?

— Понятия не имею, чтоб меня громом убило! Черт тебя знает, о чем ты думаешь.

— А думаю я, что ты как-то переменился. Словоохотлив стал.

— Неужто?

— А вот ей-богу.

— Это все Оран. Слишком долго я там проторчал. Намолчался.

— Очень может быть.

Арагонец сморщил лоб. Потом, сдернув платок с головы, обтер взмокшие от пота лицо и шею.

— А это хорошо или плохо? — осведомился он через минуту.

— Почем мне знать? Просто отмечаю перемену.

— Ага...

Копонс устремил взор на свой платок, словно отыскивая в нем ответ на этот сложный вопрос.

— Просто-напросто я старею... — пробормотал он наконец. — Годы берут свое, Диего. Ты ж видал Фермина Малакальсу? Сравни, какой он был и что с ним сталось теперь.

— Да, конечно... Слишком много всякого за плечами... Наверно, и впрямь от этого...

— Наверно.

Я же в то время находился на другом конце корабля, неподалеку от мостика, и наблюдал, как штурман по звездам определяет *место*. Надо сказать, что к своим семнадцати годам я был юноша смышленый и любознательный и с жадностью усваивал все, что видел. Так продолжалось едва ли не всю мою жизнь, и пытливости своей обязан я до известной степени умению сносить удары судьбы. Помимо весьма полезных зачатков судовождения, коему начал я учиться, едва ступив на борт «Мулатки», в сем затворенном мире открылось мне и немало иных навыков и умений: начиная от лечения ран, которые в море из-за влажного и соленого воздуха затягиваются в совсем иные, нежели на суше, сроки, и кончая той наукой, которую постигал в Мадриде, когда был желторотым школяром, во Фландрии — когда мог почесть себя бакалавром, и на королевских галерах, где ходил уже не менее чем в лиценциатах, ибо Господь Бог или сатана наделили род людской разнообразием столь же богатым, сколь и опасным. И многие здесь с полным правом могли бы отнести к себе строки дона Франсиско де Кеведо:

Хоть далась наука тяжко,

Все ж я стал лиценциатом

В университете клятом

Под названьем «каталажка»,

А теперь учу сардин.

...Издали среди гребцов, моряков и солдат я видел мавра Гурриато, невозмутимо созерцавшего морской простор, а также и Диего Алатристе, вполголоса беседовавшего с Копонсом под фок-мачтой. Должен признаться, что все еще пребывал под сильным впечатлением от гостевания в доме Фермина Малакальсы. Разумеется, то был не первый встреченный мною ветеран, но, увидев, что, столько лет верой и правдой отслужив королю, он, обремененный семейством, намертво завяз в убожестве захолустного Орана, в лютой бедности и взамен надежды на перемену участи получил превосходный выбор — либо по-прежнему гнить, как выброшенное на солнцепек мясо, либо вместе с домашними своими попасть в рабство к маврам, если те, не дай бог, когда-нибудь возьмут город. Ну так вот, встреча с Фермином задала работу моему мозгу, и упражнять его я принялся чаще, чем это было мне свойственно прежде. А упражнения, сиречь размышления, не всегда вяжутся с избранным мною ремеслом. Помню, когда был помоложе, я с упоением декламировал «солдатские октавы» Хуана Баутисты де Вивара, нравившиеся мне до чрезвычайности:

Огнем и сталью вышколив на славу,

Война обучит главному всех нас —

Как жизнь, что нам дарована лишь раз,

Отдать за Бога, короля, державу... —

...но при этом довольно часто замечал, что капитан Алатристе прятал в усы насмешливую ухмылку, и хоть он никогда не позволял себе никаких замечаний или комментариев, однако не от него ли я столько раз слышал, будто словами никого не вразумишь? Прошу вас, господа, учесть одно немаловажное обстоятельство: в бытность мою во Фландрии, при Аудкерке и под Бредой мне, зеленому, а потому и безмерно легкомысленному юнцу, все было в диковинку и в отраду, и то, что для других стало бы тягчайшими мытарствами и трагическими испытаниями, я, как истый испанец, с колыбели привычный к самой черной нищете, воспринимал увлекательным приключением, забавой и игрой. Однако к семнадцати годам, когда сложился нрав, развился ум и прибавилось житейских сведений, беспокойные вопросы полезли ко мне в душу, как хороший кинжал — сквозь створки панциря. Вот тогда мне и открылось, почему Диего Алатристе топорщил в кривой усмешке левый ус, и после памятного помещения Малакальсы я никогда больше стихов этих не читал. Мне уж было довольно лет и хватало разумения, чтобы разглядеть в этой хибаре тень моего отца, тени Алатристе и Копонса, а в отдалении — и свою собственную, которая тоже рано или поздно должна будет там появиться. Впрочем, моих намерений это обстоятельство никак не меняло: я, как и прежде, хотел быть солдатом. Однако после Орана военную службу стал рассматривать не как цель всей жизни, но скорее как средство, действенный и надежный способ, заковав себя в броню уставов и незыблемого воинского порядка, противопоставить враждебному, хоть и совсем еще неведомому мне тогда миру все, что искусство владеть оружием предоставило в мое распоряжение. И, кровью Христовой клянусь, я оказался прав. Все пригодилось потом, когда настали тяжкие времена — тяжкие и для несчастной нашей Испании, и для меня самого, пригодилось и помогло вытерпеть череду разлук, утрат, скорбей, выстоять под ударами судьбы. И ныне, еще пребывая по сю сторону границы бытия, еще что-то сохранив в себе, хоть и потеряв во сто крат больше, я с гордостью могу свести бытие и собственное, и еще нескольких отважных и верных людей к емкому понятию «солдат». И не случайно, не просто так, я, хоть с течением времени получил под свое начало роту и был пожалован сперва лейтенантом, а потом произведен и в капитаны гвардии его величества — для безотцовщины из богом забытого баскского Оньяте недурная, мать ее так, карьера! — под всяким партикулярным письмом подписывался «прапорщик Бальбоа» в память первого офицерского чина, в коем состоя, девятнадцатого мая тысяча шестьсот сорок третьего года вздымал над собою, над капитаном Алатристе и жалкими остатками последнего полка испанской пехоты наше старое и рваное знамя. При Рокруа дело было.

## V. Англичане

День за днем по морю, называемому нашими соседями напротив «Бахар эль-Мутауассит», плыли мы на восток — в сторону, обратную той, по которой в древности направлялись к Пиренеям суда финикиян, греков и римлян. Солнце, каждое утро восходя с носа, а вечером садясь в пенный след за кормой, доставляло мне единственное в своем роде удовольствие, и не только потому, что все ближе становился пункт прибытия — Неаполь, земной рай для солдат, неиссякаемый кладезь утех и наслаждений, нет — тихим ли утром, когда в воздухе не ощущалось ни единого дуновения, или вечером, когда галера, повинуясь размеренно-согласным усилиям гребной команды, будто отточенный клинок, вспарывала неподвижную гладь синего, багровеющего на закатном горизонте моря, я чувствовал его таинственную связь с чем-то дремлющим в душе, как смутное воспоминание или ощущение. «Мы — отсюда родом», — слышал я иногда бормотание капитана Алатристе, меж тем как скрывались из виду колонны древнего языческого храма на одном из многих здешних островов, каменистых и голых: ничего общего не было у острова этого ни с гористым Леоном, где прошло детство Алатристе, ни с зеленеющими долинами моего родного Гипускоа, ни с обрывистыми арагонскими кручами, где возрастал в оны дни будущий солдат Себастьян Копонс, который, услышав такое, устремлял на старого друга недоуменный взгляд. И тем не менее я понимал, что мой прежний хозяин имеет в виду тот отдаленный благодетельный толчок, который через книжную латынь, оливы, виноградники, белые паруса, мрамор памятников и память предков дошел до нас, доплеснул к далеким нечаемым берегам иных морей, подобно волне, рожденной падением драгоценного камня в тихий водоем.

Из Орана мы вместе с остальным караваном добрались до Картахены, пополнили припасы в городе, который, если верить Сервантесу, воспевшему его на страницах «Путешествия на Парнас», получил свое название в честь Карфагена, затем подняли якоря и вместе с двумя сицилийскими галерами — как говорят моряки, под конвоем взаимной защиты — обогнули мыс Палос, забрали восточней, чтобы через двое суток выйти к острову Форментера. Вслед за тем, оставив по левому борту Майорку и Менорку, взяли курс на Кальяри, на юге Сардинии, где спустя восемь дней после того, как отчалили от испанского побережья, без приключений ошвартовались у знаменитых тамошних градирен. Потом, снова пополнив запасы продовольствия и пресной воды, подняли паруса, развернулись кормой к мысу Карбонара и, благо левант сменился сирокко, поплыли в сицилийскую Трапану. На этот раз пришлось посадить в бочки на обеих мачтах впередсмотрящих — здесь, на пояснице Средиземного моря, в узкости естественной воронки, образованной побережьями Северной Африки, сиречь Берберии, Европы и Леванта, толклась чертова уйма судов под всеми флагами. Смотреть, стало быть, следовало в оба, чтобы вовремя заметить появление неприятеля — турецких, берберийских, английских и голландских кораблей — и, сообразно обстоятельствам, на одних — ударять, от других — удирать, хоть в последнем случае ни казне прибытку бы не было, ни Иисусу Христу — славы. В Трапане, растянувшейся вдоль неширокого мыса, гавань была вполне пристойная, хоть на подходе к ней имелось множество отмелей и подводных рифов, заставлявших судоводителя одной рукой креститься, приговаривая «Господи, пронеси!» — а другой бросать лот, замеряя глубину. Там мы и распрощались с конвоем и начали одиночное плаванье, причем из-за неблагоприятного ветра шли на веслах до самой Мальты, куда, помимо депеш от вице-короля Сицилии, обязались доставить и четырех рыцарей-иоаннитов, возвращавшихся на свой остров.

Гурриато-мавр продолжал будоражить мое воображение, ибо он вписался в бытие гребной команды так легко и естественно, словно того лишь ради и на свет появился. Бритоголовый, по пояс голый — рубаху полагалось сдергивать по особому приказу комита, — он, будь у него на лодыжках «бискайские башмаки», то бишь ножные кандалы, ничем не отличался бы от остальных каторжан. Ел, что давали, пил ту же, что и все, мутную воду или разбавленное вино. Был послушен и старателен, терпелив и усерден, тяжкую свою работу делал ревностно — стоял ли, чуть не переламываясь в пояснице, когда надо было исполнить команду «весла на валек!», или под свистки и щелканье бича, которым комит охаживал согнутые спины, не разбирая, чьи они, сидел на банке и, откидываясь назад, вплетал свой голос в общий хоровой припев, нужный для согласной и мерной работы всех весел. Не возражал и поблажек себе не требовал, с товарищами ладил, хоть ни с кем особо близко не сошелся, так что соседи его по гребной скамье — испанец-каторжанин и двое рабов-турков — злобы к вольному не питали. И то обстоятельство, что и с христианином-загребным, и с турками умел он найти общий язык, кое-что да значило, ибо всякому было понятно: если, не приведи Господь, попадет наша галера в руки берберов или подданных Блистательной Порты, те двое мусульман немедля выдадут вероотступника, доброй волей пошедшего служить неверным, и по сему свидетельству его без промедления пересадят с гребной скамьи на кол, не озаботившись, чтоб легче шло, смазать острие ни маслицем, ни салом. Гурриато-мавр словно бы не принимал таковую возможность в расчет: бок о бок с ними спал меж скамей, бил вшей в сердечном согласии, а если в непогоду кто-нибудь из моряков или солдат, не желая мокнуть, оправлялся не в гальюне на полубаке, а там же, где и гребцы, то есть раскорячась над фальшбортом, там, где помещалась крайняя, ближайшая к морю часть весла — место это по справедливости считалось самым что ни на есть скверным, — то могатас, пользуясь свободой передвижения, не брезговал зачерпнуть бадьей на длинной веревке забортной воды и окатить палубу. С товарищами держался уважительно, как и со всеми прочими, когда заговаривали с ним — не отмалчивался, но словоохотлив не был. Вскорости открылось, что разумеет он не только по-испански и по-арабски, но и по-турецки — как потом мы узнали, он выучился их языку у алжирских янычар, — а также на той невообразимой смеси разных наречий, что была в ходу по всему Средиземноморью и называлась лингва-франка.

Движимый любопытством, я несколько раз подходил к нему и заводил беседу. Благодаря этому узнал кое-какие подробности его жизни, как и то, что он желает поглядеть мир, причем — непременно в компании с капитаном Алатристе. Добиться, чтобы Гурриато изъяснил причины столь странного тяготения, мне не удалось — он никогда о сем не распространялся, словно удерживаемый какой-то таинственной застенчивостью, однако впоследствии, поступками своими не только не опроверг, но и подтвердил незыблемость этой загадочной верности. Меня, как я уже говорил, восхищало его умение приспособиться к тяготам нового бытия, оттого в особенности, что мне самому, хоть и был я по младости своей духом весьма бодр, обвыкнуться на галере стоило трудов немалых.

...Непросто первые дались мне дни и мили:

я замышлял побег; но нет таких преград,

которых время бы с привычкой не сломили.

Было и такое, с чем справиться не удавалось никак, и называлось это бедствие скукой. Я довольно быстро притерпелся к скученности и смраду, к неудобствам и штормам, но — не к тому, что время на этих плавучих скорлупках тянется бесконечно, а убить его нечем: дело доходило до того, что мы впадали в радостное возбуждение при виде появившегося в отдалении паруса, ибо он сулил погоню и охоту и схватку, ликовали, когда небо хмурилось, ветер в снастях начинал свистать с особенной силой, а вмиг потемневшее море обрушивало на нас удары волн — начинался шторм, в такие минуты заставляя всех, кто был на борту, бормотать молитвы, креститься, давать благочестивые обещания и щедрые обеты, о коих, впрочем, мы забывали, едва лишь вновь оказывались на суше и в безопасности.

Чтобы хоть как-то скоротать время, я вновь поддался похвальной привычке к чтению, в чем капитан Алатристе, некогда преуспевший в намерении приохотить меня к этому душеполезному занятию, и сейчас подавал мне пример: он, если не вел беседы со мной, с Себастьяном Копонсом или еще с кем-то из товарищей, сидел у бойницы и читал одну из тех двух-трех книг, что всегда имел при себе в заплечном солдатском мешке. С благодарностью вспоминается мне, что в этом плавании я читал и перечитывал толстый том «Назидательных новелл» сочинения дона Мигеля де Сервантеса, так хохоча над ученой беседой двух псов или над персонажами «Ринконете и Кортадильо», что вселял изумление в души всего экипажа. С отрадой прочитал я и старинную растрепанную книгу, изданную в Венеции еще в прошлом веке и называвшуюся «Портрет любострастной андалусийки»[[16]](#footnote-16), хоть и нелегко было продираться через чересчур — на мой тогдашний вкус — витиевато-громоздкие периоды: из-за довольно скабрезных сцен, содержавшихся в ней, капитан опасался давать ее мне в руки и, лишь когда убедился, что я украдкой уже пролистывал ее, скрепя сердце согласился.

— Да и то сказать, — примиряясь с неизбежностью, вздохнул он, — если тебе не рано отнимать чужие жизни и рисковать собственной, то уж, наверно, и читать можно что хочется.

— Аминь, — заключил Себастьян Копонс, который книг сроду не читывал и впредь не собирался.

Лиг шесть-семь не доходя до мыса Пахаро, наша галера легла на другой галс. Со встречного далматинского парусника, шедшего с Керкенны в Рагузу с грузом кож, воска и фиников, нам прокричали, что вчера утром, когда они пополняли запас питьевой воды, стало известно: трехмачтовый корсарский галеон и другой парусник, поменьше, отстаиваются на острове Лампедуза, и что, похоже, они — из тех британских кораблей, что уже примерно с месяц рыщут между мысом Боно и мысом Бланко, грабя всех встречных, и покуда не попались ни мальтийским, ни сицилийским галерам. *Купец* прошел дальше, а собравшийся на мостике военный совет, приняв в расчет, что ветер установился благоприятный, а два больших *латинских* паруса позволяют «Мулатке» покрывать никак не менее лиги в час, решил идти юго-восточней, то есть курсом на Лампедузу, ибо есть шанс отличиться и перехватить мерзавцев, если, конечно, те еще не убрались из тамошних вод.

Как я уже говорил, было не в диковинку, что английские и голландские суда все наглее бесчинствуют в Средиземном море, все чаще появляются в портах Берберии и даже во владениях султана, ибо чего не сделаешь, чтобы насолить Испании и другим католическим державам. Сыны туманного Альбиона предавались этому занятию со страстью — и уже давно: с небольшими промежутками так повелось со времен их Елизаветы, королевы-девственницы — в данном случае это устоявшееся выражение, но отнюдь не медицинский факт. Ну да, той рыжей лисе, которую с полным на то основанием злейшим врагом Испании считали все наши поэты, и среди них — кордовец Гонгора:

Тварь кровоядная! распутная зверюга!

во смрадном гнуище тебе сужден удел лихой,

при жизни ты одним успела стать супругой,

другим — снохой, —

и Кристобаль де Вируэс, посвятивший ей следующие строки:

Иезавели дщерь, воссевшая в порфире,

Симво́л нечестия, пороков средоточье!

Невмочь тебе терпеть, чтоб люди жили в мире? —

Отторгнут мира свет кровавой ради ночи! —

и чью кончину — да, каждому, благодарение небесам, пробьет урочный час — приветствовал приличествующей случаю эпитафией сам «испанский Феникс», наш великий Лопе, который тоже обругал покойницу «Иезавелью» и «гарпией, воспламеняющей моря».

Ну и раз уж речь у нас зашла об англичанах, скажу, что бессовестнее и наглее всех вели себя в Средиземноморье вовсе не турки и не берберы, которые неукоснительно исполняли заключенные договоры, а именно эти свирепые морские псы, приплывшие со своих холодных морей и под лицемерным предлогом войны с папистами бесчинствовавшие, как самые натуральные пираты, за деньги получая право заходить в Алжир или Сале. Уж такая это была мразь, что даже турки косились на них неодобрительно, ибо нечестивые бритты грабили всех, кто попадался им под руку, не обращая внимания, под чьим флагом идет корабль и что везет в трюмах. Причем сами предпочитали действовать, так сказать, втемную, собственной национальной принадлежности не обнаруживая, а их короли и купцы, публично все отрицая, втихомолку этот разбой на большой морской дороге поддерживали и оплачивали, благо им самим от него перепадало очень даже немало. Я сказал «пираты», и не оговорился: иного слова они и не заслуживают, никакие они были не корсары, ибо корсарство есть занятие, освященное давней традицией, уходящее корнями в седую, можно сказать, старину, занятие почтенное, достойное и благопристойное: несколько человек объединяются, получают патент — разрешение короля грабить врагов короны, — за свой счет снаряжают корабль, обязуясь пятую часть от всех своих прибылей уплачивать королю и придерживаться правил, установленных государствами между собой. Впрочем, мы, испанцы, за исключением разве что моряков майоркских, кантабрийских и фламандских, корсарства, иначе как во время военных действий, не практиковали, действуя тогда, разумеется, жестоко и, само собой, беспощадно, однако — под флагом его католического величества и с соблюдением всех установлений, нарушение коих каралось весьма сурово. Объяснялось это, во-первых, тем, что понятия «доброе имя» и «приличие» для нас — не звук пустой, во-вторых, тем, что сами на протяжении столетий страдали от морских разбойников, шаставших вдоль берегов Испании, и у нас этот промысел уважением не пользовался. Когда брались за него моряки и солдаты — еще туда-сюда, на то и война, чтоб воевать, пусть другими средствами, — но для людей, к Марсовому ремеслу отношения не имевших, он считался как бы делом неблагородным, мутноватым каким-то делом, сомнительным, что ли. И оттого, к несчастью, покуда враги наши, решительно не стесняясь в средствах, пускали нам кровь на суше и на море, испанское корсарство — ну за исключением наших бестрепетных дюнкеркских католиков, грозы англичан и голландцев — хирело и увядало, пока и вовсе не сошло на нет из-за отсутствия обученных экипажей, из-за невообразимых сложностей в получении пресловутого патента, а еще из-за того, что если все же удавалось его обрести, всю прибыль съедали чиновничье лихоимство, непомерные подати да обжорство присосавшихся к сему делу паразитов. Не забудьте и о том, сколь плачевно сложилась судьба ближайшего друга дона Франсиско де Кеведо — герцога де Осуны, о коем речь еще впереди: он, вице-король Сицилии, а потом Неаполя, истинный бич Божий для венецианцев и турок, отец родной для испанских корсаров, неумолимый гонитель врагов нашей отчизны, триумфами своими и удачами навлек на себя такую черную злобу завистников, что стараниями их потерял сперва честь, потом — свободу, а потом и самое жизнь. О чем еще толковать? Мудрено ли, что когда, уступая требованиям военной политики, четвертый Филипп да граф-герцог Оливарес захотели возродить корсарство и готовы были ради этого даже отказаться от королевской пятины, согласившись на так называемую «дележку по-бискайски» — вся добыча достается тому, кто ее добыл! — из этой затеи ничего не вышло: кто разорился, кто разочаровался, а кто и просто не пожелал искать себе на шею хомут, а на задницу — приключений.

Лампедуза — низменный, поросший кустарником и почти безлюдный остров — расположен лигах в 15—16 к юго-юго-западу от Мальты. Наши впередсмотрящие, которые из своих бочек примерно такой вот обзор и имели, заметили землю во второй половине дня, и, дабы пираты, в свой черед, нас не обнаружили, капитан Урдемалас приказал убрать все паруса и подвигаться вперед на веслах малым ходом, имея в виду подойти не прежде, чем стемнеет. И покуда мы делали все необходимое, чтобы, перехватив англичан, из рук их уже не выпустить, штурман, имевший большой опыт судовождения в здешних широтах, рассказал, что остров этот был землей обетованной и для мусульман, и для христиан, ибо там находили приют беглые рабы с обеих сторон и имелась небольшая пещерка, а в ней — старинный, писанный на доске образ Приснодевы с Христом-младенцем на руках, и люди приносили туда доброхотные пожертвования — сыр, сало, масло, сухари, кварту-другую вина. Примечательно, что неподалеку от нее находилась гробница отшельника-*морабита*, которого турки почитали великим святым и несли туда все то же, что христиане — Деве Марии, исключая разве что сало. Делалось это для того, чтобы беглым рабам, когда они доберутся до острова, было что поесть, благо воды, хоть солоноватой и скверной, там было в избытке. И вот еще такая там бытовала особенность — ни христиане, ни магометане чужое святилище не трогали, уважая веру и надобности каждого, кто он ни будь. Ибо в Средиземноморье, где сегодня ты, а завтра — тебя, всем удивительно пристали эти вот строки Лопе:

История — ох, взбалмошная дама! —

За истину любую выдаст блажь:

Но все мы дети праотца Адама —

Так как же не воскликнуть: «Отче наш!»

Ну так вот, это я к тому, что, убрав паруса и еле-еле пошевеливая веслами, шли мы с севера на юг, приближаясь к Лампедузе; солнце садилось у нас по правому борту, и сгущавшиеся сумерки были нам на руку. И последнее, что мы увидели, прежде чем окончательно померк день, был столб дыма, а это означало, что кто-то на острове есть — англичане или еще кто. Когда уже совсем стемнело и лишь на самом горизонте еще светилась узкая красноватая полоска, стал виден костер. Сильно обрадованные этим, мы стали готовиться к бою, причем — ощупью, ибо капитан Урдемалас велел погасить все огни на корабле, запретил подавать голос и даже комиту приказал отставить свист. И так вот двигались мы по черному морю, в котором еще не отразилась луна, и слышались во тьме и тишине только хрипловато-гортанные выдохи — нечто вроде протяжных «у-ух, у-ух, у-ух» — наших галерников, споро и согласно работавших веслами, и плеск их сорока восьми лопастей о воду.

— Господа солдаты, по местам стоять, к высадке! Кто выстрелит без приказа — убью на месте!

Когда по цепочке докатились до нас эти слова, двадцать человек, сгрудившихся в галерейках по обоим бортам, двинулись на корму, к трапам. На воду уже спустили шлюпку и вельбот, которые должны были доставить десант на сушу. Медленные и редкие взмахи весел в полном безмолвии несли галеру вперед; *заваленные*, чтоб не выделялись на фоне ночного неба, мачты лежали на куршее, штурман ничком распластался на носу, у самого тарана, рядом с матросом, который промерял глубину и, вытягивая лотлинь, монотонно отсчитывал количество узлов. Испанские галеры, легкие, как ветер, верткие, с высокой осадкой, могли бы произвести высадку, в буквальном смысле воды не замутив, но сегодня решено было не рисковать и предосторожности ради до берега добираться на шлюпке и боте. И место узкое, и ни к чему было окунаться и мочить порох и фитили аркебуз.

— На рожон не лезь, Иньиго, — прошептал капитан Алатристе. — Удачи тебе.

Я ощутил на плече его руку, потом получил легчайший подзатыльник от Копонса, и оба они по трапу с правого борта полезли в шлюпку. Завозившись со стальной кирасой, я промедлил и ответил:

— И вам, капитан, — когда они уже не слышали. Команда, сплошь состоящая из аркебузиров, шла двумя партиями: одну вел прапорщик Муэлас, другую — Диего Алатристе; шестьдесят солдат оставались на борту под началом сержанта Альбадалехо. Люди рассаживались в шлюпке и вельботе, и, если кто оступался, натыкался на другого, слышались тогда задавленные проклятия, придушенная брань, звон уключин, лязг оружия, обвернутого тряпьем, и потому приглушенный. Замысел состоял в том, что отряд аркебузиров высаживается на берег крохотной бухточки, которая, по словам штурмана, находится прямо по носу «Мулатки» и в ширину имеет всего полтораста шагов — высаживается в том, разумеется, случае, если шлюпка с вельботом не налетят в темноте на коралловые рифы или подводные камни. Итак, высаживается, пересекает остров в юго-восточном направлении, окружает бивак пиратов, открывает по нему огонь, оттесняет от маяка и от единственного здесь колодца, меж тем как при первом свете дня «Мулатка» на веслах бесшумно огибает остров, перекрывает выход в открытое море и, постреляв немного из пушек, идет на абордаж. А до этого, когда на небо выкатилась луна и можно было хоть что-нибудь рассмотреть, двое наших — превосходные пловцы, один из которых, водолаз Рамиро Фейхоо, прославился тем, что при осаде Ла-Маморы умудрился взорвать турецкую фелюгу, — так вот, говорю, двое наших на ялике произвели рекогносцировку большой бухты, где, собственно говоря, и располагается порт Лампедузы. Вернувшись, доложили: оба корабля — галеон и другой, поменьше, вроде тартаны или фелюги, — стоят там, где и ожидалось. Большой, по всему судя, в море выйти не может, потому что стоит с сильным креном — то ли поврежден, то ли чистит днище.

— Весла на воду! — приказал капитан Урдемалас, когда шлюпка и вельбот скрылись во тьме. — Боевая тревога! Только не шуметь и не орать... Орудия к бою!

Весла вновь пришли в движение, а покуда мы раскладывали вдоль обоих бортов тюфяки и длинные продолговатые щиты-*павезы*, наш главный артиллерист со своими помощниками выкатили на нос три пушки. Когда шлюпка с вельботом вернулись и двинулись за нами на буксире, капитан отдал новый приказ, рулевой переложил штурвал на полрумба вправо, и «Мулатка», словно бы крадучись, без свистков и выкриков затабанила левым бортом и развернулась. Сохраняя, елико возможно, тишину, стала так, что Полярная звезда оказалась за кормой, а нос смотрел на четко выделявшийся впереди не очень высокий скалистый выступ, и заскользила вдоль берега, причем штурман постоянно делал промеры, чтобы не наскочить на мель или подводный камень. Таким манером мы обогнули остров Лампедузу с юга.

Шагах в шести-семи появился кролик — высунул голову из норки, прижал уши, озираясь. Диего Алатристе разглядывал его в неверном свете зари, прижав к щеке приклад аркебузы — с уже подсыпанным порохом и с пулей в стволе. Оружие было влажным — как кусты, камни, земля, на которой он лежал уже больше часа, и одежда, вымокшая от последней ночной росы. Сухими оставались только прикрытые навощенной тряпочкой замок, спусковой крючок аркебузы да фитиль, свернутый мотком и спрятанный за пазуху. Алатристе чуть пошевелился, разминая затекшие ноги, и скривился от боли. Бедро, четыре года назад проколотое Гвальтерио Малатестой на мадридской Пласа-Майор, неизменно отзывалось на долгую неподвижность и сырость. Мгновение он развлекал себя мыслью о том, что ему уж не по годам стало сносить все эти влажные туманные испарения — не слишком ли много пришлось их на последние годы? Не довольно ли? «До чего ж гнусное ремесло», — хотел подумать он — и не подумал. Думать так можно, когда есть у тебя еще какое-нибудь. А нет, так и молчи.

Он оглядел товарищей, неподвижно и безмолвно, как и он сам, лежавших рядом: Себастьян Копонс заполз в кусты, так что на виду остались одни альпаргаты, и каменную башню маяка, четко выделявшуюся на сером небе с низкими тучами. После высадки они пришли сюда, прошагав со всеми предосторожностями целую милю — и, кажется, не напрасно береглись: их не обнаружили. На башне было двое часовых: один спал, другой дремал, но удостовериться, что это англичане, не удалось: Копонс и прапорщик Муэлас зарезали их в темноте молча и так стремительно, что оба не успели вымолвить хоть единого словечка ни по-английски и ни по-каковски. Вслед за тем, получив запрет говорить, шевелиться и загодя запаливать фитили — береговой ветер может донести до врага этот ни с чем не сравнимый запах, — двадцать человек залегли по периметру бухты, и сейчас, в рассветных сумерках уже можно было различить, что она вполне способна вместить восемь-десять кораблей, тянется почти на полмили и похожа на листок клевера с тремя лепестками. И это в том, что посередке, самом крупном, стоял наполовину вытащенный на берег, сильно накрененный набок галеон — длинный, с высоченной кормовой надстройкой, один из тех, что, без весел обходясь, ходят исключительно под парусами, а на освободившееся место по бортам взамен гребных скамей ставят пушки. Три мачты с низкими реями: на самой высокой — прямой парус, какие в ходу у турок, на двух других — косые, или латинские, паруса; на каждом борту — по четыре пушки, сейчас, впрочем, все они спущены вниз и закреплены на том борту, что оказался над самой землей. Понятное дело — либо пластырь заводят, либо чистят, конопатят и заново смолят днище, освободив его предварительно от ракушек и водорослей, что совершенно необходимо в корсарском деле, ибо от этого зависит, сколь стремительно сможешь ты догонять и удирать.

Трехмачтовик был здесь не один. Неподалеку, стоя на якоре, покачивалась под легким бризом, задувавшим со стороны суши, фелука. Она была поменьше галеона, с латинскими парусами и фок-мачтой, скошенной, как у всех судов этого класса, к носу. Посудина не походила на корсарский корабль, а по отсутствию артиллерии можно было заключить, что это — трофей. Палубы пусты, однако на берегу вокруг костра стоят и сидят люди. Какая беспечность, подумал Алатристе, дым и пламя видны в темноте. Очень похоже на высокомерных англичан, если, конечно, это и впрямь англичане. Они были так близко, что, если бы Алатристе лежал не с подветренной стороны, можно было бы и слова разобрать. Он хорошо различал их всех: и тех, кто сидел у костра, и еще четверых на берегу, на невысоком скалистом мысу, возле одной из пушек — отсюда было не разобрать, карронада это или кулеврина, — снятой с корабля, чтобы в случае чего дать отпор непрошеным гостям. Однако море до самого горизонта было пустынно, «Мулатка» же, где бы ни была она сейчас — а капитан надеялся, что где-нибудь неподалеку, иначе участь его и девятнадцати других испанцев будет незавидна, — признаков жизни пока не подавала.

...Кролик выбрался из норки, замер на миг при виде флегматично ползущей черепахи и одним прыжком скрылся в кустах. Алатристе сменил позу, потер ноющую ногу. «Жаль, — сказал себе капитан, — что кролик ускакал, а не томится на вертеле над огнем». Как холодно и как зверски жрать хочется, мрачно думал он, глядя на ужинающих в свое удовольствие корсаров. Покосившись направо, где за колодцем — единственным на острове — притаился прапорщик Муэлас, переглянулся с ним. Прапорщик пожал плечами, показал на пустынное море. На какой-то миг Алатристе подумал, что галера вообще не придет, бросит отряд на произвол судьбы. Что ж, такое уже бывало, и не раз — и от этой мысли сами собой встопорщились у него усы. Он пересчитал корсаров — пятнадцать душ, но ведь это — на виду, какие-то могли и не попасть в поле зрения... И еще четверо у пушки... И еще невесть сколько осталось на кораблях... Многовато, чтобы долго сдерживать их аркебузным огнем, тем паче что высадились они, испанцы то есть, имея по шести зарядов на брата — в обрез для атаки. Как изведут — разговаривать придется на шпагах. Так что хорошо бы капитану Урдемаласу подоспеть вовремя...

Алатристе с тревогой заметил, что двое отошли от костра и поднимаются по склону к маяку и колодцу. Дело дрянь, подумал он. Идут ли они сменять часовых, уже снятых с поста ножами Копонса и Муэласа, или отправились за водой — но направляются прямиком к нему. Дело осложняется, а вернее — ускоряется. А галеры как не было, так и нет. О черт! Он снова оглянулся на прапорщика, ожидая от него указаний. Тот тоже заметил корсаров и сделал следующее: кулаком одной руки провел по тыльной стороне ладони другой, а потом согнул указательный палец крючком. Это значило — поджигай фитиль. Алатристе достал кремень, огниво, высек огонь, запалил, раздул, убрав провощенную тряпицу, вставил конец затлевшего фитиля в замок ружья, убедился, что товарищи сделали то же самое, и береговой ветер понес едко пахнущие волоконца дыма прямо к тем двоим. Ладно, теперь уж все равно. Подсыпал пороху на полочку, навел аркебузу, положив ствол на ровный плоский камень, прицелился в створ между двумя фигурами. Краем глаза отметил, что прапорщик тоже изготовился к стрельбе — он здесь старший, ему и решать, с кем в паре открывать бал. Алатристе выжидал и пока не трогал спусковой крючок, дыша глубоко и размеренно, чтоб рука не дрогнула, и дождался наконец — те двое приблизились настолько, что можно было различить их лица. Один — долговолосый, со светло-русой бородкой, второй — коренастый, в стеганом кожаном шлеме на голове. По крайней мере, первый по виду смахивал на англичанина, да и штаны носил до щиколоток, как принято у этой нации. При нем был мушкет, у обоих — короткие кривые сабли, и шли они свободно, ничего не опасаясь. До слуха Алатристе долетели несколько слов на чужом языке, но в тот же миг разговор и оборвался: бородатый, остановившись шагов за пятнадцать, повел носом и с беспокойством стал озираться. Но тут пущенная Муэласом пуля снесла ему полчерепа, Алатристе же, когда дело разъяснилось, передвинул ствол аркебузы влево, взял на мушку здоровяка, уже кинувшегося назад, и свалил его первым же выстрелом.

Прочие восемнадцать испанцев, отобранных для высадки, тоже были все люди дошлые, дело свое знали туго. Потому и лежали здесь. Им не требовалось подавать ни команды, ни знаков: покуда прапорщик и Алатристе перезаряжали аркебузы — а времени это занимало столько, что можно было дважды прочесть «Отче наш» и «Аве-Марию», причем многие так и поступали, — Копонс и остальные обрушили на сидевших у костра, равно как и на тех, кто стоял у пушки, частый и меткий огонь: из четверых пушкарей трое свалились сразу, а четвертый бросился в воду. Что же касается корсаров у костра, находившихся чуть поодаль, то Алатристе видел, как упали двое, остальные же отбежали, залегли и открыли в ответ стрельбу из мушкетов и аркебуз. Им на выручку подоспели еще несколько человек, выскочивших на палубу галеона, но, по счастью, на такой дистанции их пули не достигали цели, орудия же были принайтовлены к борту и не могли вести огонь ни по морю, ни по суше. Алатристе, как и его товарищи, даром не тратившие зарядов, тоже распределил остававшиеся пять пуль с толком, меж тем как от галеона к берегу уже шел вельбот с подкреплением, а корсары без сомнения подсчитали, сколько человек напало на них, и, хоронясь за кусты и скалы, полезли вверх по склону — было их человек тридцать с лишним. Это не много, если галера придет вовремя, а вот если опоздает и за неимением зарядов надо будет отбиваться холодным оружием, — то гораздо больше, чем надо, чтобы принять героическую смерть. Поэтому капитан заряды берег как мог: сшиб еще одного, а потом, когда опустел последний «апостол», сбил корсара, подобравшегося шагов на восемь-десять — выстрел, вероятно, перешиб тому бедренную кость, потому что хрустнуло, все равно как сухая ветка под ногой, — опустил наземь ружье, вытащил шпагу и приготовился принять все, что ни пошлет судьба. Боковым зрением успел заметить, что прапорщик Муэлас уже валяется мертвым у закраины колодца. И не он один. Еще увидел, как кусты, где сидел Себастьян Копонс, ходят ходуном, как взлетает там и опускается приклад его аркебузы, и слышатся хряские удары, сдавленная бессвязная брань — арагонец, кляня, надо думать, тот день и час, когда решил покинуть Оран, продает свою шкуру подороже. «Да плевал я на эту сучью галеру», — произнес про себя Алатристе, поднимаясь во весь рост: в одной руке — шпага, в другой — *бискаец*. И в этот миг заметил, как с юга, бешеной греблей сгибая весла в дугу, влетает в бухту долгожданная «Мулатка».

Галера стремительно неслась по водной глади. Гребцы, то вставая, то рушась назад, качались на своих скамьях, выкладывались полностью, и равномерным свисткам, задававшим ритм их дружной и спорой работе, вторили металлический перезвон кандалов и щелканье бича, которым комит охаживал лоснящиеся от пота голые спины, не разбирая, чьи они — мавров, турок, еретиков или христиан. Из всех глоток рвался с натугой и надсадой единый... даже не знаю, как назвать — не то стон, не то хрип, какой бывает, когда человек при последнем издыхании. Меж тем шестьдесят солдат и полсотни матросов, вооруженные до зубов, готовые к бою, выстроились повзводно на шканцах и куршее. И хоть всякому понятно было, что сегодняшнее дело сулит больше чести, чем добычи, даже самый алчный сквалыга не захотел оставаться в стороне. Да что там сквалыга! — и те четверо рыцарей-иоаннитов, что плыли с нами пассажирами: француз, итальянец и двое соотечественников из Кастилии, — попросились у капитана Урдемаласа принять участие в бою и сейчас тоже стояли вместе со всеми в полном вооружении, облачась по такому случаю в изящные полукафтанья*-супервест* ы из красной тафты с нашитыми на них восьмиконечными мальтийскими крестами — ну просто загляденье: свет еще не видывал таких грозных вояк.

— Нава-лись! Нава-лись! — орали мы все единой глоткой в такт свисткам и щелканью бича. — Два-а-раз! Два-а-раз!

Рвались мы в бой по веским резонам, и не в последнюю очередь — оттого, что пираты, скорее всего, были англичанами: эта жестокая и наглая нация, не довольствуясь своими бесчинствами в Индиях, вздумала теперь нахально гадить, можно сказать, прямо у нас на заднем дворе. Кроме этих высоких соображений, не давала покоя и доносившаяся с берега перестрелка: понятно было, что каждый выстрел обрывает, может статься, жизнь кого-нибудь из наших. Именно поэтому мы и орали, воодушевляя каторжан на новые свершения, а я — да простит меня Господь, если, конечно, есть Ему дело до подобных дел — даже схватил линек, чтобы в прямом смысле подхлестнуть галерников и придать им еще больше усердия и жара.

— К берегу! К берегу!

И, обогнув мыс по воле рулевого, который повиновался командам и ругательствам капитана Урдемаласа, помчались мы напрямик, целя в борт турецкому кораблю. Когда же влетели в бухту, увидали у него за кормой, чуть левее и дальше фелюку, под прямым углом к нему стоявшую на якоре носом к берегу. Мы представляли собою весьма удобную мишень, и турок мог бы при других обстоятельствах ударить по нам из пушек тем бортом, что обращен был к морю, однако, на наше счастье, он не мог применить артиллерию, ибо стоял с сильнейшим креном, обнажавшим подводную его часть, да притом якорные канаты и швартовы удерживали его в этом положении. И вот, обезоруженный и лишенный хода, стал он вырастать перед носом «Мулатки», возникать сквозь дым запальников в руках у нашего артиллериста и его помощников, готовых открыть огонь, за головами моряков, заряжавших камнеметы на шканцах и по бортам. Едва ли не все аркебузы были переданы десантной команде — у нас оставалось всего несколько штук, но зато мы ощетинились короткими абордажными копьями, пистолетами, саблями. И, как уж было сказано, нам не терпелось применить их к делу. Я, по обыкновению многих своих сотоварищей нахлобучив шлем поверх платка, которым туго обвязал голову, чтоб волосы в бою не мешали, грудь прикрыл легкой кирасой с ремешками по бокам, позволявшими быстро сбросить ее, если окажусь в воде, взял круглый деревянный щит, обтянутый кожей, заткнул сзади за пояс кинжал, а сбоку подвесил свою короткую широкую саблю со сдвижными зубцами на лезвии — незаменимая вещь для ломания вражеского клинка — и теперь чувствовал себя во всеоружии. И, теснясь вместе с остальными в галерейке по правому борту поближе к носу — пока не выстрелит пушка, не сметь, было сказано, влезать на таран, — я думал об Анхелике де Алькесар, как всегда перед началом подобных танцев, а потом — опять же как почти все, кто стоял рядом, — осенил себя крестным знамением.

— Вон они, собаки!

И вправду. Над бортом галеона появилось с десяток англичан, которые без околичностей приветствовали нас дружным залпом из мушкетов. Но, видно, не дали себе труда толком прицелиться — пули, пущенные наспех, прожужжали у нас над головами, чмокнули о палубный настил или, не долетев, упали в море. Прежде чем противник успел перезарядить оружие, наш артиллерист выстрелил по ним из орудия на куршее, заряженного подобием картечи — сложенными в узкий длинный мешок гвоздями, звеньями расклепанных цепей и пригоршней пуль — отчего в ужасающем треске раскрошенного дерева и в щепки разнесенного бакштага мушкетеры принуждены были скрыться, причем понесли, по всему судя, немалый урон. И еще не успели прийти в себя, как пошла потеха: с обычной своей свирепой неустрашимостью дерясь на море, как на суше, пошла на абордаж испанская пехота, которую англичане, которые славились как превосходные мореходы, а уж как пушкари и вовсе равных себе не знавшие, боялись пуще огня. Два корабля склещились намертво, и едва лишь наш комит и наш рулевой, на диво согласовав маневр с усилиями гребцов, уперлись тараном в корпус галеона — причем так нежно, что размолотили лишь два листа обшивки — полсотни солдат, то есть половина наших, кинулись по двум узким лапам в основании тарана вверх по нему, а с него — на вражью палубу, торопясь успеть, пока «Мулатка», выполняя новый искусный маневр, не сдаст слегка назад и, обогнув корму галеона, не станет между ним и фелюгой, палубу которой после двух выстрелов из камнеметов левого борта уже как вымело, после чего затабанит, развернется и даст залп из камнеметов правого, меж тем как другая половина по пояс в воде выбиралась на берег с криками «Сантьяго! Испания!».

Что там с ними было и как прошла высадка, я знать не мог по известной причине: как раз в это мгновение соскочил с тарана на покореженный борт галеона, поскользнулся, выпачкался в сале и смоле, но на ногах устоял и все же спрыгнул на палубу. Там обнажил саблю и плечом к плечу с товарищами взялся за дело, тщась выполнить его как нельзя лучше. Эти люди были или, по крайней мере, казались англичанами. Трое или четверо белобрысых уже стали, благодаря нашей картечи, холодными блюдами; один, раненный, истекал кровью, и та из-за крена судна ручьем текла к противоположному борту. Сколько-то человек пытались защищаться, укрывшись за брюканцом мачты, за парусами и бухтами канатов и открыв по нам стрельбу из пистолетов, причем даже ранили одного из наших, но мы, не обращая внимания ни на пальбу, ни на громкие воинственные клики — англичане, размахивая оружием, подстрекали нас сунуться и подойти поближе, — в самом деле и в мгновение ока сунулись. Ибо просто обезумели от ярости при виде такого бесстыдства и, оттеснив их от мачты, резали без пощады на корме, куда кто-то из них успел отступить. Мы так жаждали крови, что, как говорится, мало было мяса для стольких зубов — на всех не хватало противников и мне не с кем было схватиться, пока не подвернулся голубоглазый парень в густых и длинных бакенбардах, который первым ударом плотницкого топора располовинил мой круглый щит, словно тот был из воска слеплен, вторым — оставил здоровую вмятину на моей кирасе, едва не переломав мне ребра. Я отбросил щит и попятился, чтобы улучить удобный момент да сойтись с ним вплотную — драться на довольно крутом откосе палубы было до крайности неудобно, — но один иоаннит, оказавшийся рядом, раскроил ему голову от макушки до бровей, распределив, чему куда: мозгам — на палубу, душе — в преисподнюю, а телу — за борт. Меня, следственно, оставив без противника. Я огляделся, ища, на кого бы направить острие кинжала, но схватка уже была кончена, и пришлось с другими вместе спуститься в трюм — посмотреть, не притаился ли кто там. И вот — испытал самое черное злорадство, когда за бочонками с питьевой водой обнаружил и выволок наружу здоровенного орясину-британца, веснушчатого и длинноносого, и тот, побелев лицом и в нем же изменившись, осел наземь, как словно бы ноги его не держали, и забормотал по-своему:

— *Ноу, ноу, посчадит* ... — ибо весьма многие из этих морских волков, лишившись силы, которую извлекают из своего численного превосходства, и пав духом, не укрепленным вином или пивом, засовывают себе обычное свое спесивое высокомерие не скажу куда, делаются, смирясь и не ярясь, кротче ярочки, меж тем как наш брат-испанец всего и опаснее, когда один и в угол загнан: тут-то, яростью обуянный, он ничего не видит и не разумеет, доводов рассудка не признает, ни на что уже не уповает, и кто перед ним — Марикита-телятница или святая Параскева Пятница — не разбирает. ...Возвращаясь к бритту, скажу, что, как вы сами уж, верно, догадались, если я и расположен был в тот миг миндальничать, то исключительно в том смысле, чтоб верзиле досталось на орехи, а потому, занеся над ним саблю, совсем уж собрался прочесть ему отходную. До моего «аминь» оставалось всего ничего, как вдруг я, твердо вознамерившийся отправить его на тот свет и к той англосаксонской потаскухе, что произвела его на этот, вспомнил слова, сказанные мне однажды капитаном Алатристе: у победителя никогда пощады не проси, а побежденному никогда в ней не отказывай. Ладно. Так, значит, тому и быть. И вот, поддавшись порыву христианского милосердия, я сдержал размах руки и ограничился тем лишь, что врезал ему по морде, сломав, по всей видимости, нос, ибо раздался хруст. Потом вытащил британца по трапу наверх, на палубу.

Капитана Алатристе я нашел на берегу вместе с теми, кто уцелел — Копонсом в том числе, — измученными, измотанными, оборванными, однако живыми. О том, что десант был отнюдь не веточка укропа или, как говорят в иных краях, даже и не фунт изюма, свидетельствовали потери: четверо убитых — среди них прапорщик Муэлас — и семеро раненных, из коих двое скончались впоследствии на галере. К ним следовало прибавить еще троих убитых и пятерых раненых при абордаже — в числе последних был наш артиллерист, которому пуля снесла полчелюсти, и сержант Альбадалехо — ему выжгло глаза мушкетным выстрелом в упор. Недешево обошелся нам галеон — а он и новый-то стоил не дороже трех тысяч эскудо, — ради которого двадцать восемь пиратов — почти все англичане да еще несколько турок и мавров из Туниса — пришлось перебить и еще девятнадцать взять в плен. Досталась нам в качестве приза и фелюга — треть стоимости ее самой и того, что везла она в трюме, по закону причиталось нам, морякам и пехоте. Это сицилийское судно англичане захватили четыре дня назад, а извлеченные из трюма восемь членов команды поведали нам, как было дело. Капитан галеона, некий Роберт Скрутон, родом, как и весь его экипаж, англичанин, прошел Гибралтарским проливом с намерением заняться корсарством и контрабандой невдалеке от портов Сале, Тунис и Алжир. Корабль его был чересчур тяжеловесен и тихоходен для средиземноморских переменных бризов, а потому, где-то пересев на этот вот галеон, несравненно более легкий и лучше годившийся для исполнения их намерения, они восемь недель кряду вспенивали на нем морской простор, однако ничего из того, на что зарились, не раздобыли, пока не повстречали фелюгу, с грузом зерна шедшую из Марсалы на Мальту: по маневрам и лавированию сицилийцы быстро поняли, что имеют дело с пиратом, но оторваться не смогли и принуждены были лечь в дрейф. На беду разбойников, сильнейшая качка и ошибка рулевого привели к столкновению, причем галеон, хоть и был крупнее, пострадал больше — в правом борту образовалась пробоина, а значит, и течь. Поскольку до острова Лампедуза было совсем близко, англичане решили там стать на малый ремонт, завершили его как раз ко времени нашей атаки и намеревались в тот же день снова выйти в море, чтобы восьмерых сицилийцев и их фелюгу с грузом в Тунис доставить и на продажу выставить.

Когда были заслушаны показания свидетелей, проверены сведения, как-то сам собой, без прения сторон, обрисовался и приговор. Здесь не было корсарского патента, как и ничего другого, что призваны соблюдать уважающие себя нации. Взять, к примеру, голландцев — в плен, я имею в виду взять: хоть они и считались из-за войны во Фландрии врагами испанской короны, однако же когда в Индиях ли, здесь ли, в Средиземном море, попадали в плен, с ними и обращались как с военнопленными: бросивших оружие отпускали на родину, продолжавших сопротивляться и после того, как спущен флаг, сажали на весла, ну а вешать тоже, конечно, вешали, уж не без того, но исключительно — капитанов, пытавшихся взорвать или затопить свое судно, чтоб никому не доставалось. Вот, как водится, и ведется в странах, считающих себя цивилизованными. Однако в те дни, о которых я веду рассказ, Испания не находилась с Англией в состоянии войны, портом же приписки злосчастной фелюги была Сарагоса — не наша, а та, что на Сицилии, которая, впрочем, в ту пору тоже была наша, как и Неаполь, скажем, или Милан, — и потому британцы, не имевшие ни малейших оснований и прав объявлять себя корсарами и грабить корабли подданных нашего католического величества, признаны были обыкновенными пиратами. И как ни доказывал капитан Скрутон, что получил от алжирских властей и патент, и разрешение плавать в здешних водах, доводы его не возымели действия на суд, столь же высокий, сколь и скорый, который слушал его мрачно, а смотрел хмуро и так, словно снимал ему мерку с шеи, покуда комит старался сам не подкачать, англичанина же — покачать в лучшей из своих петель, которую, приняв во внимание, что тот родом не откуда-нибудь, а из самого Плимута, вывязывал с особым тщанием. И когда наутро при попутном ветре, сулившем дождь, вышли из бухты фелюга и галеон, куда пересадили — с парусами управляться — часть экипажа «Мулатки», подданный его британского величества Роберт Скрутон уже висел на башне, имея в ногах табличку с надписью по-испански и по-турецки: «Англичанин, разбойник и пират».

Восемнадцати остальным — одиннадцати британцам, пятерым маврам и двоим туркам — предстояло ворочать веслами во славу короля Испании, а уж сколько это продлится, зависит от превратностей войны и морской стихии. Насколько я знаю, кое-кто из них еще был жив одиннадцать лет спустя, когда «Мулатка», дравшаяся с французами в сражении при Генуе, пошла на дно вместе со всеми своими прикованными к банкам гребцами, ибо цепи с них снять никто не озаботился или не успел. Но к этому времени уже не было у нее на борту ни вашего покорного слуги, ни Алатристе, ни Копонса, ни Гурриато, который, кстати, обретя в нынешнем плавании нежданный досуг, благо на гребной палубе появились новые руки, вел со мной небезынтересные беседы: о них я расскажу в следующей главе.

## VI. Остров рыцарей

Мальта, принадлежавшая рыцарскому ордену Святого Иоанна Иерусалимского, произвела на меня немалое впечатление и видом своим, и славной историей, мне к тому времени уже ведомой. Галеры братьев-иоаннитов рыскали по морю, наводя ужас на весь Левант, перехватывая турецкие корабли и возвращаясь с богатейшей добычей и многочисленными невольниками. Дружно и люто ненавидимый всеми поклонниками пророка орден мальтийских рыцарей, последний из крупных военных орденов оставшийся от эпохи крестовых походов, признавал над собой власть одного лишь папы. Лишившись своих владений в Святой земле, иоанниты обосновались сперва на острове Родос, а когда турки и оттуда выгнали, наш император Карл Пятый приютил их на Мальте за символическую плату — одного ловчего сокола в год. Сия великодушная сделка, равно как и то обстоятельство, что сделались мы самой могущественной в мире католической державой, и удобнейшее географическое положение — совсем рядом находилось наше вице-королевство Неаполя и Сицилий, откуда, например, в 1565 году перебросили войска в помощь осажденной Мальте, — столь укрепили узы дружбы меж орденом и Испанией, что наши галеры зачастую плавали вместе. Тем более что среди рыцарей много было испанцев. Все иоанниты приносили обет бить мусульман, где ни встретят; все были закалены боями, по-спартански неприхотливы, все знали наверное, что на пощаду им в случае чего рассчитывать не следует; все презирали врага до такой степени, что каждая мальтийская галера обязана была атаковать неприятельские корабли даже при четырехкратном перевесе с их стороны. Нетрудно понять, почему Мальтийский орден видел в Испании главную свою заступницу и покровительницу, если вспомнить, что мы — единственные в Европе — не шли на соглашения с турками и берберами, тогда как прочие страны, именующие себя католическими, и договоры с ними подписывали, и даже с поистине вопиющим бесстыдством искали с ними союза. Особым двуличием и коварством отличались Венеция и — ну уж разу-меется! — Франция, в стремлении напакостить нам заходившая так далеко, что отправляла свои галеры плавать под конвоем взаимной защиты с турецкими и — к ужасу всей просвещенной Европы — пускала зимовать в свои порты корсарский флот вышепомянутого Барбароссы, даром что сей разбойник разорял прибрежные города Испании и Италии и тысячами захватывал в плен христиан.

По всему по этому вам, господа, легко вообразить себе, сколь сильно было мое душевное волнение, когда «Мулатка», пройдя мыс Драгут и мощные форты Сант-Эльмо, бросила якорь на рейде между укреплениями Сант-Анжело и полуостровом Санглеа. Именно здесь шестьдесят два года назад происходила страшная битва, обессмертившая имена и самой Мальты, и тех шестисот рыцарей разных наций, девяти тысяч испанских и итальянских солдат и горожан-ополченцев, что четыре месяца кряду, отстаивая каждую пядь земли, сдерживали натиск сорока тысяч турок, из которых тридцать они убили, но все же принуждены были сдавать после кровопролитных боев один форт за другим, покуда не остались только редуты Биргу и Санглеи, где сопротивлялись последние из выживших.

Капитан Алатристе и Себастьян Копонс уважительно, как подобает старым солдатам, уже в силу своего ремесла понимающим, почем фунт лиха, разглядывали места, где разыгрывалась некогда эта трагедия. Может быть, потому они и хранили молчание во все время, что катер мчал нас через гавань к пирсу, и потом, когда через ворота Монте под сенью крепостных башен мы вошли в новый город Ла-Валетта, построенный великим магистром ордена вскоре после завершения осады и названный его именем. Доселе помню, как лодочник за медную монету провел нас по прямым и четко прочерченным, хоть и пыльным улицам, мимо домов с плоскими кровлями, с зарешеченными террасами. Взирая на все это едва ли не в священном трепете, мы проследовали до кафедрального собора и, свернув направо, вышли к величественному дворцу магистра, стоявшему на прелестной площади с фонтаном посередине. Здесь-то, на подъемном мосту, осененном красным флагом с восьмиконечным орденским крестом, лодочник, отец которого оборонял когда-то Мальту, и рассказал нам на смеси итальянского, испанского и лингва-франка, как тот вместе с другими моряками переправлял рыцарей-добровольцев разных стран из Сант-Анжело к осажденному Сант-Эльмо, как каждую ночь на лодках или вплавь прорывались сквозь турецкие кордоны, чтобы возместить ужасающие потери прошедшего дня, и знали при этом, что дорога у них — в один конец и отправляются они на верную смерть. Еще рассказал, что в последнюю ночь пройти через турецкие позиции не удалось, и добровольцы принуждены были вернуться, и как на рассвете осажденные во главе с великим магистром с башен Санглеи и Сан-Микаэля увидели: Сант-Эльмо захлестнула океанская волна турок — пять тысяч их ринулись на последний штурм форта, обороняемый двумя сотнями израненных, обожженных, измученных беспрерывными пятинедельными боями рыцарей и солдат, почти поголовно испанцев и итальянцев, еще сопротивлявшихся на развалинах форта, по которому османы выпустили 18 тысяч ядер. Лодочник продолжил свой рассказ о том, как эти последние рыцари, сплошь израненные и истомленные боем, не в силах больше держаться, отступили, не показав спины, к церкви, ставшей их последней твердыней, и там с поистине львиной отвагой продолжали убивать и умирать, а потом, увидев, что турки, взъярясь от той непомерной цены, в которую обходится им победа, не щадят никого, снова бросились на площадь, чтобы умереть достойно самих себя, и так вот шестеро из них — арагонец, каталонец, кастилец и трое итальянцев — клинками расчистили себе путь сквозь скопище врагов и сумели броситься в море, надеясь вплавь достичь Биргу, но были схвачены в воде. И столь лютая злоба обуяла Мустафу-пашу, в одном только Сент-Эльмо потерявшего шесть тысяч человек и среди них — знаменитого корсара Драгута, — что он приказал ятаганами начертать знаки креста на груди у рыцарей, а трупы их — распять на деревянных брусьях и пустить по воле волн, которые должны были вынести их к другому концу гавани, где все еще продолжали сопротивляться форты Санглея и Сан-Микаэль. Пленных же немедленно оскопил, а затем и обезглавил на стенах. На это иродово деяние великий магистр ответил тем, что, казнив всех турок, взятых в плен, зарядил их головами пушки и выстрелил в сторону неприятельских позиций.

Такова была история, которую поведал нам лодочник. И мы, выслушав ее, надолго замолчали, осмысляя услышанное. Но вот Себастьян Копонс, опершись о парапет из песчаника и хмуро оглядывая ров, окружавший крепость, повернул голову к капитану Алатристе:

— Вот и мы с тобой, Диего, кончим так же... На кресте.

— Может статься. Но живыми не дадимся.

— Да уж, конечно.

Эти слова еще сильнее смутили мою душу — и не потому, что напугали, хоть и было чего пугаться. Нет — я превосходно понимал, о чем толкуют капитан и Копонс, и был уже достаточно умудрен и сознавал: на какое только высокое благородство и гнусную низость не способны мы, люди. Дело было еще и в том, что здесь, на зыбкой границе сих левантийских вод, жестокость человеческая — а есть ли, спрошу, свойство, более присущее человеку, нежели жестокость? — распространяется до пределов немыслимых и пугающих. И не у одних лишь турок. Существовали труднообъяснимые, давние, засевшие в глубинах общей нашей памяти обида, злоба, ненависть — некие семейные счеты, которым здешнего солнца блеск, здешних зеленых вод плеск не давали остыть. Для нас, потомков древних племен, для испанцев, столько веков кряду убивавших мавров и друг друга и совсем недавно оставивших сие занятие, чужаки-англичане и турки вкупе с берберами и прочими, расселившимися некогда по берегам этого моря, были не одним миром мазаны. Капитана Роберта Скрутона и его пиратов никто сюда не звал или, как у нас говорят, свечку на нашей панихиде держать не давал, а потому истребить пришлых наглецов, нагрянувших на Лампедузу, было совершенно в порядке вещей — ну вроде как уборку в общем нашем доме провести, клопов вывести, тараканов потравить, а уж потом вернуться к сведению настоящих семейных счетов с турками, испанцами, берберами, французами, морисками, евреями, маврами, венецианцами, генуэзцами, флорентинцами, греками, далматинцами, албанцами, с вероотступниками и корсарами. С соседями по двору. С существами, сколь ни разнообразно пестрыми, но — нашей породы. С которыми не зазорно хлопнуть по стакану вина, похохотать, пригнуть замысловатую и полнозвучную забранку, отпустить гробовую шутку — а уж потом хоть на кресте распинай, хоть пали друг в друга из пушек отрубленными головами, проявляя и выдумку, и лютую свирепость. И старую, добрую, выдержанную и настоявшуюся средиземноморскую ненависть. Ибо лучше и тщательнее, чем давний твой знакомец, никто тебя не зарежет.

Мы возвращались в Биргу уже на склоне дня, когда последние лучи солнца, пронизывая висящую в воздухе пылевую взвесь, окрашивали стены форта Сант-Анжело красным, будто те сложены были из раскаленного железа. Прежде чем взойти на борт, еще погуляли довольно долго по прямым, как по линейке вычерченным улицам нового города, посетили порт Марсамусетто, расположенный на самом западе острова, и знаменитые *обержи,* или казармы, рыцарей Арагона и Кастилии, полюбовавшись в последнем случае парадной лестницей. Дело в том, что каждая из семи наций, к которым относились члены ордена иоаннитов, располагалась в своем доме: помимо уже названных мною Арагона и Кастилии, представлявших Испанию, имелись также *обержи* Оверни, Прованса, Франции, Италии и Германии. И перед возвращением на «Мулатку» мы заметили неподалеку от рва, опоясывавшего форт, целую россыпь таверн и харчевен, а поскольку до подачи сигнала «Все на борт!» оставалось еще больше получаса, решили разбавить скудное однообразие корабельной кормежки и за свой счет отведать чего-либо более христианского в одном из этих заведений. И вот, расположившись вокруг бочки, служившей столом, отдали должное бараньей ноге в уксусе, свиным отбивным, ковриге свежевыпеченного хлеба, доброму жбану красного метелинского, валившего с ног не хуже доблестного рыцаря Роланда и напомнившего нам вино, которое производят в Торо. Утоляя голод и жажду, мы разглядывали проходивших мимо людей: смуглые мужчины повадками и наружностью смахивали на сицилийцев, говорили на какой-то смеси языков с вкраплением слов, доставшихся еще от карфагенян, а здешние женщины были хороши собой, но, как нам показалось, по избытку скромности бегут мужского общества и выходят из дому, закутанные в глухие черные покрывала: все дело тут, наверно, в их мужьях и отцах, ревнивых пуще испанцев — душевное это свойство унаследовано и теми и другими от мавров и сарацин. И так вот сидели мы втроем, рассупонясь и рассолодев, а пившие по соседству солдаты и моряки с венецианского корабля меж тем купили у проходившего мимо торговца с ящиком всяких ладанок и реликвий несколько «камней святого Павла», то бишь акульих зубов — на Мальте глубоко чтут апостола, по преданию, некогда потерпевшего здесь кораблекрушение[[17]](#footnote-17). Есть поверье, что камни эти исцеляют от укусов змей и скорпионов.

И вот тут я поступил опрометчиво. Капитан Алатристе воспитал меня не то чтобы неверующим, но — в здравом и трезвом отношении к религии. И вот при виде того, как один венецианец, очень довольный, показывает товарищам амулет на шнурке, я в щенячьей своей дерзости не сумел скрыть насмешливую улыбку, а моряк, на беду, заметил ее и сильно обиделся. Судя по тому, с каким перекривленным от сильнейшей злобы лицом венецианец стал приближаться ко мне, имея руку на эфесе шпаги, а товарищей — за спиной, завет прощать обиды им воспринят не был.

— Извинись, — сквозь зубы процедил мне капитан Алатристе.

Я покосился на него, удивленный и его неприязненным тоном, и советом кончить дело миром, но, минутку поразмыслив, признал его правоту. Не потому, что испугался неприятностей — хотя венецианцев было шестеро, а нас трое, — нет, дело было, во-первых, в том, что, судя по перезвону курантов, времени затевать ссору почти уже не оставалось, а во-вторых, стычка с венецианцами, да еще на Мальте, могла иметь последствия непредсказуемые. Отношения наши с подданными Республики Святого Марка были нехороши: в Адриатике мы с ними оспаривали, так сказать, первородство и превосходство заодно с главенством, глухая рознь тлела постоянно, и малой искры довольно было для взрыва. Короче говоря, я унял гордыню, натянуто улыбнулся и на лингва-франка, которым мы, испанцы, объясняемся в здешних водах и землях, произнес нечто вроде того, что *скузи*, мол, *синьоре*, не принимайте на свой счет. Венецианец, однако, не унялся, а совсем даже напротив. Ободренный и численным превосходством, и тем, что совершенно напрасно счел уступчивостью, он откинул назад свои длинные — то-то, наверно, там вошкам раздолье — волосы, коими итальянцы отличались от нас, со времен императора Карла стригшихся коротко, — и обозвал меня поносными словами, аттестовав как молокососа и проходимца и высказав даже сомнения в чистоте христианской моей крови, что обидно, согласитесь, всякому, а уж уроженцу Гипускоа — особенно. И утратив оттого всякую осмотрительность, я уже начал подниматься со стула, берясь одновременно за саблю, но капитан придержал меня за руку.

— Наш спутник еще очень молод и не знает здешних обычаев, — по-испански, очень спокойно и глядя венецианцу прямо в глаза, сказал он. — Но с большим удовольствием поставит угощение вам и вашим друзьям.

Но тот во второй раз все понял превратно. Ибо решил теперь, что и оба мои спутника тоже сробели, а потому, чувствуя за спиной присутствие пятерых товарищей, пропустил мимо ушей предложение капитана и, фигурально выражаясь, закусил удила:

— Ну-ка, поди сюда, сосунок куастильский, я тебе накуостильяю!

После этих слов капитан Алатристе, не изменившись в лице, выпустил мою руку. Потом, проведя двумя пальцами по усам, взглянул на Копонса, который все это время, храня по своему обыкновению молчание, держал в поле зрения пятерых венецианцев. Теперь он медленно поднялся и пробурчал, не слишком, впрочем, внятно:

— Итальянец — на-жопе-глянец.

— Что? Что ты сказал? — взвился тот.

— Он сказал, — ответил вместо него капитан, в свой черед вставая, — что костылять будешь той шлюхе, что тебя родила.

И вот вам, господа, мое честное слово — именно так началось это происшествие с участием испанцев и венецианцев, вошедшее в мальтийские анналы и во все реляции-донесения под названием «беспорядки в Биргу»; впрочем, если обо всем писать так подробно, как оно того заслуживает, в Женеве бумаги не хватит. Ибо капитан, едва лишь успев произнести то, что произнес, перешел от слов к делу, а за ним и мы с Себастьяном, причем так рьяно и напористо, что венецианец, хоть и держался за рукоять, да и товарищи его были настороже, шарахнулся назад, прижав обе руки к тому месту, где мгновение назад помещалось у него ухо, ныне отсеченное кинжалом, молниеносно выхваченным Алатристе из ножен. Копонс, действуя столь же стремительно, в тот же миг пронзил шпагой стоявшего к нему ближе других, причем времени это у него заняло меньше, чем у меня — рассказать об этом. Ну а сам я с похвальным проворством сделал выпад в сторону третьего, и хотя он успел отпрянуть в сторону, так что острие моего клинка лишь рассекло ему колет, не задев тела, этого хватило, чтобы отогнать моего противника на почтительное расстояние.

Ну вот с этой минуты события стали нарастать, как лавина. Ибо, откуда ни возьмись, вынырнул Гурриато — только потом выяснилось, что с той минуты, как мы сели в лодку, направляясь осматривать новый город, мавр целый день ждал нас, сидя в тени, — кинулся на ближайшего к нему венецианца и, не дав ему даже вскрикнуть, полоснул его ятаганом. Поскольку место было людное — таверна стояла в начале улицы, тянувшейся от набережной до самой церкви рядом со рвом, который окружал форт Сант-Анжело, да и время было такое, что команды возвращались на свои корабли, пришвартованные у пирса или стоявшие на якоре неподалеку, — вокруг толклось и роилось до чертовой матери моряков и солдат. На крики раненых и их спутников, которые, хоть и обнажили шпаги, приближаться к нам не осмеливались, прибежали еще несколько венецианцев и взяли нас в кольцо, отчего опасность возникла немалая. И, несмотря на то что мы, став спиной к спине, то есть скудными своими силами повторяя боевой порядок пехотного полка в обороне и прикрываясь на манер щитов табуретами и крышками от глиняных кувшинов, отбивались отчаянно, кололи и рубили, нам бы очень крепко не поздоровилось, если бы не наши товарищи с «Мулатки», которые тоже поджидали катер на пристани, но, увидев такое дело, обнажили что у кого при себе было и бросились на выручку, не спрашивая, в чем причины свалки. Люди с галер законопослушанием не отличались, но делом чести почитали откликаться на призыв «наших бьют!», памятуя, что сегодня ты, а завтра я, и свято блюли обычай помогать своим, будь то моряк, солдат или вольнонаемный гребец, не докапываясь до подоплеки и дружно выступали и против альгвазилов со стражниками, и против местных, равно как и пришлых. А вернувшись в случае благоприятного исхода на свою галеру, они, каких бы дел ни натворили, могли чувствовать себя в безопасности, словно и она, подобно Божьему храму, обладала старинным правом убежища, и не обязаны были отчитываться ни перед кем, кроме своего капитана.

Ну и пошло. Если вспомнить, какого сорта люди служили на галерном флоте, неудивительно, что в одно мгновение Биргу уподобился древней Трое. Под истошные крики кабатчиков и торговцев, оплакивающих разгром своих заведений и лотков, в кольце вмиг набежавших зевак и мельтешении вездесущих уличных мальчишек сцепилось никак не менее полусотни венецианцев и примерно столько же испанцев. С обеих сторон прибывали подкрепления, причем многие моряки сбегали по сходням уже со шпагами в руках, а с ближайшей галеры грянуло даже и несколько мушкетных выстрелов. Однако поскольку нас, испанцев, на Мальте любили, а венецианцев за их плутовство, алчность и высокомерие — не говоря уж про шашни с турками — терпеть не могли не то что местные, но даже сами итальянцы, то много народу с палками и камнями вступились за нас, приняв участие в побоище, так что одних венецианцев покидали в воду, а другие, ища спасения, кинулись туда сами. Уже позабылось, по какой причине началась свалка, но по всему Старому городу пошла форменная охота на все, что хоть немного попахивало Венецией, ибо пронесся слух, действующий в подобных случаях безотказно, будто сыны ее обесчестили неких женщин. Перебили немало народу, разграбили лавки, принадлежавшие венецианцам, и сведены были старые счеты в тот день, итоги которого их соотечественник хронист Джулио Брагадино подвел семнадцать лет спустя:

*На протяжении всей ночи подданные светлейшего дожа подвергались избиениям, а имущество их — разграблению. ...Потребовалось вмешательство великого магистра и капитанов галер и прочих судов, стоявших в гавани, чтобы внести некоторое умиротворение в умы и утишить страсти, для чего морякам и солдатам с обеих противоборствующих сторон приказано было во избежание бо́льших несчастий вернуться на свои корабли и под страхом смерти не сходить на берег. ...Попытки выявить зачинщиков беспорядков успехом не увенчались, ибо испанцы, с полным на то основанием могущие подозреваться в подстрекательстве, оказались вне досягаемости властей...*

Тем не менее, когда на следующее утро мы выстроились на палубе «Мулатки», никто не избавил нас от страшнейшей выволочки, произведенной над нами капитаном Урдемаласом — пусть иные и уверяли, что это было не всерьез и сам он внутренне хохотал, просто виду не подавал, расхаживая большими шагами от носа к корме и обратно, но нам-то было приказано облачиться в кирасы по тридцать фунтов весом да надеть шлемы — клади еще тридцать: да не куда-нибудь клади, а на голову — с явной целью изжарить нас заживо, благо парусиновый тент, натягиваемый над палубой, был заблаговременно убран, и потому все это железо быстро раскалилось на адском солнцепеке, так что казалось, будто на нас течет расплавленный свинец, и ни единого свежего дуновения наших страданий не облегчало. Ах, зачем я не владею кистью! Как просилось все это на полотно! Что за дивное зрелище являли собой эти страдальчески искаженные разбойничьи рожи в поту, струившемся ручьями, и потупленные взоры — не по застенчивости, но исключительно благоразумия ради, — покуда Урдемалас, прогуливаясь по шканцам взад-вперед, метал громы и молнии, пушил и распекал всех вместе и каждого по отдельности.

— Господа, вы звери! — гремел он с таким расчетом, чтобы эти раскаты слышны были и на берегу. — Вы преступный хвастливый сброд, задавшийся, как видно, целью свести своего капитана в могилу! Только клянусь вам всем святым и прахом прадедов, что прежде, чем это произойдет, смоляной шкерт мне куда не надо, я дознаюсь, кто начал побоище, пусть даже придется вас всех до единого развесить по реям! — Все это, как я говорил, произносилось чрезвычайно звучным и громким голосом — так что диатриба разносилась над всем портом, докатываясь до самых крепостных стен. Мы, однако, вели себя именно так, как полагалось и как ждал от нас Урдемалас: молчали, будто язык проглотили, лишь изредка и исподтишка переглядывались и стояли бодро, не ежась под градом брани. Ибо знали — рано или поздно развиднеется. Редкостное, говорю, было зрелище, упоительная картина — у одного здоровеннейший фонарь под глазом, у другого губы в лепешку, у третьего нос сворочен на сторону, этот заклеен, тот перевязан, а тот вообще подвесил руку на косынку. Впечатление складывалось такое, будто не в увольнение экипаж ходил, ноги на Мальте размять, а турецкую галеру на абордаж брал.

Спустя сутки, в продолжение коих все были оставлены «без берега», мы выбрали якорь и, огибая Сицилию, пошли курсом на Мессину. Половину пути погода была превосходная, ветер благоприятный, и гребцы предавались праздности. Но в ту же самую ночь, когда вдалеке слева по борту заметили огонь маяка, который с одинаковым успехом мог оказаться как на мысе Пахаро, так и на Сарагосе — сицилианцы именуют ее Сиракузами, — я и разговорился с Гурриато. Оба паруса потрескивали на своих мачтах, галерники, солдаты и палубная команда, кроме вахтенных, улегшись вповалку где кто, спали, как принято говорить, без задних ног, сплетая в обычную симфонию храп, носовой свист, стоны, всхлипы, урчание, рычание, бормотание, булькание и прочие ночные звуки, о коих я, господа, с вашего позволения умолчу. У меня разболелась голова, и потому осторожно, стараясь никого не потревожить, я поднялся и, хрустя попадавшими под ноги тараканами, двинулся на корму в надежде, что свежий ветер принесет облегчение, и вот на крайней банке в слабом свете кормового фонаря увидел знакомый силуэт. Гурриато-мавр стоял, опершись о планширь, и созерцал темное море и звезды, которые от качки то показывались на небе, то вновь прятались за полотнищами парусов. Он сказал, что ему тоже не спится: покуда не взошел на борт «Мулатки» в Оране, никогда прежде в море не бывал, так что все здесь ему кажется ново и мудрено, и если не надо грести, он часто сидит здесь по ночам и смотрит во все глаза. Истинным чудом казалось ему, что такая тяжеловесная, громоздкая, сложно устроенная махина может двигаться по воде — и притом еще во тьме. И пытаясь понять ее секрет, он внимательно наблюдал за каждым движением галеры, всматривался в малый огонек, иногда возникавший на горизонте, вслушивался в плеск невидимой воды, светящимися в темноте брызгами окатывавшей борта. Силился понять смысл тех слов, похожих на заклинание или молитву, которые каждые полчаса нараспев повторял рулевой, поглядывая на компас и отбивая склянки — судовые песочные часы.

Тут я спросил Гурриато про крест, вытатуированный у него на скуле, и про ту легенду, по которой, если верить ей, люди его племени были христианами в оны дни, а если точнее — много лет спустя после нашествия мусульман на север Африки, предательства графа Юлиана и завоевания Испании Тариком и Мусой. Помолчав, Гурриато сказал, что впервые слышит эти имена. Но знает от деда, а тот — от своего отца, будто племя бени-баррати, не в пример всем прочим, так никогда и не приняло исламскую веру. Скрывались в горах, воевали и в конце концов растеряли все христианские обряды, оставшись без богов и без родины. И потому другие мавры всегда относятся к ним с недоверием.

— Оттого у тебя этот крест?

— Точно не знаю. Но отец говорил, что так повелось со времен готов, чтобы отличаться от других — языческих — племен.

— Помнится, ты рассказывал про колокол, запрятанный где-то в горах.

— *Тидт*. Истинно так. Большой бронзовый колокол хранится в пещере. Я никогда его не видел, но люди говорят, он пролежал там восемь или десять веков, с тех самых пор, как пришли мусульмане... И там же — книги... очень старые... на непонятном языке... Остались со времен вандалов или еще раньше.

— На латыни?

— Я не знаю, что такое «латынь». Но пока никто не сумел их прочесть.

Наступила тишина. Я думал об этих людях, о том, как они нашли спасение в горах, как тщились сберечь свою веру и как неудержимо утекала она у них меж пальцев, словно песок или вода. Как повторяли слова и движения, смысл и значение которых забыт давным-давно. «Бени-баррати», вспомнил я, означает «дети чужеземцев», то есть люди без родины. И потому другие мавры им не доверяют.

— Почему ты отправился с нами?

Гурриато, со спины освещенный фонарем, как-то беспокойно поерзал на скамье, будто мой вопрос озадачил его, и ответил не сразу.

— Судьба, — проговорил он наконец. — Мужчина должен идти, пока сил хватает. Уходить в дальние земли и возвращаться умудренным... Может быть, тогда сумеет понять...

Заинтересовавшись, я тоже оперся о фальшборт:

— Что же ты должен понять?

— Откуда я... Нет, речь не о тех горах, где меня произвели на свет.

— А зачем?

— Когда знаешь, откуда ты, легче умирать.

Снова повисло молчание, нарушаемое лишь перекличкой рулевого с вахтенным матросом на носу. Затем смолкли и их голоса, и теперь слышались только поскрипывание мачт и плеск воды у бортов галеры.

— Всю жизнь мы разгуливаем по лезвию, — опять заговорил могатас. — Но большинство людей этого не знают. Знают только *ассены*, мудрецы.

— А ты — мудрец? Или только еще хочешь сделаться таким?

— Нет. Я всего лишь человек из племени бени-баррати. — Голос его звучал безмятежно: могатас явно не собирался ничего скрывать. — И я даже не видел своими глазами ни тот бронзовый колокол, ни книги, которые никто не может прочесть. И потому нуждаюсь в том, чтобы другие люди указали мне путь, как вам указывает его волшебная стрелка вашего компаса.

Он указал на корму — без сомнения, туда, где в полутьме, слабо подсвеченная снизу огоньком нактоуза, угадывалась фигура рулевого. Я кивнул.

— Понимаю... И по этой причине ты выбрал капитана Алатристе себе в спутники?

— Истинно так.

— Но ведь он всего лишь простой солдат... Воин.

— Да, он воин. *Имъяхад*. И потому владеет мудростью. Каждое утро, открывая глаза, он глядит на свою шпагу и вечером, перед тем как закрыть, опять глядит. Он знает, что такое смерть, и готов к ней. И тем отличен от других.

Еще до рассвета слово «смерть» обрело для нас смысл самый что ни на есть непосредственный. Ветер, до сей минуты умеренный и благоприятный, сменил направление, резко усилился и погнал нас к берегу, грозя разбить о скалы. Гребную команду растолкали, подняли бичами, погнали на весла, и вот отчаянными и совместными усилиями удалось мало-помалу уйти подальше от опасных мест в открытое и весьма бурное море, захлестывавшее высокими волнами куршею; жалко было смотреть на полуголых мокрых галерников, что надрывались, выгребая против ветра. Моряки сбились в кучу, попеременно молясь и матерясь, а наша братия, за исключением нескольких привилегированных лиц, давно уже застолбивших себе местечко в кубрике, лазарете и каюте, валялась, как кому Бог привел, кучей и вповалку на палубе и в галерейках вдоль бортов, умученная непрерывной рвотой, ибо качка, именуемая килевой, была страшеннейшая: галера то глубоко зарывалась носом в волну, то выныривала, и тогда вода обдавала нас потоками с ног до головы. Мало было проку от парусины, мешковины и прочего тряпья, коим мы пытались накрыться, ибо в довершение к тем пакостям, что вытворяла с нами разыгравшаяся стихия, хлынул проливной и холодный дождь, а натянуть парусиновый тент над палубой не получалось из-за сильного ветра.

И все-таки на одних веслах — пять или шесть были в тот день сломаны — мы, потратив на это целое утро, продвинулись примерно на одну лигу мористее. И забавно было слышать, какой в ответ комиту, вскользь заметившему, что, если господам солдатам нежелательно, чтобы галеру шарахнуло и в щепки разбило о прибрежные скалы, где нам всем сейчас же и конец придет, недурно было бы кому-то из нас сесть на весла, какой, говорю, поднялся тут вой протеста: мы, дескать, воины, а значит, идальго, и потому нам и в кошмарном сне не привидится грести на галере, иначе как — Господи, избави! — по приговору пресветлого нашего государя. Да я сто раз предпочту, говорил один, чтоб меня, как новорожденного котенка, утопили, не нанеся порухи чести моей, чем спастись такой ценой. Да я лучше дам себя ломтиками нарезать, вторил ему другой, чем хоть на краткий срок унижусь до подлого состояния галерника. Тем дело и кончились, и все пошло своим чередом: вымокшие до нитки мужи брани остались валяться на палубе, стуча зубами, блюя, молясь и понося весь род человеческий, к которому имели несчастье принадлежать, а каторжане — выбиваться из сил, ворочая веслами, меж тем как бичи комита и его помощника лоскутьями снимали кожу с их спин.

Во второй половине дня, ко всеобщему несказанному облегчению, ветер переменился — задул сирокко и, тотчас надув оба паруса, помчал нас заданным курсом в обратном направлении. Беда была в том, что с небес продолжали низвергаться потоки воды, будто хляби разверзлись и сейчас начнется потоп, и так вот, терпя то вместе, то поврозь струи ливня и оплеухи ветра, мы заметили впереди огни, перебежали в полном составе на корму, чтобы приподнять нос да, не дай Бог, не воткнуться куда-нибудь тараном, и стали приближаться к Мессинскому проливу, причем ход держали, согласно расчетам штурмана, четыре мили на каждую склянку. В довершение радостей быстро стемнело, так что весьма затруднительно было определиться, где мы находимся, а ведь прямо по носу у нас где-то в кромешной тьме таились пресловутые Сцилла и Харибда, еще со времен хитроумного грека наводящие ужас на мореплавателей и справедливо считающиеся наимерзейшим местом на всех морях-океанах. Однако волнение было сильное, гребцы окончательно выбились из сил, и все это не давало решительно никакой возможности ни лавировать, ни держаться от проклятого створа подальше. Вот в таком положении мы пребывали, входя в воронкообразный Мессинский пролив — повернуть было уже никак нельзя, — и когда сразу несколько наших вдруг вскричали, что видят огонь на суше, штурман с капитаном Урдемаласом после непродолжительного совещания с глазу на глаз решили, что, мол, была не была, а также вспомнили о семи смертях, которым, как известно, не бывать, и все прочее с тому подобным, и договорились считать, что горит этот огонь либо на башне в самой Мессине, либо на маяке, отстоящем от города почти на две лиги севернее. Взвился парус на фок-мачте, комит засвистел, силясь быть услышанным сквозь вой ветра в снастях, гребцы — в том числе и Гурриато — вновь налегли на весла, а рулевой взял курс на этот отдаленный огонек. Мы плыли в темноте, и гораздо быстрее, чем нам того хотелось, бормоча молитвы, держась кто за что мог и уповая, что не сядем в этой узости на мель, не налетим на подводный камень, не врежемся со всего хода в скалистый берег. Впоследствии мнения разделились: одни считали, что произошло чудо, другие полагали, что нам неслыханно повезло, а иначе как объяснить, что не постигла нас ни одна из этих бед. Когда мы, по прикидкам штурмана, были уже совсем неподалеку от Мессины, в довершение несчастий погас путеводный огонь, залитый, надо думать, непрекращающимся ливнем: счастье еще, что, хоть ветер и сменился снова на норд-ост, шторм почти утих. Мы подвигались вперед, отыскивая вход в гавань, и если бы в этот самый миг не вспыхнула на небе зарница, высветив форт Сан-Себастьян, оказавшийся на пистолетный выстрел от носа галеры и рулевой в последнюю минуту не успел бы переложить штурвал, то, несомненно, вдребезги расшиблись бы о каменную стену и погибли, не дотянув до спасения буквально на волосок.

## VII. Увидеть Неаполь и умереть

Там, где Везувий озарял ночное небо неверным и призрачным светом, оно было алым, а потом будто выцветало, делаясь на противоположном своем краю, залитом лунным сиянием, блекло-розовым. И Неаполь со всеми своими возвышенностями и затемненными впадинами, домами, шпилями колоколен, морем и сушей, так причудливо освещенными двумя противоборствующими источниками, показался Алатристе не настоящим городом, а игрой воображения и напомнил ему, как во Фландрии, когда грабили какой-нибудь дворец, спорило всамделишное пламя с огнем, написанным красками на полотне.

Он с наслаждением втянул ноздрями теплый солоноватый воздух, покуда не спеша прилаживал и затягивал потуже ременный пояс со шпагой и кинжалом. Плащ надевать не стал. Несмотря на поздний час — давно уж отзвучали колокола, сзывавшие на вечернюю молитву, — было совсем не холодно. И эта приятная прохлада по-особому прозрачного ночного воздуха как-то умиляла, навевая светлую грусть. На месте Алатристе поэт — вот хоть дон Франсиско де Кеведо — давно извлек бы из этого несколько славных или скверных строк, но капитан стихов не писал — у него вместо них было полдюжины шрамов и десяток воспоминаний. Так что он нахлобучил шляпу, поглядел сперва в одну, потом в другую сторону — по ночам в таких уединенных местах сам дьявол не ощущал бы себя в полной безопасности — и пустился в путь, слушая, как звонкий стук его каблуков по торцам мостовой стихает на песчаной почве Чиайи. Он шел неторопливо, внимательно всматриваясь, не вынырнет ли чья-нибудь тень из-за перевернутых рыбачьих лодок на берегу, и вот в конце длинного пляжа увидел, как — черные на красном — возникают вдали холм Пиццофальконе и вынесенная далеко в море крепость Уэво. В окнах не светилось ни единого огонька, на улицах не горели ни факелы, ни плошки. И не было ни ветерка. Древняя Партенопа спала, укрощенная огнем, и на лице Алатристе, спрятанном в тени широкополой шляпы, вдруг появилась улыбка. Такой же точно свет, исходящий из жерла Везувия, когда вулкан вдруг решает перетряхнуть свои внутренности, и в дни капитановой боевой юности озарял его забавы и проказы.

Нынешнему веку шел тогда десятый год, а ему — семнадцатый. Он впервые тогда узнал Италию, навидавшись всяких ужасов при усмирении мятежных морисков в горах и на побережье Испании. Он плавал солдатом на корсарских галерах, и богатая добыча с греческих островов и оттоманских прибрежных земель сама просилась в руки каждому, у кого хватало духа отправиться за ней... Первые шесть лет службы в неаполитанском полку были, можно считать, лучшим временем в его жизни: нескудеющая и пополняемая с каждым новым походом мошна, остерии и таверны Мергелины и Чоррильо, испанские комедии в Корраль-де-лос-Флорентинос, отменное вино, а жратва — еще лучше, благодатный климат, привольное гарнизонное житье под сенью раскидистых дерев в компании милых сердцу товарищей и ласковых красавиц. Там он и познакомился с будущим испанским грандом, в поисках приключений пошедшим волонтером на галерный флот — юные аристократы так зарабатывали себе репутацию, — с графом де Гуадальмедина, сыном того генерала, под водительством коего Алатристе воевал во Фландрии, при Остенде.

Шутка ли — Альваро де ла Марка, граф де Гуадальмедина! Шагая берегом моря, капитан размышлял: а знает ли тот, сидя в своем мадридском дворце, что давний его знакомец вновь оказался в Неаполе? Если, конечно, сиятельному вельможе, другу и конфиденту короля Филиппа Четвертого, есть хоть какое-то дело до того, как сложилась судьба человека, который в 14-м году вынес его, раненного, из боя и на себе, по пояс в воде, дотащил до кораблей... Дело было на Керкенне, и арабы кидались на них тогда со всех сторон, как бешеные псы... Однако с той поры между былыми боевыми товарищами пролегло слишком много всякого-разного: добрым отношениям не способствуют ни бедро, пропоротое шпагой перед неким домом в Мадриде, ни лицо, разбитое рукоятью пистолета, когда в карете переезжали мост через Мансанарес.

Он выругался про себя, сплюнул с досады. Гуадальмедина, которого он не видел с достопамятной охоты в окрестностях Эскориала, не выходил у него почему-то из головы, а заодно лежал камнем на сердце. Капитан, силясь избавиться от неприятного воспоминания, заставил себя думать о другом. В самом деле — какого черта? Он — в Неаполе! Вокруг — все великолепие Италии, сам он здоров, и в кармане еще побрякивают кружочки с августейшим профилем. У него — отличные товарищи, не говоря уж про Себастьяна Копонса — как хорошо все же, что удалось выцарапать его из Орана! — мастера пожрать и не дураки выпить, мужики в полном смысле слова, готовые и последним поделиться, и спину тебе прикрыть. И той же породы самый давний его друг, Алонсо де Контрерас — еще бы: с ним вместе по четырнадцатому-то году они записались пажами-барабанщиками в полк, отправлявшийся во Фландрию. Алатристе и Контрерас встретились в Италии десять лет спустя, потом в Мадриде и вот теперь — снова в Неаполе. Бравый дон Алонсо нисколько не изменился — все так же отважен, речист и немного фанфарон, но это — лишь по первому впечатлению, которое не только обманчиво, но и чрезвычайно опасно для тех, кто, поддавшись ему, не захочет вникнуть в суть. Он вышел в капитаны, прославился — после того, как Лопе де Вега вывел его в комедии «Король без королевства» — и, плавая на мальтийских галерах вдоль побережья Эгейского моря, на Морею наведываясь, богатства себе не стяжал, но жил широко. Герцог де Альбукерке, вице-король Сицилии, не так давно дал ему под начало гарнизон Пантеларии — есть такой островок на полпути в Тунис — и даже выделил фрегатишко, чтоб, если совсем тоска заест, можно было малость покорсарствовать. По словам самого Алонсо, не бог весть что, но все же должность приятная, надежная и оплачиваемая.

...Алатристе берегом шел дальше. Не доходя до твердынь Пиццофальконе, свернул, поднялся по откосу. И через арку всю ночь открытых ворот вступил, удвоив бдительность, на улицы города. На углу внимание его привлекла освещенная таверна. Изнутри слышались гитарный перебор, мужские и женские голоса, обрывки слов по-испански и по-итальянски, смех. Захотелось завернуть туда, принять стакана два, но капитан поборол искушение. Было уже очень поздно, к тому же он устал, а до так называемого Испанского квартала, где они с Иньиго разместились, идти еще порядочно. Да и потом: за жизнь свою он уже и так выпил немало, гася жажду — да и не ее одну, видит Бог! — напиваться же взял себе за правило лишь в те дни и ночи, когда демоны устраивали в душе и в памяти свои игрища, а сегодня такого не было. Свежие воспоминания наводили все же на мысли о райских усладах, нежели об адских муках. Алатристе усмехнулся этой мысли и, проведя пальцами по усам, ощутил, что они будто впитали в себя запах женщины, дом которой он недавно оставил. Как хорошо, мелькнуло у него в голове, быть живым и снова оказаться в Неаполе.

— Non e vero[[18]](#footnote-18), — сказал итальянец.

Мы с Хайме Корреасом переглянулись. Счастье еще, что оружие полагалось оставлять при входе в игорный дом, а иначе немедленно бы обнажили шпаги по адресу наглеца. Нужды нет, что у итальянцев эти слова вовсе не считаются оскорблением, ни один испанец безнаказанно такое не оставит. А этот игрок прекрасно знал, кто мы и откуда.

— Нет, сударь. Это вы врете.

И с этими словами я, оскорбленный тем, что мне осмелились сказать такое, поднялся и ухватил со стола кувшин с намерением разбить его — вот только дернись! — о голову собеседника. Корреас последовал моему примеру, и так вот стояли мы с ним бок о бок, глядя: я — на шулера, Хайме — на тех восьмерых-десятерых молодцев самого гнусного вида, что играли за нашим столом. Как я уже упоминал выше, мы в такого рода заведениях были не впервые, ибо Корреас ни устали, ни удержу в игре не ведал и мог предаваться сему пороку с утра до вечера. Давний мой товарищ пустился во все тяжкие после того, как нелегкая — извините за каламбур — занесла его еще в нежном возрасте, пажом-мочилеро во Фландрию, а ныне сделался прожженным плутом, отъявленным потаскуном и неисправимым кутилой, завсегдатаем злачных мест, одним из тех пропалых ребят, которые, привыкнув брать от жизни все, не задумываются, что когда-нибудь и отдавать придется, отчего обычно и получают либо нож под ребро, либо почетное право галерным веслом шугать сардинок, либо и вовсе подсудобливают себе на шею в три витка веревочку, которой, известное дело, как ни вейся, а конец будет. А я? Что ж я? И чего другого вы, господа, ожидали бы от меня — ровесника его и друга и уж совсем не мужа праведной жизни? Так что мы с ним на пару новоявленными Аяксами бродили, ухарски заломив шляпы да шпагами звеня, по Италии, которой владели, о которой радели с тех, теперь уже давних пор, как арагонские государи завоевали Сицилию, Корсику и Неаполь, и сперва рати Великого Капитана [[19]](#footnote-19), а потом полки императора Карла намылили здесь французам холку. К вящей досаде римских пап, венецианцев, савойцев, ну и так надо понимать, что и самого врага рода человеческого тоже.

— Врете и притом мухлюете, — припечатал Корреас, отрезая пути к отступлению.

Последовало молчание из разряда тех, что обещают много, но ничего хорошего, однако, не сулят, а я наметанным солдатским глазом оценил положение и остался им крайне недоволен. Партнер наш, по виду судя, продувная бестия, пройдоха и шельма, был, скорее всего, флорентинец, а прочие — неаполитанцы, сицилийцы или уж не знаю, где их мамаша родила, а наших в поле зрения не оказалось ни одного. Помимо всего прочего, место, где это дело происходило — подвал с закопченным потолком, — помещалось на площади Ольмо: рядышком имелся фонтан, а вот до испанских казарм было довольно далеко. Утешаться оставалось тем лишь, что на первый взгляд противники наши были так же безоружны, как и мы с Хайме, хотя нельзя было исключать, что в нужный момент в руке у кого-нибудь, откуда ни возьмись вынырнув, блеснет ножичек. Я про себя проклял своего товарища, который оттого и вверг нас обоих в такую вот мухоловку, что в безмозглую башку ему в очередной раз втемяшилось выбрать для утоления картежной страсти такой гнусный притон, как этот. Да, в очередной раз, не в первый, но очень похоже, что в последний.

Итальянец меж тем сохранял спокойствие. Ему ли, бакалавру крапа и лиценциату мухлежа, было тревожиться из-за таких недоразумений, неотъемлемо присущих благородному ремеслу шулера? Наружность его, доверия не внушая, была под стать поведению: плешь он прикрывал скверно сделанной накладкой, был тощ и мосласт, на пальцах сверкали массивные перстни, и торчком, как два свясла, стояли у самых глаз нафабренные усы. Совсем был бы персонаж какого-нибудь фарса, если бы не взгляд — цепкий и опасный. Жуликовато бегая глазами, до ушей раздвинув губы улыбкой, что смотрелась фальшивее, чем гасконец на богомолье, он быстро переглянулся со своими присными, а затем указал на карты, разбросанные по грязному столу, залитому вином и заляпанному белесыми кляксами свечного воска.

— Voace a fato acua, — произнес он, не выказывая волнения. — A perduto[[20]](#footnote-20).

Сильнее злясь на то, какими непроходимыми олухами он нас считает, нежели на ситуацию как таковую, я в свою очередь взглянул на карты, лежавшие рубашкой вверх. На королях и семерках, коими банкомет тщился удостоверить причуды капризницы-фортуны, «мушиных крылышек» было больше, чем на прилавке в мясной лавке, а «бровки» — погуще, чем у Бартоло Типуна. Малый ребенок заметил бы наколку, но этот прохвост, как видно, считал, что раз нездешние — значит, совсем недоумки.

— Забери деньги, — шепнул я Хайме. — И ходу отсюда!

Не заставляя просить себя два раза, он сгреб и сунул в кошель монеты, которые мы, пентюхи последние, поставили на кон. Я не выпускал ручку кувшина и не сводил глаз с итальянца, искоса, впрочем, посматривая и на остальных. И обдумывал шахматную комбинацию, ибо столько раз слышал вразумления капитана Алатристе: прежде чем наступать, проверь пути отхода. До дверей, где мы оставили оружие, было десять шагов и двенадцать ступеней вверх. Нам на руку играло и то, что завсегдатаи, вероятнее всего, набросятся на нас не здесь, а на улице, дабы у владельца заведения не возникло бы потом хлопот с правосудием. Стало быть, у нас был известный простор для маневра. Я напряг память. Из всех церквей, где можно укрыться в случае чего, ближайшими были Санта-Мария-ла-Нуэва и Монсеррате.

Мы выбрались наружу беспрепятственно, чему я немало удивился, ибо, вопреки всем моим расчетам, молчание, повисшее в игральной зале, вполне могло быть прервано щелчком выкидного ножа. Поднявшись по лестнице, забрали наши шпаги и кинжалы, сунули монету слуге, вышли на площадь Ольмо и, заслышав за спиной шаги, обернулись. Розовоперстая Эос — или как ее там? — уже отдергивала полог утра, открывая вершину горы, увенчанной замком Сан-Мартин, и обращала приветный взор к нашим лицам, осунувшимся и воспаленным после целой ночи, столь щедро даровавшей нам вино, музыку и возможность не увидеть свет нового дня. Хайме Корреас — за годы, протекшие с фламандских времен, он не очень прибавил в росте, но зато сильно раздался в плечах, заматерел, усвоил себе все солдафонские ухватки, оброс уже густой не по годам бородкой, а шпагой обзавелся такой длиннющей, что она волочилась по земле, — кивком показал мне на банкомета и трех его дружков, шедших за нами следом, и спросил полушепотом: что будем брать в руки — шпаги или ноги? Мне показалось, что второй вариант представляется ему предпочтительнее. Это меня отчасти обескуражило, ибо я и сам не слишком был расположен к схватке — не говоря уж о том, что в соответствии с эдиктами вице-короля за поножовщину средь бела дня и посреди улицы прямиком отправляли в тюрьму Сантьяго — это если ты испанский солдат, ну а если паче чаяния итальянец — то в тюрьму Викариа. И вот, когда, чуя за спиной банкомета с дружками, шел я, miles хоть и gloriosus [[21]](#footnote-21), но терзаемый сомнениями, какую тактику избрать: с кличем «Испания, вперед!» ударить ли на врага или же, напротив, удариться в бегство самим, уподобившись проворством зайцу быстроногому, ибо уже давно дон Франсиско де Кеведо сказал, как отрезал: «Смельчак благоразумный — смел вдвойне», Пречистая Дева и ниспослала нам с Хайме Корреасом благодать. На этот раз она приняла образ полувзвода испанских солдат, которые сию минуту сменились с караула на пристани и заворачивали за угол улицы Адуана. И, не раздумывая более, мы устремились к отчизне под крыло, несостоявшиеся же противники наши, поняв всю тщету своих устремлений, застыли, гады, на перекрестке и с места не стронулись. Но долго и внимательно, очень-очень внимательно глядели нам вслед, словно желая накрепко запечатлеть в памяти лик наш и облик.

Я обожал Неаполь. И даже сейчас еще, когда обращаю мысленный взор в прошлое и вспоминаю о златых днях юности моей, проведенных в этом городе, разнообразием своим подобному вселенной в миниатюре, размерами — Севилье, красотою же — райскому саду, улыбаюсь от удовольствия и светлой грусти. Представьте, каково человеку молодому и отважному, да притом испанскому, воюющему под знаменами славнейшей в свете пехоты, подданному державы, которая в могуществе не знала себе равных и внушала трепет всему миру, каково, говорю, было ему оказаться здесь, в сем благословенном и упоительном краю: «Порта манджаре... Прошютто и вино, дживо-дживо... Престо!.. Бон джорно, бела синьорина!» [[22]](#footnote-22) Прибавьте к этому, что во всей Италии, за исключением одной лишь Сицилии, женщины днем разгуливали по улицам без плаща и накидки, себя не пряча и зачастую показывая даже ножку до самой щиколотки, волосы же убирали под сетку либо покрывали голову легчайшей шелковой мантильей. Кроме того, относились к нам в ту пору не в пример лучше, чем к прижимистым французам, надменным англичанам или скотоподобным немцам, прощая и спесь, и фанфаронство за железную стойкость в бою, отвагу и легкость в расставании с деньгами. И, невзирая на природную нашу свирепость, в которой на собственном опыте убедиться пришлось многим понтификам, с простыми итальянцами отношения — в ту пору опять же — были самые расчудесные. Особенно в Неаполе и на Сицилии, где едва ли не каждый говорил по-испански. Изрядное число итальянцев, проливавших кровь под нашими знаменами — плечом к плечу с нами сражались они, к слову сказать, под Бредой, — никто — ни историки, ни обыватели — отнюдь не считал предателями: видели в них людей, верно служивших своему отечеству. Это уж потом, когда на место капитанов и солдат, задававших перца французам и туркам, хлынули с Пиренеев разного рода мытари и прочая кровососущая вездесущая чиновничья шваль, а героические деяния сменились угнетением и беззастенчивым грабительством, разбоем и нищетой, стали вспыхивать мятежи и восстания — вроде того, что полыхало в Масаниэльо в 47-м году.

Но воротимся в Неаполь времен моей юности. Лучезарный и процветающий город этот был наилучшей точкой приложения бушующих во мне сил. Тем более что, если помните, я оказался в беспокойном сообществе Хайме Корреаса, с которым шлялись мы и бродили повсюду, в поисках приключений заглядывая иной раз даже в женские монастыри, ныряли с пирса в море, спасаясь от жары, обходили улицы, вскидывая головы к каждому окну, если оттуда из-за шторы, ставни или жалюзи без промаха стреляли в нас глазками, не пропускали, само собой, таверны — здесь, в Италии, обозначались они лавровой ветвью на вывеске, — не чурались ни веселого дома, ни игорного. Я, надо мне отдать должное, в заведениях с девицами был столь же благоразумно сдержан, сколь безудержно опрометчив — мой друг, кидавшийся оголтело на всякое голое тело, в отличие от меня не страшившийся утех у тех, что метким дуплетом бьют влет и кошелек, и здоровье, так что покуда Хайме, отзывчиво откликаясь на всякое от дверей доносившееся: «Зайди, красавчик, загляни, солдатик, не пожалеешь», погружался в пучину разврата, я потягивал вино в культурной беседе и, фигурально выражаясь, плескался, далеко не заходя, у бережка — оно и бесплатно, и безопасно. Впрочем, поскольку — спасибо капитану Алатристе! — вырос я парнем хоть и осмотрительным, да щедрым, то здешние птички, не уподобляясь курочке, которая, как известно, только от себя гребет, меня привечали, и не было у меня от них отбоя, а мне у них — ни в чем отказа: одна даже гладила и — не поверите! — крахмалила мои манжеты, воротник и сорочки. И многочисленное сообщество удалых завсегдатаев, тоже пасшихся на этом лужку, относилось ко мне как к доброму товарищу, тем более что, как вы уже знаете, и опять же благодаря школе, пройденной у капитана Алатристе, я в драке был проворен, увертлив, легконог и в ударе, что называется, зол и точен. А это, тем более когда человек не скупердяйничает, неизменно приветствуется в среде бравых Ухорезов, Руколомов и прочих испанских вояк.

— Тебе письмо, — сказал капитан Алатристе.

Утром, сменившись с караула на Кастильнуово, зашел он на почту и получил сложенный вдвое и запечатанный сургучом лист с моим именем на лицевой стороне, каковой сейчас лежал передо мной на столе в нашей с ним комнате, помещавшейся в трактире Аны де Осорио в Испанском квартале. Капитан, стоя к окну спиной, отчего все лицо его, кроме кончика уса и краешка щеки, было в тени, глядел на меня молча. Медленно, будто ступая по вражеской территории, ибо успел узнать почерк, я приблизился. И вот — Бог свидетель! — несмотря на протекшее время, расстояние, не отроческие уже года и многие события, происходившие со мной после той ужасной и столь богатой событиями ночи в Эскориале, почувствовал, как едва ощутимо запульсировал рубец на спине, словно вновь к нему после ледяного прикосновения кинжала приникли горячие губы, и сердце замерло, пропустив удар, и тотчас заколотилось бурно и беспорядочно. Наконец я протянул руку за письмом, и тут капитан взглянул мне прямо в глаза. Он вроде бы собирался сказать что-то, но, так и не собравшись, постоял еще мгновение, потом взял шляпу и обмотанную портупеей шпагу и вышел, оставив меня в комнате одного.

Сеньору дону Иньиго Бальбоа Агирреиз роты капитана дона Хустино Арменты де Медрано, Неаполитанская бригада королевской пехоты

Сеньор солдат!

От меня потребовались значительные усилия, чтобы установить Ваше нынешнее местонахождение, хотя мои родственники и знакомые сообщают обо всем, что происходит в Испании, мне, пребывающей сейчас далеко за ее пределами. И так вот мне стало известно, что Вы вновь вступили в военную службу вместе с этим капитаном Нахалатристе, или как его там, и в доказательство того, что не удовлетворились прежними деяниями против еретиков во Фландрии, ныне устремили свой натиск на Турка во имя защиты нашей монархии и истинной веры, что делает Вам честь и лишний раз свидетельствует о том, сколь рыцарственно мужественны Вы и отважны.

Ошибкою с Вашей стороны было бы уподобить здешнее мое житье ссылке на необитаемый остров. Ибо Новый Свет — не только новый, но и захватывающе притягательный — открывает огромные возможности, а связи моего дядюшки дона Луиса оказываются здесь не менее — если не более — полезными, нежели при дворе. Довольно будет сказать лишь, что положение его не только ни в малейшей степени не пошатнулось, но и скорее даже укрепилось и упрочилось, вопреки тем лживым измышлениям по поводу прошлогоднего злосчастного происшествия в Эскориале, коими недоброжелатели тщились опорочить его в глазах его величества. Я надеюсь, что в самом скором времени ему удастся полностью оправдаться, благо у дона Луиса остались при дворе многие друзья и родственники, хлопочущие за него перед нашим государем. Есть также чем поощрить их в этих благородных устремлениях, ибо, выражаясь Вашим солдатским языком, мы не испытываем недостатка в порохе для подведения контрмины. В Таско, где мы сейчас живем, добывается самое лучшее и чистое серебро в мире, причем большая часть его, поступающая через Кадис в Испанию, проходит через руки дядюшки, а когда-нибудь пойдет через мои. Как сказал бы фрай Эмилио Боканегра, сей праведник и муж святой жизни, которого, я уверена, Вы вспоминаете с чувствами столь же теплыми, как и я: «Пути Господни неисповедимы», тем паче — в нашей католической державе, цитадели истинной веры, средоточии столь многих и многообразных добродетелей.

Что же касается лично Вас и меня, то, хотя в течение долгого времени, протекшего с нашей последней встречи, произошло уже немало событий, я помню в мельчайших подробностях каждый ее миг, как, смею надеяться, и Вы. Я развилась и телесно, и духовно, а потому мечтала бы удостовериться в благотворности сих перемен при встрече с Вами, каковая встреча, которая, мне кажется, уже не за горами, непременно произойдет, когда исчезнут препоны, завершатся странствия и разделяющая нас даль отойдет в область воспоминаний. Вы достаточно хорошо знаете меня, чтобы не сомневаться в моем умении ждать. А покуда это время еще не пришло, я настоятельно требую от Вас — в том, разумеется, случае, если Вы еще испытываете ко мне прежние чувства — немедленного и собственноручного ответного письма, из которого могла бы убедиться, что ни время, ни пространство, ни красавицы Италии и Леванта не сумели вытравить из Вашей памяти образ моих рук, моих уст и моего кинжала. В противном же случае Вы будете прокляты, ибо я нашлю на Вас злейшие злосчастья, по сравнению с коими цепи алжирского раба, весло галерника или кол, куда так любят усаживать своих гостей радушные турки, покажутся вам сущими пустяками. Но если Вы продолжаете хранить верность той, кто по-прежнему рада, что еще не убила Вас, клянусь, что Вы будете вознаграждены за нее мукой и счастьем, пока недоступным даже Вашему воображению.

Из этих слов Вы можете заключить, будто я думаю, что по-прежнему Вас люблю. Однако не советую Вам пребывать в уверенности относительно этого, как, впрочем, вообще чего бы то ни было. Убедиться в этом Вы сможете лишь, когда мы окажемся лицом к лицу и взглянем друг другу в глаза. А до тех пор постарайтесь остаться живым, целым и невредимым. У меня на Вас, как Вы помните, большие виды.

Желаю Вам удачи, сеньор солдат. Надеюсь, что на борт первой же турецкой галеры Вы спрыгнете с моим именем на устах. Мне будет приятно оказаться на устах храбреца.

Ваша —

Анхелика де Алькесар.

Поколебавшись мгновение, не больше, я вышел на улицу. И обнаружил, что капитан, расстегнув колет, сложив на скамейку шляпу, шпагу и кинжал, сидит у дверей нашего постоялого двора и наблюдает за прохожими. Письмо было у меня в руке, я с гордостью протянул его Алатристе, но он взглянуть не пожелал, а лишь сказал:

— Фамилия Алькесар навлекает на нас беды.

— Анхелика — это мое дело.

Он снова с отсутствующим видом качнул головой, думая, казалось, о чем-то своем. Глаза его были устремлены на перекресток — наша остерия помещалась на углу Трес-Рейес и Сан-Матео, — где несколько мулов, привязанных к кольцам в стене, успели уже щедро унавозить землю возле двух полуподвальных лавчонок: одна торговала углем каменным, древесным и щепками для растопки, другая была завалена связками и заставлена рядами сальных свечей. Солнце стояло в зените, и, роняя нам на головы капли, белье на протянутых из окна в окно веревках качалось под ветром, постоянно чередуя прямоугольные пятна света и тени на земле.

— В подвалах инквизиции и на борту «Никлаасбергена» дело это было не только твое... — Алатристе говорил так, словно размышлял вслух, а не отвечал мне. — И в Эскориале — тоже... Я имею в виду наших друзей. Люди погибали.

— Анхелика тут ни при чем. Ее использовали втемную.

Он медленно повернул ко мне голову и долго смотрел на письмо, по-прежнему зажатое у меня в руке. Смутясь, я опустил глаза. Потом сложил лист вдвое, спрятал его в карман. Крошки сломанного сургуча, забившиеся мне под ногти, были похожи на запекшуюся кровь.

— Я люблю ее.

— Это я уже слышал. В Бреде. Тогда ты тоже получил похожее письмецо.

— Сейчас я люблю ее сильнее.

Капитан снова замолчал — и надолго. Я привалился плечом к стене. Мы созерцали прохожих — солдат, женщин, слуг, уличных торговцев. Весь этот квартал, строившийся с конца прошлого века попечением вице-короля дона Педро де Толедо, давал приют не менее чем трем тысячам испанских солдат из Неаполитанской бригады, ибо казармы могли вместить лишь малую их толику. Прочие же, как и мы с капитаном, селились здесь. Прямоугольный и при всей однородности своей весьма пестрый квартал был, может, и неказист, да удобен: присутственных мест здесь не было, зато на каждом шагу оказывалась если не гостиница, так остерия, не остерия, так постоялый двор, да и в четырех-пятиэтажных домах, занимавших все пространство, сдавались комнаты в аренду. Так что был это один неимоверных размеров военный лагерь, вписанный в городскую черту и заселенный солдатами, постоянно или временно дислоцированными в Неаполе, которые брали в жены местных или прибывших из Испании, заводили с ними детей и мирно соседствовали с местными жителями, а те сдавали нам жилье внаймы, кормили и поили и, прямо скажем, существовали на те деньги — весьма немалые, замечу, — что тратило наше доблестное воинство. И в этот день, как и во всякий другой, над нашими с капитаном головами перекрикивались из окна в окно женщины, и в домах, перемежаясь неаполитанским диалектом, громко звучала испанская речь со всем разнообразием выговоров, какие только есть в нашей отчизне. На обоих языках верещали и оборванные детишки, чуть выше по улице со сладострастием мучившие собаку: они привязали ей к хвосту разбитый кувшин и теперь палками гнали несчастную тварь по мостовой.

— Есть женщины...

Капитан начал и вдруг осекся и нахмурил лоб, словно позабыл, что хотел сказать. Меня же, неизвестно почему, обуяла досада. Двенадцать лет назад вот здесь же, в Испанском квартале, когда вино переполняло желудок, а ярость — душу, мой бывший хозяин убил лучшего друга и полоснул свою возлюбленную кинжалом по лицу.

— Не думаю, ваша милость, что вы вправе давать мне наставления насчет женщин, — сказал я несколько громче, нежели следовало бы. — Тем более здесь, в Неаполе.

Что ж, я знал, с кем имею дело. Ледяная молния, вспыхнувшая в зеленовато-прозрачных глазах, другого бы, может, и напугала, но только не меня. Не он ли сам научил меня не бояться никого и ничего?

— Да и в Мадриде тоже... где бедная Каридад плачет, покуда Мария де Кастро...

Теперь уже я оборвал фразу на середине, ибо капитан медленно поднялся и очень пристально взглянул на меня в упор этими своими заиндевелыми глазами, так похожими на фламандские каналы зимой. Я, хоть и выдержал его взгляд, невольно сглотнул слюну, заметив, как Алатристе двумя пальцами проводит по усам.

— Хватит, — сказал он.

И обратил задумчивый взор к сложенным на табурете шпаге с кинжалом.

— Себастьян, видно, был прав, — промолвил он чуть погодя. — Ты и в самом деле подрос. Даже слишком.

Он сгреб оружие, неторопливо опоясался ремнем с портупеей, на которой оно висело. Тысячу раз я видел, как он это делает, но сейчас почему-то от этого негромкого лязга мороз прошел у меня по коже. Алатристе все так же молча взял свою широкополую шляпу, низко надвинул ее, и лицо сразу оказалось в тени.

— Ты стал совсем мужчиной, — прибавил он наконец. — Можешь и голос повысить, а значит — и убить. Но, следовательно, и сам можешь быть убит... Постарайся помнить это, когда в следующий раз вздумаешь беседовать со мной о некоторых предметах.

Он глядел все так же — очень холодно и очень пристально. Так, словно видел меня впервые. Вот тогда мне и стало страшно.

Развешанное поперек узких улочек белье в темноте казалось развевающимися саванами. Диего Алатристе, оставив позади перекресток широкой, мощеной и освещенной плошками Виа-Толедо, углубился в Испанский квартал, чьи прямые улицы поднимались в полумраке по склону Сант-Эльмо. Впереди, озаренный свечением Везувия — красновато-зыбким, приглушенным расстоянием, — угадывался и сам замок. Вулкан, который в последние дни зевал да потягивался, сейчас снова задремал — лишь один маленький столб дыма венчал его кратер, и чуть заметно были подсвечены розовым облака на небе и вода в бухте.

Едва оказавшись в темноте, Алатристе перестал перебарывать рвотные позывы, и его буквально вывернуло наизнанку. Со шляпой в руке, опершись о стену и пригнув голову, он еще немного постоял так — пока тени вокруг не прекратили качаться и не прояснилось в одурманенной винными парами голове. Немудрено, что наконец оказала свое действие убийственная и беспорядочная смесь разных вин, которые он вливал в себя весь вечер и добрую часть ночи, обходя в одиночестве таверну за таверной, ускользая от встречавшихся на перекрестках товарищей и открывая рот для того лишь, чтобы заказать очередной кувшин. Вот и нажрался, как немец или еще кто похуже.

Он оглянулся на освещенное устье Виа-Толедо — нет ли непрошеных свидетелей. Гурриато-мавр, поначалу следовавший за ним неотступно, внял наконец энергически выраженному увещеванию и в какую-то минуту отстал от него. Сейчас, надо думать, спит в казарме на Монте-Кальварио. Никого, ни души, так что когда он снова надел шляпу и двинулся по тонущим во тьме улицам дальше, сопровождал его только стук собственных каблуков. Высвободив на всякий случай из-под плаща рукоять шпаги и держась середины мостовой, чтобы избежать неприятной встречи в подворотне или на углу, пересек Сперанчелью и пошел дальше, вверх по спуску, пока под сводом арок не замедлил вдруг шаги. Свернул направо, дошел до маленькой площади перед церковью Тринидад-де-лос-Эспаньолес. Эта часть Неаполя неизменно навевала на него воспоминания и отрадные, и горькие: последние сегодня возобладали и всколыхнулись. Сколько уж времени прошло, а они — тут как тут, живые и свежие, неотвязные, как москиты, и вино им нипочем — не берет... И какая бы адская ни терзала тебя жажда, все равно не выпьешь сколько нужно, чтобы извести их.

Нет, дело было не только в том, что убил соперника, что исполосовал лицо своей любовницы. И не в раскаянии, не в угрызениях совести, которые можно избыть, преклонив колени перед священником в церкви, если допустить хоть на миг, будто Диего Алатристе окажется в Божьем храме, не ища там убежища от правосудия, что гонится по пятам и дышит в затылок. За сорок пять лет жизни он убил многих и многих еще убьет, пока не придет его черед расплатиться за них за всех. Нет. Дело в другом, и вино помогает переварить или изблевать ту ледяную уверенность в том, что каждый сделанный им в жизни шаг, каждый удар шпаги, каждая поножовщина, каждое заработанное эскудо, каждая капля крови, забрызгавшей его колет, оседали, будто влажное туманное облачко, на его коже, въедались в нее, подобно тому, как на пожаре или в сражении пропитывается человек запахом гари. Это — запах жизни, запах лет, минувших и канувших безвозвратно, запах шагов — опрометчивых, сомнительных, безрассудных, неверных или твердых — и каждый предопределял следующие и не давал возможности свернуть. Этот запах смиренного и бессильного приятия неумолимой судьбы и покорности ей иные чем только ни пытаются отбить и заглушить, а иные — вдыхают, не отшатываясь, принимая как должное, ибо уверены, что в жизни и смерти, как и в любой игре, есть свои правила.

Не доходя до церкви Сан-Матео, Диего Алатристе свернул в первый проулок налево. В нескольких шагах впереди, на постоялом дворе Аны де Осорио, горели, как всегда по ночам, свечи и плошки в нишах перед тремя-четырьмя образами Приснодевы и святых. Уже на пороге он поднял голову, взглянул вверх, в небо, угрюмо темневшее над крышами домов и развешанным бельем. Одни места время меняет, другие — хранит, подумал он. Только сердце оно не щадит. И, выбранившись сквозь зубы, медленно, ощупью стал подниматься по скрипящим под сапогами ступеням деревянной лестницы, толкнул дверь в свою комнату, нашарил впотьмах огниво и трут, высек огонь и зажег свечу в шандале, висящем на вбитом в стену гвозде. Рывком расстегнув пояс, с яростью шваркнул амуницией об пол, не боясь разбудить спавших за стеной. Отыскал в углу небольшую оплетенную бутыль с вином и снова, упавшим голосом, выругался, обнаружив, что она пуста. Умиротворенность и покой, осенявшие в Неаполе душу Алатристе, сгинули бесследно сегодня днем, после нескольких минут разговора там, внизу. И в очередной раз сменились уверенностью в том, что никому не удастся близ сажи быть, да не замараться, и еще — в том, что мальчишка семнадцати лет смог превратиться в зеркало, где капитан увидел и свое лицо, и шрамы, о которых не дано забыть и над которыми, как известно, шутит тот, кто не был ранен. Кто-то когда-то написал, что дороги и книги ведут к мудрости. Смотря кого. Диего Алатристе они неизменно приводят в кабак.

Денька два спустя случилось мне встрять или вляпаться в некое курьезное происшествие, о коем я рассказываю вам, господа, исключительно для того, чтобы вы могли сами убедиться в наличии на губах у меня, при всей моей кажущейся заматерелости, необсохшего материнского молока. Случилось так, что ночью, отстояв в карауле у башни возле замка Уэво, которую мы называли Алькала, я шел домой. Если не считать того, что на противоположном конце города Везувий озарял слабеньким красноватым свечением небо и воду бухты, темно было — хоть глаз коли. Поднявшись по Санта-Лючии и миновав церковь, возле ниши с образом Девы Марии, увешанной *exvotos* — сделанными из воска и латуни фигурками младенцев, изображениями глаз, рук, ног, засохшими цветами, ладанками и всем прочим в том же роде, — я заметил одинокую женскую фигуру под покрывалом. В столь поздний час, подумал я, дамочка здесь может находиться либо от чрезмерного благочестия, либо по необходимости, диктуемой неизбежными для мастериц нескучного досуга тяготами. Так или иначе я решил рассмотреть ее получше при свете масляных плошек, горевших у алтаря, ибо, как говорится, сокол, пока молод, не уймет голод. Я убедился, что она довольно высока ростом и стройна, а подойдя поближе, услышал хруст шелка и почуял запах амбры, из чего заключил, что промахнулся, сочтя ее ревностной богомолкой. И, заинтересовавшись еще больше, попытался заглянуть ей под мантилью. Отдельные части тела, до этого попавшие в поле моего зрения, были хороши, а в наборе получалось и совсем замечательно.

— Э-э, люббезни кавальере, вы черресчурре пруоворни! — сказала она не без игривости. — Пуомнитте приличчья.

— Кто ж думает о приличиях при виде таких красот, — ответствовал я, не смутясь.

Голос ее, девически звонкий и приятного тембра, окрылил меня еще больше. Неподдельная итальянка, смекнул я. Не из числа наших надменных соотечественниц — андалусиек или нет, — которые промышляют в Италии, строя из себя владетельных герцогинь, но, уловив добычу на крючок, переходят на чистейший кастильский язык. Я стоял перед нею, но лица так и не видел, хотя абрис, обрисованный светом коптилок, радовал глаз. Мантилья вроде была шелковая и не из дешевых — и при взгляде на открываемый ею образчик захотелось купить всю штуку.

— Так убберены, что настреляете диччи-доббиччи? — осведомилась она.

Я, хоть не учился в школах, был не полный олух, а при этих словах и последние сомнения рассеялись: дамочка, стоявшая передо мной, была если не легкого поведения, то уж точно — не строгих правил, а если и не высокого полета, то во всяком случае — не последнего разбора. Ничего общего с подвизавшимися в притонах и борделях гулящими девками, шлюхами и потаскухами, которые, может, при виде шмыгнувшей по полу мышки и взвизгнут «Спасите!», но и перед полуротой аркебузиров не спасуют.

— Я, знаете ли, не на охоту собрался, а с поста сменился, — честно ответил я. — И спать хочу больше, чем еще чего-нибудь.

Она в свою очередь оценивающе разглядывала меня при свете плошки. Полагаю, что нестарые мои года были у меня просто на лбу написаны, да и юношеский голос выдавал их. Я представил себе ход ее мыслей и понял, что не ошибся, когда услышал пренебрежительное:

— Нуовобранццио спаньоло... Джельтороттикко. Мнуого прытти, мало дукати. *Бизоньо*.

Тут меня, что называется, задело за живое. Она явно сочла меня одним из тех бедных солдатиков-первогодков, к которым приклеилось это прозвище оттого, что они, прибывая на Апеннины дикими, как карибские индейцы, и не зная итальянского, обходились во всех случаях с помощью единственного слова *«bisogno»* — «мне нужно». Я ведь не раз уж поминал, что лет мне в ту пору было немного. Так что, сочтя себя уязвленным, я похлопал по пришитому к поясу карману, где лежали в кошельке серебряный восьмерной дублон, три серебряных монеты достоинством пониже и еще сколько-то мелкой меди. Позабыв в сей быстрый миг завет дона Франсиско де Кеведо: девица тем милей мне, чем дешевле.

— Мне нравиацца эти реччи, — заявила корсарка.

И без церемонных околичностей схватила меня за руку своей рукой — горячей, маленькой и девически-гладкой. Это до известной степени меня успокоило, ибо я всерьез опасался при ближайшем рассмотрении, не говоря уж о тесном знакомстве, что незнакомка окажется всякие виды видавшей, огонь и воду прошедшей, временем траченной, тертой и трепанной, попросту говоря, шкурой, ушивающей чрезмерную широту натуры с помощью иголки да нитки. Хотя лица ее так и не увидел. Впрочем, я, хоть и намеревался всерьез разочаровать ее, сообщив, что не собираюсь следовать за ней в те дали, которые она передо мной открывала, никак не мог на это решиться и колебался, остолоп, боясь ее обидеть чересчур резким отказом. А когда все же сказал, что пойду своей дорогой, она посетовала, что как, мол, неучтиво будет бросить даму посреди улицы и не проводить до дому, а дом-то — вот он, рукой подать, рядышком тут, на Пиццофальконе, только по ступеням подняться. Как же, мол, ей одной да в такую поздноту? И в довершение пений своих будто ненароком дала соскользнуть мантилье, наполовину открыв лицо и обнаружив тем самым прелестно очерченный рот, белую кожу и черный глаз — один из пары тех, какими, стреляя, бьют навылет и наповал, так что даже «Иисусе!» сказать не успеешь. После такого и говорить больше было не о чем, так что мы тронулись под ручку: я вдыхал аромат амбры и слушал шелест шелка — и думал на каждом шагу, невзирая на все свои предыдущие передряги, что вот, иду себе с дамой по улицам Неаполя и ничего плохого из этого не воспоследует. Додумался по недомыслию своему до того даже, что девица она, может статься, никакая и не гулящая, а просто взбалмошная. Такое вот чудо-действие произвела на меня ночь или еще что. Юношеская пылкость и все прочее. Ну, короче говоря, предоставляю вам, господа, самим судить о степени моего тогдашнего скудоумия.

— Пришли, красавч-чик...

Это нежно-фамильярное обращение она сопроводила лаской — потрепала меня по щеке. Не могу сказать, что мне это было неприятно. Меж тем мы стояли уже перед ее домом — это я так думал, — и моя красавица извлекла из-под своего покрывала ключ и отперла дверь. Разум и здравомыслие временами меня покидали, но все же я забеспокоился, заметив во время очередного просветления, в какое мрачное место попал. Хотел было распрощаться, но она опять взяла меня за руку. К дому поднялись мы по лестнице, что вела от Санта-Лючии к первым домам Пиццофальконе — в те годы здоровенное здание казарм еще не было построено, — и вот входили теперь через распахнувшуюся дверь в просторную и темную прихожую, где пахло плесенью, а на зов хозяйки, дважды плеснувшей в ладоши, появилась с лампой в руке тучная старуха-служанка и провела нас по ступеням наверх, в комнатку, всю меблировку коей составляли кровать, два стула и стол. И это окончательно освободило меня из плена химер, ибо понятно стало, что в этой комнате не живут и служит она для торговли живым товаром, какую ведут имеющиеся на сей случай в изобилии подставные матери, выставляя на продажу своих питомиц — да и питомцев тоже — под таким примерно предлогом:

Недавно овдовевшая красавица

Так говорит, печальна и бледна:

«Боясь, что ночью призрак мужа явится,

Я с некоторых пор не сплю одна».

Ну и когда моя спутница, откинув мантилью и явив мне свой небесный лик, вполне, конечно, миловидный, однако неумеренно накрашенный и на свету свидетельствующий непреложно, что обладательнице его лет поболее, нежели представлялось в темноте, пустилась рассказывать немыслимую историю о каких-то драгоценностях, заложенных подругой, о каком-то брате или кузене их обеих, о каких-то деньгах, необходимых, дабы спасти их честь, и что-то еще, и что-то еще из разряда этих чрезвычайно распространенных легенд — я, даже пока не присевший, все еще со шляпой в руке и со шпагой на боку, ожидал, когда она иссякнет, чтобы, положив на стол несколько мелких монет «за беспокойство», выбраться отсюда да идти своей дорогой. Однако прежде чем успел я привести замысел в исполнение, снова отворилась дверь, и в комнату — нет, не вошел, не вступил, не шагнул, но в точнейшем соответствии с ремарками старинных пьес: «явление одиннадцатое; те же и...», — ибо иначе никак не определить ни само деяние, ни деятеля — свершил свое явление сутенер.

Он еще с порога необыкновенно звучно и забористо помянул Господа Иисуса и непорочно зачавшую мать его в душу через семь гробов и прочее.

Это был испанец, всей наружностью своей, повадками и грозными ухватками желавший являть собой забубенного рубаку, хоть касательства к военному делу не имел ни малейшего, а турка или еретика-лютеранина видел в последний раз опять же на театре. Хват, удалец, ухорез, он словно сошел со страниц плутовского романа, не позабыв прихватить даже легкий андалузский выговор, или сию минуту перенесся сюда с Апельсинового Двора в Севилье. Все как полагается: неизбежные усищи крючком, без которых такому забияке и горлодеру — никуда, ну, как водится, походочка с развальцем и враскачку, ноги врастопыр, ну, конечно, одна рука уперта в бок, другая лежит на эфесе шпаги, а та в отличие от лба своего владельца — семи пядей, не меньше, в длину. Надо ли добавлять, что все «г» звучали у него как «х» — неоспоримая примета, несомненный признак такой крутальной брутизны... тьфу, наоборот! — что дальше некуда. Короче говоря, точный слепок, верный оттиск с классического сутенера, который примазался к такому вот борделю, тратит то, что в поте лица своего зарабатывают подопечные ему девки, карает их оплеухами, если не сумели привадить гостя, фанфаронит и бахвалится на всех углах, сулясь раскатать всякого, кто под руку попадется, и рассказывая, как дрался со стражниками и как ни словечка не вытянули у него на допросах ни дыба, ни кобыла. Словом, мужчинище до мозга костей, до кончиков ногтей, любимец товарищей, за честь почитающих приветить его и угостить, гроза притонов, краса и гордость преступного сообщества. Что тут еще скажешь? Да ничего не скажешь.

— Это что же такое ты устраиваешь?! — сотрясая стены оглушительными раскатами голоса и устрашающе супя брови, загремел он. — Сколько раз ховорено было — не сметь никого сюда водить?!

И в продолжение изрядного времени ораторствовал, как с амвона, в том духе, что, мол, какую же трепку задаст он проклятой твари, как разукрасит и изуродует, живого места не оставит, ибо такого бесчестия не потерпит и алжирский раб, а уж он со своей непоседой, что в ножнах так, ехоза, и ерзает — и подавно не снесет, и лучше не выводить его из себя, ибо — порукой тому жизнь короля и плоть Христова! — как распалится, ему все едино — двое перед ним или двести, и весь фасад-то он потаскухе этой андреевскими крестами распишет и зубы-то все пересчитает, чтоб знала — такие, как он, шашней у себя за спиной не простят, а когда злоупотребят его доверием да налево сбехают, он — опять же — такой порухи чести своей не допустит, и будь он проклят ныне и присно, если окажется у него кишка тонка располосовать любого, в лоскуты порвать, таких дыр понаделать, что ни один хирург в починку не примет. В чем клянется Отцом Предвечным и той, что Его на свет произвела. И так далее.

Покуда это ходячее зерцало доблести пустословило, исполняя свою роль, я, оправясь от первоначальной оторопи, оставался где был — шляпа в руке, шпага в ножнах — и благоразумно помалкивал, лишь, отступив немного к стене, дожидался, когда же дело дойдет до дела. Заметив при этом, что едва ли не на горячем пойманная, чуть не с поличным взятая прелюбодея, доказывая, что назубок выучила и мелодию, и слова, повела свою партию: приняла вид оробелый и горестный, с выражением живейшей скорби заломив руки, с неподдельным жаром начала разом и каяться, и клясться в совершенной непорочности и голубиной своей чистоте, покуда тот, к кому обращены были ее уверения, время от времени отвешивал ей оплеуху, после чего вновь упирал карающую десницу в бок. Все это — как бы до поры и не замечая меня.

— Ну, короче, так, ваша милость, — обратился он наконец ко мне, а заодно и к сути вопроса. — Надо нам с этим делом чего-то решать... Не то худо будет.

По-прежнему пребывая в задумчивой и безмолвной неподвижности, я рассматривал его и размышлял о том, как поступил бы капитан Алатристе, окажись он на моем месте. И вот, услышав долгожданные слова «решать» и «худо», отлип от стены и ответил на них ударом столь стремительным, что в зазор меж тем, как я выхватил шпагу, и тем, как пустил ее в ход, даже скороговоркой не удалось бы пропихнуть ни единого «Господи, помилуй». Дальнейшее я видел неотчетливо и боковым зрением — удальца, повалившегося наземь с рассеченной повыше уха головой, милку его, с испуганным воплем кинувшуюся ему на помощь, замелькавшие у меня под ногами, перемахиваемые по четыре за раз ступени — те, что вели вниз, и те, что выводили на Санта-Лючию, — по которым, рискуя сломать себе шею, скатился я во тьме и понесся прочь, ибо не для спасения ли в час опасности дано человеку неотъемлемое от юности проворство? Ибо как гласит старинная поговорка: «Крепкие ноги лучше крепкой молитвы».

## VIII. Остерия в Чоррильо

Капитан Алонсо де Контрерас, сложив ладони ковшиком, зачерпнул воды из фонтана. Потом, утерев буйные усы рукавом колета, взглянул туда, где над оконечностью бухты восходил к низким облакам курящийся над кратером Везувия дымок. Капитан с наслаждением вдохнул солоноватый свежий воздух гавани, где рядом с двумя папскими галерами и круглым французским парусником ошвартовался и его готовый к выходу фрегат. Диего Алатристе тоже утолил жажду, и вслед за тем оба двинулись дальше — к внушительным черным башням Кастильнуово. Полуденное солнце и задувавший с моря бриз уже успели высушить у них под ногами лужи крови на каменных плитах пирса — туда на рассвете вывели восьмерых связанных морисков-корсаров с галер, захваченных пять дней назад у мыса Колумнас, и там же изрубили их в куски.

— Чертовски не хочется покидать Неаполь, — вздохнул Контрерас. — Пантелария слишком мала, на Сицилии вице-король дохнуть не дает... Только здесь я чувствую себя свободным и даже как будто молодею... Нет, правда — этот город любого встряхнет. Как по-твоему?

— Да. Конечно. А впрочем тряси, не тряси — прожитого не стряхнуть.

— Ха-ха-ха! Верно, клянусь пятью язвами Господа нашего! Твоя правда! Годы летят, как на почтовых... Кстати, о почте... Я только что получил письмо от Лопе де Веги. Наш с тобой крестник Лопито к концу лета должен быть в Неаполе. Несчастный малый, а? И бедняжка Лаурита... Всего полгода довелось им миловаться... Проклятая горячка свела ее в могилу... Нет, но в самом деле — как время мчится! Кажется, только вчера устраивали мы ее дядюшке кошачий концерт — а уж целый год минул.

Алатристе рассеянно кивнул, не сводя глаз с бурых кровяных потеков, тянувшихся от мола до здания таможни на углу улицы Адуана. Те, из чьих тел вытекла эта кровь, сначала сошли на берег вместе с остальными алжирскими корсарами общим числом 27 человек: все они были мориски и, пока не попались, долго разбойничали у берегов Калабрии и Сицилии, где, однажды захватив среди прочих неаполитанский корабль, шедший, естественно, под испанским флагом, вырезали поголовно весь экипаж — от капитана до юнги. Вдовы и сироты погибших собрались на пирсе вместе с довольно многочисленной толпой местных жителей, как обычно явившихся встречать галеры, — и при виде пленных общая ярость достигла такого неистовства, что после краткого совещания с епископом вице-король принял следующее решение: те, кто пожелает умереть по-христиански, будут человеколюбиво и достойно повешены через три дня, но тех, кто откажется примириться и обратиться в истинную веру, отдадут на растерзание толпе, громкими криками требующей свершить правосудие на месте и немедленно. Восьмеро морисков — все были уроженцами арагонского местечка Вильяфеличе — заявили встречавшим их клирикам, что пребудут и в смертный час верны Магомету, после чего первыми на них с камнями и палками набросились уличные и припортовые мальчишки. Изуродованные останки корсаров, сперва вывешенные на фонарях пристани и на башне Сан-Висенте, были затем под неистовое ликование народа сожжены на другом причале, в Маринеле.

— Готовится новое вторжение в Левант, — сказал Контрерас, будто выдавая военную тайну. — Я это знаю потому, что у меня затребовали моего штурмана Горгоса, а еще потому, что несколько дней кряду штудируют мою знаменитую «Всеобщую Лоцию», где все подходы к побережьям разобраны буквально по косточкам. С одной стороны, лестно, с другой — бесит... Уж сколько лет прошло, как принц Филиберто попросил разрешения скопировать мой труд, а отдать все никак не удосужится. А назад потребуешь, так эти кровососы в черном бархате начинают вола вертеть, финтить и отнекиваться... Дьявол бы их забрал, тараканов!

— Галеры пойдут или галеоны? — осведомился Алатристе.

Контрерас, тяжким вздохом указав на неодолимость сил, лишивших его «Лоции», ответил:

— Галеры. Наши и орденские, насколько я понял. И «Мулатка» будет в их числе. Так что открываем новую морскую кампанию.

— Долгую?

— Не очень. Месяц или два. Может, до самого Константинополя дойдем... Тамошние проливы, насколько я знаю, твоей милости хорошо знакомы...

В ответ на широкую улыбку друга Алатристе скорчил гримасу. Меж тем оба уже оставили позади пристань и входили на эспланаду между улицей Адуана и мощными стенами Кастильнуово. В последний раз Алатристе был у Дарданелл в шестьсот тринадцатом году, когда на траверзе мыса Троя турки взяли его галеру, завалив ее трупами чуть не до самых мачт, а сам он, тяжело раненный в ногу, вместе с другими выжившими был освобожден, когда турецкий парусник в свою очередь нарвался на испанцев и попал в плен.

— А кто еще идет, знаешь?

С этими словами он притронулся рукой к полю шляпы, приветствуя знакомых — трех аркебузиров и мушкетера, стоявших на валу форта. Контрерас сделал то же.

— Мачин де Горостьола рассказал мне, что намереваются отправить три наших галеры и две мальтийских. Мачин со своими бискайцами тоже отряжен, потому и знает подробности.

Они уже дошли до эспланады, по которой в сторону площади перед дворцом Сантьяго-де-лос-Эспаньолес еще катили кареты, рысили верховые и шагали пешие — народ возвращался оттуда, где сожгли морисков, очень оживленно обсуждая перипетии расправы. Десяток мальчишек промаршировал мимо, полоща в воздухе окровавленную и рваную чалму, вздетую на манер знамени на палку от метлы.

— «Мулатку» усилят, — продолжал Контрерас. — Думаю, придадут вам Фернандо Лабахоса с двадцатью аркебузирами из вашей роты — служат давно, все народ закаленный, обстрелянный...

Алатристе, которому эти слова явно пришлись по нраву, кивнул. Прапорщик Лабахос из роты капитана Арменты де Медрано был человек умелый и храбрый, досконально знал все галерные тонкости. Что же касается капитана Мачина де Горостьола, то его рота целиком состояла из уроженцев Бискайи, славившихся неукротимой свирепостью и отвагой в бою. Все это означало, что дело затевается серьезное.

— Мне подходит, — сказал Алатристе.

— И парня возьмешь?

— Скорей всего.

Контрерас дернул левым усом и с печалью в голосе сказал:

— Все бы на свете я отдал, чтобы с вами отправиться... Тоскую, знаешь ли, друг мой, по былым временам, давним и славным... Когда турки боялись нас, как чумы. Когда мы ходили по колено в серебре. Господь свидетель, все на свете, включая Пантеларию и даже комедию, куда вставил меня Лопе, я отдал бы, чтобы мне вновь стало тридцать! Эх, где оно, невозвратное золотое времечко великого Осуны!..

При упоминании несчастного герцога оба приятеля нахмурились, примолкли и уже не размыкали уста, пока не дошли до улицы Карнисериас, за которой начинались сады, примыкавшие ко дворцу вице-короля. Под началом герцога Осуны — дона Педро Тельеса Хирона — Алатристе воевал во Фландрии, в ту пору, когда осаждали Остенде. Позднее, уже в царствование Филиппа Третьего, герцог, сделавшийся вице-королем Сицилии и Неаполя, стал грозой морей, омывающих Италию и Левант, наводил ужас на турок, венецианцев и берберов. Наделенный нравом беспокойным, сумасбродным и взбалмошным, он, однако, проявил себя дельным и рачительным правителем и взысканным милостями фортуны военачальником, неизменно добивавшимся успеха во всех своих бесчисленных начинаниях; был жаден до славы и добычи, которую, впрочем, едва заполучив, буквально расшвыривал направо и налево, умел окружить себя самыми лучшими солдатами и мореходами, снискал богатство многим при дворе, включая и его величество. Однако, подобно тому, как всегда это бывает и спокон веку повелось, слишком уж стремительно взошла, слишком ослепительно сияла его звезда: это не могло не породить зависть и злобу, а уж за ними после кончины покровительствовавшего ему короля естественным порядком пришли опала, падение и тюрьма. Отданный под суд, который тянулся нескончаемо долго, великий герцог Осуна, отказывавшийся защищать себя, ибо, по его мнению, лучшими свидетельствами его невиновности были его громкие дела, удрученный несправедливостью, сломленный недугами, окончил свои дни в темнице под громкие рукоплескания всех ненавистников нашей Испании, и в первую очередь — турков, венецианцев и савойцев, которых громил в ту пору, когда черные флаги с его герцогским гербом победоносно реяли над всем Средиземноморьем. Последние слова дона Педро были: «Служи я Царю Небесному столь же ревностно, как земным владыкам, мог бы почесть себя добрым христианином». Ближайший его друг, дон Франсиско де Кеведо, чье знакомство с Диего Алатристе началось как раз в Неаполе, один из немногих, кто и в час падения и несчастья сохранил верность Осуне, почтил память покойного несколькими сонетами — едва ли не лучшими из всех, что когда-либо выходили из-под его пера:

Осуна! О, потеря для Державы!

Заставивший Фортуну подчиниться,

В Испании снискал он смерть в темнице.

И подвиг — не помеха для расправы...[[23]](#footnote-23)

Так начинается один. А другой доходчивее иного исторического трактата рассказывает, как именно мелочная отчизна дона Педро Хирона воздала ему должное, как расплатилась со своим великим сыном неправедным приговором и тюрьмой, где тому и суждено было окончить дни.

— Да, кстати! — спохватился Контрерас. — Совсем забыл! Есть кое-какие сведения о твоем юном спутнике.

Алатристе, остановившись, удивленно спросил:

— Об Иньиго?

— О нем самом. Только, боюсь, они тебя не порадуют.

И с этими словами Контрерас ввел Алатристе в курс дела. Мир вообще тесен, а уж в Неаполе — особенно: его знакомцу из числа блюстителей законности и правопорядка довелось допрашивать по совсем другому делу одного сукиного сына, промышлявшего в квартале Чоррильо. Тот обнаружил склонность отнюдь не к запорам, а скорей к поносам, то есть запираться не стал, а понес без передышки на всех и вся и донес, в частности, что некий шулер, на котором и вовсе пробы негде ставить, флорентинец родом, завсегдатай тех же злачных мест, подрядил нескольких головорезов, якобы поручив им взыскать натурой, то бишь пролитой кровью, пропоротой плотью, карточный должок, так и не отданный двумя молодыми испанскими солдатами, проигравшимися в притоне на площади Ольмо: удалось установить, что один из них проживает в Испанском квартале, в остерии Аны де Осорио.

— Ты совершенно уверен, капитан, что речь об Иньиго?

— Я совершенно уверен, капитан, лишь в том, что в один прекрасный день лицом к лицу встречусь с Создателем... Словесный портрет и адрес, однако, подходят твоему парнишке, как перчатка на руку.

Помрачневший Алатристе провел двумя пальцами по усам, бессознательным движением опустил руку на эфес.

— Ты сказал — он тоже бродит по Чоррильо?

— Да. По всему выходит, шулер регулярно наведывается в тамошние бордели, тоску разгоняет.

— А имя-то его твой подопечный вызнал?

— Некий Колапьетра. Джакомо Колапьетра. Жулик и плут, каких мало.

Дальше шли молча. Алатристе хмурил брови под полем шляпы, затенявшей его ледяные зеленоватые глаза. Сделав несколько шагов, Контрерас, искоса оглядев спутника, вдруг расхохотался:

— Не поверишь, дружище, до чего жалко, что вечером, как только ветер установится, надо сниматься с якоря! Или я совсем тебя не знаю, или в Чоррильо на днях будет совсем не скучно!

Нескучно было и в нашей комнате под вечер: я был совсем готов отправиться на гулянку, когда отворилась дверь и вошел капитан Алатристе, неся под мышкой ковригу хлеба, а в руке — оплетенную бутылку вина. Я давно уже научился угадывать если не мысли его, то настроение, и по одному тому, как он швырнул на кровать шляпу и рванул пряжку, отстегивая шпагу, понял, что по дороге какая-то муха его укусила — причем больно.

— Уходишь? — спросил он, увидев меня при полном параде.

Я в самом деле принарядился: солдатская рубашка с отложным *валлонским* воротником, тонкого сукна колет поверх зеленого бархатного камзола, купленного на распродаже имущества, оставшегося после гибели на Лампедузе прапорщика Муэласа, штаны пузырями, чулки, башмаки с серебряными пряжками, шляпа с зеленой лентой. Я отвечал в том смысле, что да, мол, собираюсь, Хайме Корреас будет ждать меня в остерии на Виа-Сперанчелья, а посвящать Алатристе в прочие подробности предстоящего нам веселья не стал: оттуда мы намеревались отправиться в игорный дом на улицу Мардонес, где всегда шел отчаянный картеж, а окончить ночь жареным каплуном, вишневым тортом и хорошим вином в заведении «У Португалки», где играла музыка и публика плясала павану и канарио.

— А тут что? — при виде того, как я прячу свой кошелек в *фальтрикеру* [[24]](#footnote-24), спросил капитан.

— Деньги, — отозвался я сухо.

— И много ли припас на вечерок?

— Много ли, мало — это мое дело.

Он подбоченился и долго смотрел на меня, словно переваривая мою дерзость. Сказать по правде, наши денежные дела были не очень хороши. Капитановых средств в обрез хватало, чтобы платить за жилье да помогать новобранцу Гурриато, еще ни разу не получавшему жалованья — у мавра, кроме серег, иного серебра не было: впрочем, он имел право на койку в казарме и довольствие, именуемое «котловым». Что касается моих капиталов, состоянием коих Алатристе никогда не интересовался, то гулянки выдоили меня почти досуха, и я понимал, что если в самое ближайшее время не сорву куш в игре, останусь вообще ни с чем.

— А то, что тебя могут приколоть на углу, — тоже твое дело?

Я как раз в этот миг протянул руку за шпагой и кинжалом, и рука моя так и застыла в воздухе. Слишком много лет провел я рядом с Алатристе, чтобы не различать оттенки его интонаций.

— Насчет «приколоть», капитан, — это вы вообще или имеете в виду что-либо определенное?

Он ответил не сразу. Откупорил бутылку, на три пальца наполнил стакан вином. Отпил немного, поглядел на свет, проверяя, не подсунул ли кабатчик чего-нибудь непотребного, убедился, что не подсунул, и снова сделал глоток.

— Человеку можно выпустить кишки за то и за это, и возразить тут будет нечего... Но отдавать жизнь за неуплаченный карточный долг — стыдно. — Он говорил спокойно и с расстановкой, поглядывая на вино в стакане, а когда я попытался возразить — поднял руку, заграждая мне уста, и докончил: — Это недостойно порядочного человека и солдата.

— У меня нет долгов.

— А вот мне сказали — есть.

— Тот, кто вам это сказал, — воскликнул я вне себя, — лжет, как Иуда!

— Тогда в чем дело?

— О каком деле вы толкуете, капитан?

— Расскажи-ка, за что тебя хотят убить.

Мое удивление, проступившее, судя по всему, на поверхность, было самым что ни на есть неподдельным:

— Меня? Кто?

— Некий Джакомо Колапьетра, родом из Флоренции, а по роду занятий — шулер, часто бывает в Чоррильо и на площади Ольмо... Сейчас он подрядил убийц. По твою душу.

Я в растерянности прошелся по комнате. Вдруг почувствовал, как от такой нежданной новости меня будто обдало жаром.

— Это не долг, — произнес наконец. — У меня долгов нет и никогда не было.

— А что же тогда? Объяснись, — повторил он.

И я в немногих словах объяснил, что мы с Хайме Корреасом в самый разгар игры пообломали шулеру рога, заметив мухлеж, забрали наш мнимый проигрыш и ушли.

— Я ведь не ребенок, капитан...

Он оглядел меня сверху донизу. От моего рассказа ситуация, похоже, не сделалась в его глазах более отрадной. Мой бывший хозяин не был, как известно, врагом бутылки, но никто и никогда не видел его за картами. Он презирал тех, кто доверяет слепому случаю деньги, за которые человеку его ремесла приходится отнимать чужую жизнь, ставя при этом на кон собственную.

— Не ребенок, но еще и не взрослый, насколько я вижу...

Я взбесился — в очередной раз.

— Не каждый может произнести такое. И не от каждого я это стерплю.

— Я — могу. — И с этими словами обратил ко мне взгляд, где тепла было примерно столько же, сколько в промерзшей фламандской земле, похрустывавшей когда-то под нашими сапогами. И после свинцово-тяжкой паузы добавил: — От меня — стерпишь.

Это была не ответная реплика, а приказ. В поисках достойной отповеди и стараясь не уронить себя, я взглянул на свое оружие, будто взывая к нему. Как и шпага самого Алатристе, и лезвия, и чашки, и кольца были в царапинах и вмятинах от чужих клинков. Да и на шкуре у меня тоже имелось сколько-то рубцов — поменьше, конечно, чем у капитана, но все же.

— Я убил...

«...Нескольких человек», — хотел добавить я, но сдержался. Причем не сам — стыд удержал меня, заставил осечься на полуслове. Это прозвучало бы типичнейшим кабацким бахвальством.

— Ты один, что ли, такой?

От встопорщившей ус насмешливо-пренебрежительной гримасы Алатристе меня в очередной раз взорвало:

— Я солдат.

— «Я солдат» говорит про себя любой прощелыга. По тавернам, веселым домам и прочим притонам их — как клопов недавленых.

Его слова возмутили меня чуть не до слез. Потому что были, во-первых, несправедливы, а во-вторых, жестоки. Человек, произнесший их, видел меня и у мадридского «Приюта духов», и на Руйтерской мельнице, и в Терхейдене, и на борту «Никлаасбергена», и еще в двадцати местах.

— Вашей ли милости не знать, что я не из этих? — пробурчал я.

Он склонил голову набок и уставился в пол, словно раздумывая, не слишком ли далеко зашел. Затем резко поднес стакан ко рту, хлебнул и произнес:

— Человек, не замечающий своего сходства с другими, рискует впасть в заблуждение. Ты еще не тот, кем представляешь себя... Не тот, кем должен стать...

Это высказывание меня окончательно добило. В полном расстройстве чувств я повернулся к нему спиной, опоясался ремнем со шпагой и кинжалом, нахлобучил шляпу и двинулся к двери.

— ...не тот, каким бы я хотел тебя видеть, — неумолимо договорил капитан. — И не тот, кто понравился бы твоему отцу.

Я замер на пороге. И внезапно, по неведомой причине почувствовал себя выше Алатристе да и вообще всего и вся.

— Мой отец... — эхом откликнулся я и, обернувшись, показал на бутылку, украшавшую стол. — Мой отец, по крайней мере, умер вовремя — и избавил меня от удовольствия видеть, как он спьяну ловит лисиц за уши, а волков за хвост.

Капитан сделал ко мне шаг. Один-единственный. И лицо у него при этом было — ой-ой. С таким лицом идут убивать. Я ждал его не дрогнув, не отводя глаз. Но он остался стоять, где стоял, и только смотрел на меня — очень пристально. Тогда я повернулся, вышел и медленно притворил за собой дверь.

А утром, пока он был в карауле на Кастильнуово, прихватил свои пожитки и перебрался в казарму на Монте-Кальварио.

###### \* \* \*

От дона Франсиско де Кеведо

дону Диего Алатристе-и-Тенорьо,

рота капитана Арменты де Медрано,

Неаполитанская бригада королевской пехоты

Дражайший друг!

Я по-прежнему пребываю при дворе, продолжая пользоваться благоволением вельмож и сочувственным вниманием дам, меж тем как время проходит, хоть и неумолимо, но, к сожалению, не бесследно, и мне с каждым днем все труднее становится ковылять и шкандыбать на больных моих ногах. Огорчительно и то, что Генеральным Инквизитором назначен все же кардинал Сапата, которому мой старинный недруг падре Пинеда давно уже напел в уши о необходимости включить мои творения в Индекс запрещенных книг. Надеюсь, Господь не попустит.

Наш государь, как и прежде, — в добром здравии и совершенствуется в благородном искусстве охоты (и на красного зверя, и на прекрасную половину рода человеческого, ибо Вам ли не знать, что в преследовании дичи он не ведает приличий и стреляет куропаток столь же рьяно, как строит куры) сообразно своему цветущему возрасту, меж тем как граф-герцог с каждой новой эскападой нашего новоявленного Немврода обретает все большее могущество, так что все происходит ко всеобщему удовольствию. Однако солнце греет своими лучами не только венценосцев, но и простых смертных: моя престарелая тетушка Маргарида собралась переселиться в лучший мир, и я буду крайне обескуражен, если по духовной не отжалеет мне, сотворив благо, известную толику своего состояния, могущую поправить плачевное состояние моего. Во всем прочем после январского банкротства не происходило никаких значительных событий, и государственная казна, как и раньше, — в надежных и загребущих руках прежних достойных личностей, если не считать, понятно, их генуэзских и португальско-иудейских собратьев, к коим наш граф-герцог испытывает непостижимо пылкую привязанность, так что впору кричать не «Мавры высадились!», а «Банкиры присоседились!». Но покуда с завидной регулярностью галеоны привозят нам в трюмах злато-серебро из Индий, в Испании все идет по раз и навсегда заведенному порядку: «Неси-ка мне, голубчик, винца, тунца да куриного птенца!» Всем горюшка мало, никому дела нет.

О фламандских перипетиях ничего сообщать не стану, ибо Вы, пребывая в Неаполе, среди соратников по бранному ремеслу, располагаете необходимыми сведениями. Ограничусь тем лишь, что скажу: каталанцы, как и прежде, не желают давать королю денег на войну, носясь со своими старинными правами и привилегиями, как некто — с писаной торбой, и иные провидят в этом упорстве дурной знак. Ибо в преддверии новой войны, которая ныне стараниями Ришелье и обитателей Лувра представляется совершенно неизбежной, французы постараются плеснуть маслица в огонь наших междоусобных распрей, поскольку давно и не мной замечено: куда дьявол не дотянется когтем, туда хвост просунет. Относительно же Ваших, любезный друг, передвижений в пространстве, столь обильном виноградниками и плодами их, то я всякий раз, услышав хоть самомалейшее известие оттуда, с удовольствием даю волю своему воображению, представляя, как Вы рубите головы туркам. Пусть же достанутся оттоманам — сталь и свинец, Вам — лавры и добыча, а мне — повод лишний раз выпить за Ваше здоровье.

Памятуя, что книги обладают свойством утешать в скорбях и утишать душевные бури, посылаю Вам для отдохновения посреди бранных трудов Ваших экземпляр моих «Сновидений», на коих едва успела высохнуть типографская краска, ибо они сию минуту были препровождены мне из Барселоны печатником Саперой. Вы можете без опаски дать их для прочтения нашему юному Патроклу, поскольку они, если верить мнению цензора фрая Томаса Роки, не содержат в себе ничего противоречащего установлениям святой нашей католической веры и не идут вразрез с нормами добропорядочности, каковое заключение, надеюсь, повеселит Вас не меньше, чем порадовало меня. От души уповаю, что Иньиго под Вашей защитой пребывает здрав и невредим, Вашим советам следуя, — благоразумен и, покорствуя Вашей власти, — порядлив. Обнимите его за меня и передайте, что, если не переменится благоприятный ветер, дующий в паруса нашей с ним затеи, вступление юного героя в Корпус королевских курьеров можно будет считать делом решенным, и состоится оно немедленно по отбытии необходимого срока службы в рядах королевской пехоты. Порекомендуйте ему не оставлять в небрежении, помимо моих писаний, также и творения Тацита, Гомера и Вергилия, ибо если даже он превзойдет воинской доблестью самого Марса, на крутых тропах мира сего перо иной раз оказывается надежней меча.

Есть у нас и еще кое-какие новости, но они из разряда тех, что не следует доверять бумаге, однако же все идет своим чередом и как должно, и Господь призрит на нас, и мы процветем. Скажу лишь, что востребован оказался опыт, обретенный мною в итальянских делах при великом и толико оплаканном герцоге Осуне. Впрочем, дело это столь деликатное, что требует большой сдержанности в изложении, тем паче что находится лишь в самой начальной стадии. Кроме того, ходят слухи, будто старинный и опасный приятель ваш, переданный Вами в руки правосудия, не был, вопреки утверждениям, умерщвлен в тюрьме, но обменял свою жизнь (говорю с осторожностью, ибо подтверждений этому нет) на важные сведения, затрагивающие интересы короны. Мне неизвестно, в каком состоянии дело сейчас, но, заклинаю Вас, любезный капитан, на улице почаще оглядываться через плечо, дабы столь памятный Вам свист не застал Вас, Боже избави, врасплох.

Мне есть что еще рассказать Вам, но я, пожалуй, отложу до следующего письма. А это завершаю поклоном от Каридад Непрухи, в чье заведение время от времени захаживаю, чтобы почтить Ваше отсутствие кое-чем из кушаний, столь искусно приготовляемых хозяйкой, да запить горечь разлуки кувшином «Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас». Каридад, по-прежнему радующая глаз красотой и статью, предана Вам, любезный капитан, душой — до самой глубины ее — и телом — со всеми потрохами. Шлют Вам привет и ее завсегдатаи — преподобный Перес, лиценциат Кальсонес, аптекарь Фадрике и Хуан Вигонь, недавно ставший дедом. Мартин Салданья, который почти год колебался, отправиться ли ему в селения праведных или еще побыть с нами, наконец залечил рану, нанесенную Вами на Растро, и как ни в чем не бывало разгуливает по Мадриду со своим жезлом лейтенанта альгвазилов. Графа де Гуадальмедина я время от времени видаю во дворце, но о Вас он говорить избегает. Передают наверное, что он отправится послом в Англию или во Францию.

Будьте осторожны, дорогой капитан, будьте осмотрительны да присматривайте за мальчуганом, дабы смог он наслаждаться долгой и благополучной жизнью.

От всей души крепко и дружески обнимаю Вас,

Ваш неизменно —

Франсиско де Кеведо.

###### \* \* \*

Ближе к вечеру Чоррильо, как всегда, оживился. Диего Алатристе пересекал изогнутую луком маленькую площадь, разглядывая посетителей таверн, в изобилии расположенных вокруг того знаменитого заведения, по имени которого назывался и весь квартал. Слово «Чоррильо», навевавшее на капитана столько воспоминаний, было переиначенным на испанский лад названием остерии Серрильо, примостившейся под бочком у церкви Санта-Мария-ла-Нуэва и еще с прошлого века снискавшей себе славу хорошим вином, отличной кухней и веселыми завсегдатаями. С легендарных времен битвы при Павии и разграбления Рима облюбовали его себе служивые и те, кто еще только собирался вступить в службу или, по крайней мере, громогласно об этом заявлял, и среди этой публики в изрядном количестве представлены были разнообразные плуты, проходимцы и пройдохи, вкупе с многообразным племенем фанфаронов — так что само название остерии сделалось нарицательным: *«чоррильеро»* в Неаполе, да и не только там, называли испанского солдата или того, кто тщился выдать себя за такового, стремясь костьми не за державу лечь, но в игральном стаканчике потрясти, живот не на алтарь отечества положить, но набить потуже, кто, картечи предпочитая картеж, пики видал лишь в колоде, а не в боевом строю, опрокинуть норовил не турка, но чарку, кто не лютеранам лютость свою выказывал, а каплунам да колбасам, кто не гло́тки еретикам резал, а глотки́ без счета пропускал и, хоть до дна бывала им испита чаша, но — не испытаний.

...Алатристе, не задерживаясь, кивнул нескольким знакомым. День был погожий и теплый, но поверх колета капитан надел короткий суконный плащ неопределенного цвета, призванный скрыть заткнутый сзади за пояс пистолет. В этот час и с учетом его намерений предосторожность была не лишней, хотя пистолет, в сущности, смотрелся бы здесь совершенно уместно и никак не выглядел бы лишним на фоне зверских рож, уже замелькавших на площади. До захода солнца оставалось еще часа два, и в это время как раз подтягивалась сюда ежедневно всякая шваль — удальцы-сутенеры, завсегдатаи муниципальной тюрьмы Викариа или военной — Сантьяго, которые утро имели обыкновение проводить на паперти Санта-Марии-ла-Нуэва, разглядывая женщин, идущих к мессе, а вечер и ночь — на недосягаемой для властей территории харчевен и кабаков, где обсуждали условия набора и вербовки и где, давая высунуться капитан-генералу, живущему в душе каждого испанца, рассуждали о стратегии и тактике, объясняли, почему должна была быть выиграна такая битва и начисто продута — такая. Почти все они были земляками Алатристе, с полком или в поисках лучшей доли попадавшими в Неаполь, причем перемена места весьма благотворно влияла на древность рода, и те, кто на родине так и оставался бы по примеру пращуров сапожником, здесь оказывался чуть что не грандом — в точности как их соотечественницы легкого поведения, которые, обретая здесь самое что ни на есть благородное происхождение, откликались исключительно на «Мендосу» или «Гусман», так что, следуя этому примеру, даже их итальянские товарки требовали, чтобы к ним обращались не иначе как «сеньора». Благодаря всему этому и привилось в итальянском языке словечко *«спаньолата»*, коим обозначали безудержную страсть к спесивому бахвальству и фанфаронству.

В Кордове да и в Севилье

У меня именья были,

Пращуры мои на деле

Всей Кастилией владели.

Не было здесь недостатка и в уроженцах сего благословенного края, равно как и в жителях Сицилии, Сардинии и прочих итальянских областей. Одни срезали кошельки, другие чеканили фальшивую монету, третьи вели нечистую игру, в изобилии представлены были грабители, дезертиры, мошенники — и весь этот сброд кишмя кишел в Мониподио и оглашал своды его божбой, богохульствами и бранью. Славное имя «Чоррильо» в Неаполе для понимающих людей означало то же, что «Потро» в Кордобе, «Ла Сапиенца» — в Риме или «Риальто» — в Венеции.

Миновав сие почтенное место и оставив позади остерию, Алатристе свернул за угол и стал подниматься по ступенчатой улочке Скалонес-де-ла-Пьяцетта — крутой и столь узкой, что двоим мужчинам при шпагах нипочем было бы на ней не разминуться. Из полуоткрытых дверей харчевен, откуда долетали разноязыкий гомон и пьяные песни, несло винной кислятиной, мочой и еще какой-то дрянью. И когда капитан, добравшись почти что до самого верху, сделал шаг в сторону, чтобы не вступить ногой во что не надо, он невольно загородил путь двоим солдатам, попавшимся навстречу. Оба одеты были на испанский манер, но безо всяких роскошеств — шляпы, шпаги, сапоги.

— Смотри, куда прешь, раззява. Чтоб тебе провалиться! — по-испански же и весьма неприветливо буркнул один, намереваясь тотчас проследовать дальше.

Алатристе медленно, с задумчивым видом, провел двумя пальцами по усам. Оба встречных были, без сомнения, люди военные. Тот, кто нагрубил ему, приземистый и смуглый, говорил с галисийским акцентом, перчатки его стоили немало, а колет был хоть и скромен, но изысканного кроя и хорошего сукна. Второй, высокий и сухопарый, имел вид меланхолический. Оба носили на очень чисто выбритых лицах усы, а на голове — шляпы с перьями.

— Провалиться? С удовольствием, — ответствовал Алатристе очень учтиво, — но только вместе с вами, если, конечно, вы уделите мне время.

Оба остановились.

— Вместе с нами? Это еще зачем? — резко и сухо бросил первый.

Алатристе пожал плечами, всем видом своим показывая, что ответ, подразумевающийся как бы сам собой, дан и другого не будет. Репутация, черт ее дери, куда ж денешься?

— Как зачем? Обсудить некоторые фехтовальные тонкости. Ну, там парад, рипост, терцию и прочее, сами знаете...

Произнося все это, он видел, что оба встреченных разглядывают его, и от их внимания наверняка не укрылись ни длинная толедская шпага на бедре, ни эфес кинжала, выглядывающий сбоку — рука его словно бы по рассеянности легла на него, — ни шрамы на физиономии. Закрытый плащом пистолет они видеть не могли, но от этого он не переставал оттягивать пояс сзади. Алатристе вздохнул. Эта встреча была не предусмотрена, однако куда ж денешься. Ничего не попишешь. Что касается пистолета, надо надеяться, что можно будет обойтись без него. Будучи из тех, кому по душе больше ошарашивать, нежели ошарашенным быть, он прихватил его для другого случая.

— Мой друг не в духе, — примирительно проговорил высокий солдат. — Вышла у нас тут одна неприятность...

— Что там вошло, что вышло, никого не касается! — огрызнулся приземистый.

— Глубоко сожалею, но должен заметить вам, сударь, — невозмутимо сказал Алатристе, — что если не перемените тон, неприятностей станет две. И не тут, а здесь.

— Послеживайте за языком, ваша милость, — без запинки отозвался высокий. — И не обольщайтесь тем, как одет мой спутник. Узнаете, как его зовут, — обомлеете.

Алатристе, который не спускал глаз с приземистого, снова дернул плечом:

— Чтобы впредь не было конфуза, одевайтесь сообразно званию и зовитесь сообразно одежде.

Те двое переглянулись, как бы в нерешительности, и Алатристе на несколько дюймов отодвинул руку от кинжала. Он уже убедился, что оба ведут себя как порядочные люди. Не похожи на тех, кто выскакивает из-за угла или убивает в спину. Да и на тех, кто выстраивается в очередь к полковому казначею, чтобы в выплатной день получить свои четыре эскудо жалованья, — тоже. Под солдатской одеждой скрывались люди непростые: чисто мыты, гладко бриты, не развязны, по всему судя — состоят в свите и при особе какого-нибудь вельможи или генерала, отпрыски хороших фамилий, решившие для придания себе дополнительного блеска послужить несколько в армии. И во Фландрии, и здесь, в Италии, таких полно. Интересно бы знать, что за неприятность так испортила настроение этому коротышке-крепышу. Женщина, надо думать. Или карта не пошла. А впрочем, что бы там ни было, значения не имеет — нечего свои досады срывать на других.

— Тем более что, — добавил он, предлагая достойный выход из положения, — сейчас я тороплюсь по весьма срочному делу.

Высокого эти слова явно обрадовали.

— А нам через два часа заступать в караул, — с облегчением сказал он.

По выговору его можно было судить, что и он — оттуда, с верхней части полуострова. Скорей всего — из Астурии. И сказано было искренне, а не для уверток. Достойно. Все могло бы тем и кончиться, но его низкорослый товарищ не был настроен так мирно. И он взглянул на Алатристе с туповатым упорством терьера, который, упустив лису, кидается на волка:

— Времени достаточно.

Алатристе снова разгладил усы. Сцепиться с одним из них, а то и с обоими — дело не пустяковое и могло выйти ему боком. Он предпочел бы покончить его миром, но это было уже совсем не так просто. Задетая честь всех троих сильно все осложняла. И упрямство маленького стало теперь раздражать его самого.

— Тогда не будем тратить слов, — сказал он решительно.

— Прошу вас учесть, ваша милость, — все так же учтиво заметил высокий, — что я не оставлю своего друга одного. Вам придется драться и со мной. Потом, разумеется. В том случае, если...

— В самом деле — хватит разговоров! — перебил приземистый, меряя взглядом Алатристе. — Куда мы пойдем? В Пьедегруту?

Капитан глядел на него пристально. Вот теперь ему на самом деле захотелось всадить этому не в меру задорному петушку пядь стали под ребро. И, кровь Христова в том порукой, так оно вскорости и будет. И со вторым тоже задержки не будет — мелким оптом дешевле. Довольно чикаться. По крайней мере, получит с них «за беспокойство»...

— Пуэрта-Реаль ближе, — сделал он встречное предложение. — Там в сторонке есть некая полянка, или, если угодно, лужок, который просто мечтает, чтобы кто-нибудь на него прилег.

Высокий вздохнул, как бы говоря: «Ничего не поделаешь...»

— Этому сеньору нужен секундант. Чтоб потом не говорили, что нас было двое на одного.

Губы Алатристе слегка дрогнули в улыбке. Опять же — ничего не скажешь: резонно. Королевскими эдиктами дуэли в Неаполе были запрещены, а кто этот запрет нарушал, отправлялся либо за решетку, либо на виселицу, если у него не находилось влиятельных заступников. Тем не менее поединки происходили постоянно, но требовали еще более неукоснительного соблюдения правил, особенно если сходились на них люди из общества. Стало быть, рассудил капитан, надо будет одного — вот этого, низенького — убить, а второго оставить в таком виде, чтоб оказался способен рассказать, что все было честь по чести. Впрочем, без секундантов вполне можно приколоть обоих и, как говорится, поминай как звали: «Если где тебя и видел, то, прости, не помню, кто ты».

— Мы уладим этот вопрос по дороге, если вы, сеньоры, соблаговолите обождать минутку. — Он показал вверх, где в самом конце этой улочки был поворот направо. — Мне надо покончить там с одним дельцем.

Оба сначала переглянулись — несколько обескураженно, — а потом кивнули. Алатристе совершенно спокойно повернулся к ним спиной — жизнь давно уж научила его, когда можно это делать, а когда не стоит, — и одолел последние несколько ступеней, слыша за спиной шаги двинувшихся следом испанцев. Спокойные, неторопливые шаги, отметил он про себя с удовлетворением, лишний раз убедясь, что имеет дело с порядочными людьми. Свернув за угол, прошел под аркой — столь же узкой, как и вся эта улочка, — к скудно освещенной таверне. Убедился, что попал именно туда, куда хотел, что шпага и кинжал не запутаются в полах плаща, когда придет им время выскользнуть из ножен, надвинул шляпу и, не обращая больше внимания на своих невольных спутников, переступил порог. Застегнул крючки кожаного нагрудника, поддетого под плащ, ощупал пистолет за поясом. Таверна была из самых захудалых — несколько столов под открытым небом. На земляном полу копошились куры. Посетителей было числом десятка два, видом — итальянцы, родом — проходимцы последнего разбора.

Алатристе, не привлекая к себе внимания, подошел к хозяину, отозвал его к сторонку, оделил серебряной монетой и спросил, где можно найти Джакомо Колапьетру. И через мгновение уже приближался к столу, за которым в компании двух собутыльников, засаленных до степени накрахмаленности, выпивал, одновременно тасуя колоду, неприятный худосочный субъект с накладкой, прикрывающей плешь, с торчащими, как два свясла, усами.

— Не удостоит ли меня ваша милость кратким разговором наедине?

Флорентинец, в эту минуту отделявший королей от валетов, один глаз прижмурил, а другим испытующе оглядел новоприбывшего. Затем пожевал губами и, кивнув на своих спутников, недоверчиво ответил:

— Noscondo niente a mis amichis[[25]](#footnote-25), — дохнув при этом на капитана смрадным перегаром дешевого, безбожно разбавленного вина из тех, которыми бы, как говорится, не досуг скрашивать, а заборы красить. Алатристе краем глаза оценил обоих *амичи*. Итальянцы, без сомнения. *Брави* [[26]](#footnote-26), но не очень, видали мы и не таких. Если даже у обоих под рукой короткие тесаки. У шулера на поясе тоже висела этакая шпилька пяди в полторы длиной.

— Слух прошел, будто вы, сеньор Джакомо, набираете умелых людей для одного деликатного дельца?

— Non bisogno nesuno piu. Буольче мние никого не нуджно...

Усмешка Алатристе стала режущей, как осколок стекла:

— Я, должно быть, плохо объяснил. Дельце свое вы затеваете против одного моего доброго приятеля.

Колапьетра перестал тасовать карты и переглянулся с дружками. Потом внимательнее вгляделся в лицо капитана. Под нафабренными усами мелькнула улыбка.

— А к приятелю этому, юному испанцу, — продолжал как ни в чем не бывало Алатристе, — коего вы решили *заказать*, я весьма привязан.

При этих словах Колапьетра презрительно расхохотался:

— Пошел-ка ты...

И вслед за тем, метнув быстрый взгляд на своих присных, сделал попытку привстать, но продолжалась она ровно столько времени, сколько потребовалось Алатристе, чтобы извлечь из-под плаща пистолет.

— Сели все трое, — медленно и спокойно сказал тот, видя, что мысль его дошла. — Иначе худо будет. *Капичи?* [[27]](#footnote-27)

Вокруг Алатристе и у него за спиной стало очень тихо, но он не сводил глаз с троих мерзавцев, ставших бледными, как восковые свечи.

— Руки на стол. Шпаги — отставьте.

Не оборачиваясь, чтобы никто не усомнился в его решимости, он перебросил пистолет в левую руку, а правой взялся за эфес шпаги — на тот случай, если придется расчищать себе путь к выходу. Едва переступив порог, он рассчитал все это, включая и отступление вниз по улице. Если возникнут осложнения, главное — надо будет добраться до Чоррильо, а там уж непременно встретится кто-то из своих. Он мог бы, конечно, отправляясь в это предприятие, прихватить с собой, скажем, Себастьяна Копонса или мавра Гурриато, который был бы до смерти рад прикрыть ему спину, — но не было бы того эффекта.

— Теперь слушай, каналья.

И, приставив дуло почти вплотную к восковому лбу шулера, выронившего колоду на пол, Алатристе, сам придвинувшись так близко, что едва не щекотал его усами, не повышая голос, точными и недвусмысленными словами изложил в больших подробностях, что именно он сделает с Джакомо Колапьетрой, прихлебателями его и всей родней до седьмого колена, если тот осмелится еще когда-нибудь предъявить претензии к кому-либо из его, капитановых, друзей. И если даже кто-то из них поскользнется на улице и шлепнется на мостовую или, не дай бог, понос его пробьет или четырехдневная лихорадка оттреплет, спрошено будет с флорентинца, и спрошено строго. А ему, Диего Алатристе, имеющему жительство в Испанском квартале, на постоялом дворе Аны де Осорио, нет надобности подряжать кого бы то ни было, чтобы зарезать там кого или приколоть. В числе прочих причин еще и потому, что он сам берет подряды такого рода. *Капичи?*

— И объявляю во всеуслышание: чуть что — и я буду здесь или где-нибудь еще, на каком-нибудь темном углу, чтобы выпустить тебе кишки. Я понятно объясняю?

Шулер — он был явно обескуражен — коротко кивнул. Лицо у него было такое, что поблескивающий на поясе кинжал только подчеркивал его вид, достойный сожаления. Ледяные светлые глаза Алатристе, в упор уставленные на него, завораживали не хуже пистолетного дула: накладка на темени Колапьетры чуть съехала вбок; и обуревавший флорентинца ужас был не только виден, но и ощутим кисловатым влажным запахом, исходившим от него. Капитан поборол искушение ткнуть его в лоб стволом — ни к чему это, наперед никогда не узнаешь, как поведет себя человек.

— Все ясно?

Колапьетра — тише воды — снова кивнул молча. Капитан, немного отстранясь, оглядел двоих других: оба сидели, застыв, как изваяния, с ангельским благонравием сложив руки на столе, и при взгляде на них всякий сказал бы, что они в грешной своей жизни не делали ничего дурного — ну разве что мать ограбили, отца убили, сестер по кривой дорожке пустили. Вслед за тем, не опуская пистолет и не снимая руку с эфеса, в такой тишине, что слышно было, как жужжат мухи и копышутся куры, Алатристе отошел от стола и начал отходить к двери, спиной не поворачиваясь и держа в поле зрения прочих посетителей таверны — те, впрочем, тоже оставались безмолвны и неподвижны. У порога он столкнулся с двумя испанцами, вошедшими следом за ним и наблюдавшими всю сцену, и спохватился, что совсем забыл про поединок.

— Ну, теперь к нашему делу, — сказал Алатристе, словно не замечая их удивленных лиц.

Все трое вышли на улицу при гробовом молчании завсегдатаев. Алатристе, медленно опустив взведенный курок, снова сунул пистолет за пояс под плащ. Сплюнул себе под ноги, всем видом своим являя досаду и угрозу. Холодное бешенство, копившееся в душе с той минуты, как он столкнулся с этими испанцами, перемешалось теперь с недавно пережитым напряжением и настоятельно требовало незамедлительного выхода — что называется, «вынь да положь»: ну, то есть шпагу вынь, противника положь. Пальцы, сжимавшие рукоять шпаги, сводила судорога нетерпения. О, чтоб тебя, пробормотал он чуть слышно, наметанным глазом осматривая будущих противников. Может, и не придется тащиться с ними до Пуэрта-Реаль? Он решил, что при первом же бранном слове или косом взгляде достанет кинжал — для танцев со шпагой тут очень уж узко, не развернешься — и располосует обоих на лоскуты, а там суди его Бог и вице-король со всей своей юстицией.

— Черт меня возьми! — проговорил вдруг высокий.

Он глядел на Диего Алатристе так, словно только сейчас увидел его впервые. И товарищ его — тоже. Тот уже не супил брови, и вместо раздражения на лице его читались задумчивость и с трудом скрываемое любопытство.

— Ты еще настаиваешь?.. — спросил его высокий.

Второй, не отвечая, не сводил глаз с Алатристе, который выдержал этот взгляд и даже нетерпеливо дернул рукой, как бы приглашая его проследовать туда, где их дело можно будет наконец решить. Но тот не двигался с места. Потом, через мгновение, он стянул перчатку с правой руки и, обнаженную, открытую, протянул ее Алатристе.

— Да пусть меня сварят в кипящем масле, как артишок или беглого негра, — произнес он наконец, — если я буду драться с таким человеком.

## IX. Пираты его величества

Турок без боя поднял белый флаг и лег в дрейф. Черный двухмачтовый *купец* с вытянутым корпусом и высокой надстройкой на корме, увидя, что наши пять галер отрезают его разом и от берега и от моря, решил не полагаться на свою быстроходность. Это был уже третий корабль, захваченный нами с тех пор, как мы начали действовать в проливе между островами Тинос и Миконос, являвшем собой весьма оживленный морской путь в Константинополь, Смирну и Хиос. И, едва перескочив на борт *купца*, мы — абордажная команда — сразу поняли, что на этот раз удача нам улыбнулась. С командой, набранной из греков и турок, с грузом масла и вина из Кандии, мыла и кож из Каира вез он и пассажиров — нескольких салоникских евреев в шафраново-желтых тюрбанах и с немалым запасом свежеотчеканенного серебра. В тот день нам больше понадобились не клинки, а ногти, ибо полдня предавались мы вольному грабежу и дележу всего, что подвернулось под руку, и матрос с другой галеры, который, тщась ускользнуть от офицеров, явившихся навести порядок, оступился и полетел в воду с битком набитыми карманами, и потонул-то оттого, что не желал выпустить из рук добычу. *Купец* был собственностью османов, и мы с полным на то основанием и дорогой душой отправили его, как трофей, на Мальту, пересадив на него, чтоб было кому управляться с парусами, нескольких своих, а к веслам приковали, распределив поровну по всем пяти галерам, двоих христиан-вероотступников — в ожидании встречи с инквизицией, восьмерых турок, троих албанцев и пятерых евреев, из коих один, поскольку эта нация по сложению своему не годится для гребного галерного дела, захворал с тоски от бедственного своего положения и неволи да через два дня и помер. Остальных попозже и менее чем за тысячу цехинов выкупили монахи с Патмоса, а вскоре — ну то есть как только им возместили протори и издержки — и освободили. Ибо патмосская братия говорила по-гречески, но деньги высасывала совершенно по-генуэзски.

Оба ренегата волею судьбы попали на «Мулатку». Один, оказавшийся испанцем из Сьюдад-Реаля, дабы жилось повеселее, рассказал нам кое-что интересное, чем я намереваюсь поделиться с вами, господа. Но сперва уведомлю вас, что вся наша компания пребывала в добром здравии и полном благополучии. Вымазавшись до верхушек мачт в смоле, а куда смола не попала — в селитре, отчистив от ракушек и водорослей днище, пополнив припасы и убыль в солдатах, три неаполитанские галеры — «Мулатка», «Каридад Негра» и «Вирхен дель Росарио», — оставивши позади гавани Капри, ушли в двухмесячное плавание по Эгейскому морю вдоль анатолийских берегов, к тамошним островам, где жили под турецким владычеством греки, а потом, соединясь в проливе Сан-Хуан еще с двумя галерами, приписанными к Мальте, — «Крус-де-Родас» и «Сан-Хуан Баутиста», — двинулись под конвоем взаимной защиты к острову Корфу. Там загрузились свежим мясом и водой, пошли, огибая Морею, к венецианским в ту пору Кефалонии и острову, который греки называют Закинфой, итальянцы же — Занте. Потом обогнули остров Сапиенцу, взяли пресной воды в Короне — турки из города ударили по нам из пушек, да не достали — и оттуда, обогнув с востока мыс Сан-Анхель, попали наконец в чистые воды архипелага, синие в заливе, зеленовато-прозрачные — у побережья. С тем, чтобы вновь свершить описанное Велесом де Геварой в «Турецком диве»:

В моря Леванта мы в составе двух флотилий

за Турком дерзостным чуть свет вчера отплыли,

дабы ему сказать: «Ты больше здесь не рыскай!

И духу твоего чтоб не было и близко!»

В том плавании особенные чувства вызывала у меня близость к заливу Лепанто: сойдя на берег, команды наших галер по обычаю отслуживали заупокойные мессы в память тех многочисленных испанцев, что дрались как звери в знаменитом сражении 1571 года, когда наш флот наголову разбил турецкую армаду. Волновали меня эти места и по иной причине, также, впрочем, связанной с именем дона Мигеля: когда проходили мимо Сапиенцы и города Модона, я вспомнил, что встречал это название в рассказе Пленника из первой части «Дон Кихота» в ту пору, когда еще и представить себе не мог, что сделаюсь по примеру Сервантеса солдатом и окажусь в тех же морях и землях, где сражался в оны дни сей великий муж, которому в ту пору было ненамного больше, чем мне сейчас.

Однако я обещал рассказать вам, о чем поведал пленный испанец-вероотступник и о событиях, чьи неведомые еще нам тогда последствия окажут сильное воздействие на нашу дальнейшую судьбу и будут стоить жизни многим храбрецам. Ну, стало быть, ренегат в видах облегчения своей участи и улучшения нынешнего своего положения — а место ему, надо сказать, на гребной палубе отвели самое что ни на есть скверное, приковав к банке у такелажной кладовой, — попросил свести его с капитаном Урдемаласом, чтобы передать, как он выразился, сведения чрезвычайной важности. Приведенный пред его светлые очи, испанец, не обойдясь без обычных в таких случаях сетований на превратности злой судьбы, рассказал и нечто такое, что наш капитан счел правдоподобным и заслуживающим внимания: с острова Родос на Константинополь готовится выйти крупный турецкий парусник с богатыми товарами на борту, а помимо товаров будет там некая женщина, которая — испанец точно не знал, но так слышал — не то уже приходилась супругой или еще какой родственницей самому Великому Турку, султану Блистательной Порты, не то только еще собиралась стать таковой и с этой-то целью отправлялась в путь. И, как мы тотчас узнали — в свальном грехе галеры секреты живут недолго, — этот самый испанец из Сьюдад-Реаля посоветовал капитану Урдемаласу взять за жабры или еще за какое уязвимое место второго вероотступника, прикованного к той же банке, — владельца турецкого корабля, марсельца родом, отрекшегося от своего христианского имени и звавшегося теперь Али-Масилья: у испанца, судя по всему, имелся на него зуб, который он не преминул теперь вонзить.

Сведения о паруснике из Родоса настолько заинтересовали нашего капитана Урдемаласа, что марсельца подвергли допросу с пристрастием. Поначалу он держался молодцом, твердил, что ничего не знает, а что знает, того из него не вытянет ни живой христианин, ни та подохшая паскуда, что родила его, однако стоило лишь нашему корабельному альгвазилу чуть-чуть нажать ему на глазные яблоки, грозя напрочь их выдавить, как Али-Масилья сделался словоохотлив и склонен к сотрудничеству до такой степени, что Урдемалас из опасений, как бы откровения его не стали всеобщим достоянием, приказал свести его в трюм, затворился там с ним в сухарной кладовой, откуда потом вышел, удовлетворенно поглаживая бороду и улыбаясь от уха до уха. В тот же день, ближе к вечеру, пользуясь полнейшим безветрием — море было как масло, — мы легли в дрейф в полулиге к северу от острова Миконос, и капитаны на шлюпках отправились держать военный совет, имевший быть на галере «Каридад Негра» — она считалась флагманской, ибо на ней держал свой флаг внучатый племянник старого графа Бенавенте, дон Агустин Пиментель, которому и поручено было вице-королем Неаполя и великим магистром Мальтийского ордена руководить экспедицией. Помимо дона Агустина, присутствовали Мачин де Горостьола, командовавший его галерой, а также и погруженной на нее пехотой, наш капеллан фрай Франсиско Нисталь и штурман Горгос, уроженец Рагузы, прежде плававший с капитаном Алонсо де Контрерасом и отлично знавший здешние широты. Прибыли также наш дон Мигель де Урдемалас и капитан «Вирхен дель Росарио», обходительный и велеречивый валенсианец Альфонсо Сервера. Мальтийское рыцарство представлено было капитанами соответствующих галер: флагманской «Крус де Родас» — Фулько Мунтанером, родом с Майорки, а «Сан-Хуан Баутиста» — принадлежавшим к французской нации Виваном Бродемоном. И по окончании сего совета, причем еще прежде, чем капитаны успели подняться на борт своих кораблей, уже облетел нашу флотилию отрадный слух, будто с Родоса на Константинополь готова отчалить богатая добыча, так что нам сам Бог велел усладить слух турок боевым кличем «Испания и Сантьяго!», перехватив их где-нибудь на полпути в Дарданеллы. И все мы ликующе загорланили и, перекликаясь с борта на борт, принялись желать друг другу удачи. И еще до наступления темноты, то есть перед вечерней молитвой вышел приказ потешить гребную команду винной порцией, соленым сицилийским сыром и несколькими унциями сала, после чего защелкали от носа до кормы бичи комитов, гребцы, себя не жалея, навалились на весла, и пять галер двинулись навстречу ночной тьме, наползавшей с востока. Было очень похоже на то, как, учуяв поживу, устремляется вперед волчья стая.

Рассвет застал меня на излюбленном моем месте — у штирборта, ближе к корме, где я, по обыкновению, одновременно наблюдал, как встает над горизонтом солнце и как штурман исполняет свой первый за день ритуал, ибо мне уже доводилось упоминать в сем повествовании, сколь завораживали меня все эти магические обряды, когда он, поколдовав над таинственным диском, расчерченным на тридцать две части, или румба, узнавал, что мы не слишком приблизились к опасным прибрежным скалам; когда, вводя корабль в пролив, сверялся со звездой, или, взглянув на стрелку компаса, узнавал, где север, а в полдень, настроив астролябию, определял наше местоположение. Час был очень ранний, и гребная команда спала прямо на банках, благо весла оказались без надобности — были уже поставлены все паруса и под их негромкое щелканье и посвистывание в снастях попутный ветер, у нас именуемый греческим, а у голландцев — зюйд-вестом, креня на правый борт идущее в крутой бейдевинд судно, мчал его заданным курсом. На корабле, впрочем, спали почти все, кроме вахтенных матросов, которые оглядывали горизонт, ожидая появления паруса или земли, и особо внимательно всматривались в точку, откуда вставало солнце, ибо в этом ослепительно сияющем пятне света и могло обнаружиться вражье присутствие. Я же, набросив на плечи одеяло, в которое заворачивался, ложась спать вповалку со всеми — а блох и клопов, скажу вам, кишело в нем столько, что, опусти я его на палубу, уверен, оно бы само поползло по ней, — стоял, опершись о еще влажный от ночной росы фальшборт, глядел, как ходят по небу розовато-оранжевые столбы зари, и спрашивал себя: неужто и сегодня подтвердится правота старинной моряцкой приметы: багровый закат — к погожему утру, багровый восход — днем жди дождя?

Потом оглядел палубу. Капитан Алатристе уже проснулся: я видел издали, как он, прежде чем сложить свое одеяло, встряхнул его, а потом, перегнувшись через борт, зачерпнул бадьей на длинном шкерте морской воды — пресная у нас на галере была на вес золота, — ополоснулся, тщательно вытер лицо тряпицей, чтобы соль не разъедала кожу. Вот он привалился спиной к брюканцу, достал из кармана сухарь, обмакнул его в кружку с вином — они с Себастьяном Копонсом никогда не выпивали свою порцию зараз, но делили пополам — и принялся жевать, уставившись в море. Тут заворочался и спавший поблизости Копонс: поднял голову, привстал — и Алатристе протянул ему кусок сухаря. Арагонец в молчании начал грызть его, свободной рукой выковыривая корки из углов глаз. Мой бывший хозяин поглядел по сторонам и, заметив, что я стою в кормовой части и наблюдаю за ним, отвернулся.

После неапольской, мягко говоря, размолвки мы почти не общались. Душа еще саднила от памятного нам обоим разговора, и мы избегали друг друга, благо я переселился в казарму на Монте-Кальварио, обосновался по соседству с Гурриато-мавром, избегая есть и пить в тех тратториях и остериях, куда захаживал Алатристе. Зато благодаря этим обстоятельствам я сблизился с могатасом, который — но уже не как вольнонаемный гребец, а как солдат, получающий четыре эскудо жалованья в месяц, — оставался в команде нашей «Мулатки», где мы с ним хлебали, можно сказать, из одного котелка и даже успели малость повоевать вместе, когда восточнее острова Милос наткнулись на кораблик с турецко-албанским экипажем и, опасаясь посадить нашу галеру на мель в проливе, подошли к ним на шлюпках и взяли на абордаж. Дело было не слишком громкое и скорее даже из разряда пустяковых, ибо в трюме не обнаружилось ничего путного, кроме необработанных шкур, однако же мы привели и посадили на весла двенадцать пленных, а сами не потеряли никого. В том бою, зная, что капитан Алатристе наблюдает за мной издали, я вскарабкался на борт турецкого корыта одним из первых — мавр следовал за мной — и постарался отличиться и не оплошать, так что не кто иной, как ваш покорный перерезал шкоты, чтоб турки не вздумали уйти, а потом я же прорвался сквозь копья и ятаганы команды — прямо надо сказать, при виде нас державшие их оробели и должного сопротивления не оказали — к судовладельцу и вонзил ему клинок в грудь столь удачно, что душа у него вылетела в тот самый миг, когда он открыл рот, чтобы попросить пощады... ну или мне так показалось. С тем я и воротился на нашу галеру, снискав себе похвалы товарищей, напыжась от гордости, что твой павлин, и краем глаза посматривая на капитана Алатристе.

— Я так думаю, ты должен поговорить с ним, — сказал мне Гурриато.

Он уже проснулся и сейчас сидел рядом — борода всклокочена, лицо и бритая голова жирно блестят от пробившей во сне испарины.

— Зачем? Прощения просить?

— Не-е-а... — еле вымолвил он между зевками. — Я говорю — просто поговорить.

Я рассмеялся довольно злобно.

— Вот пусть сам приходит да разговаривает, если есть о чем.

Гурриато сосредоточенно выковыривал грязь меж пальцев.

— Он дольше тебя прожил и больше понимает. И потому нужен тебе: он знает такое, о чем ни ты, ни я понятия не имеем. *Уах*. Клянусь, это так.

Я снова захохотал — теперь уже с довольным видом. Наглый, как петух в пять утра.

— Ошибаешься, мавр. Он уже не тот, что раньше.

— Раньше? А какой он был раньше?

— Раньше я смотрел на него, как на бога.

Гурриато воззрился на меня со своим обычным любопытством. К числу его особенностей, которые были мне почему-то особенно милы, принадлежало и умение к чему бы то ни было относиться с каким-то упорным интересом — даже к тому, что, на мой взгляд, внимания не заслуживало вовсе. Дело ему было до всего на свете — и из чего состоит зернышко пороха, и как устроено человеческое сердце. Он спрашивал, получал ответ и тотчас оспаривал его, если тот казался ему неполным или сомнительным, и не ведал при этом ни стеснения, ни робости. Сталкиваясь с невежеством или глупостью, мавр ни на миг не терял спокойствия и бесконечного терпения, свойственного человеку, решившему познать все и всех. Жизнь выводит свои письмена на каждой вещи и каждом слове, не раз слышал я от него по разным поводам, и тот, кто сознает свою пользу, старается в молчании прочесть их и постичь. Не правда ли, занятное мировоззрение или умозаключение, особенно — для могатаса, который не умеет ни читать, ни писать, однако знает испанский, турецкий, арабский, не говоря уж про средиземноморскую лингва-франку, и которому хватило нескольких недель в Неаполе, чтобы начать вполне пристойно объясняться по-итальянски?

— А сейчас, значит, он больше не кажется тебе богом?

Гурриато продолжал очень внимательно глядеть на меня. Я, повернувшись лицом к морю, неопределенно развел руками. Первые лучи солнца ударили нам в глаза.

— Сейчас я вижу в нем то, чего не замечал раньше, и не замечаю того, что было.

Он покачал головой, едва ли не оскорбившись. Мавр со своей спокойно-безмятежной покорностью судьбе был единственной ниточкой, связывавшей капитана Алатристе и меня — ну, не считая, понятно, обязанностей по службе. Единственной — потому что грубоватый и незамысловатый арагонец Копонс не обладал душевной тонкостью, нужной для того, чтобы наладить или хотя бы улучшить наши с капитаном отношения, и его неуклюжие попытки помирить нас наталкивались на мое ребяческое упрямство. А вот Гурриато-мавр, хоть был не просвещенней Копонса, неизмеримо превосходил его проницательностью и даром понимания. Он постиг мою душу и проявлял безмерное терпение, а потому умудрялся незаметно и сдержанно оставаться связующим звеном меж капитаном и мною, причем казалось порою, что посредничество это воспринимал как способ уплатить Алатристе — или мне? — часть того долга, который в силу странного устройства своего разума числил за собой со дня памятного набега на становище Уад-Беррух — и будет числить всю жизнь, до самого сражения при Нордлингене.

— Такой человек заслуживает уважения, — вымолвил он наконец, будто подводя итог длительным размышлениям.

— А я, что ли, нет?

— *Элькхадар*, — со всегдашним фатализмом пожал он плечами. — Судьба. Время покажет.

Я стукнул кулаком по лееру.

— Я не вчера родился, мавр! Я такой же мужчина и идальго, как и он!

Гурриато провел ладонью по голому черепу, который он каждый день, смочив морской водой, брил остро отточенным ножом, и пробормотал:

— Ну, разумеется, идальго.

И улыбнулся. Темные, почти по-женски томные глаза засияли не хуже серебряных серег в ушах.

— Бог ослепляет тех, кого хочет погубить.

— Да ну тебя к дьяволу с твоим богом и со всем прочим.

— Иногда мы даем дьяволу то, что у него есть и так.

После чего поднялся, сгреб ветошь и вместо того, чтобы по примеру едва ли не всех остальных облегчиться прямо через борт, направился по куршее на бак, где неподалеку от тарана помещался у нас гальюн. Ибо отличался Гурриато-мавр еще одной особенностью — был стыдлив, как я не знаю что.

— Может, нам и будет сопутствовать удача, — сказал Урдемалас. — Говорят, что три дня назад турок еще не снялся с якоря на Родосе.

Диего Алатристе вымочил усы в вине, выставленном командиром галеры на мостике, в рубке, под полотняным навесом, некогда полосатым, красно-белым, а ныне выцветшим и во многих местах залатанным. А вино было хорошее — белая мальвазия, напоминавшая «Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас», и, учитывая в поговорку вошедшую скаредность Урдемаласа, который, говорят, над полушкой трясется больше, нежели римский папа над своим пастырским перстнем, подобная широта была признаком весьма многозначительным. Прихлебывая из кружки, Алатристе незаметно наблюдал за остальными. Помимо грека-штурмана по имени Бракос и комита, на совет были приглашены прапорщик Лабахос и еще трое тех, кто командовал восьмьюдесятью семью солдатами, взятыми на борт, — сержант Кемадо, капрал Конеса и сам Алатристе. Присутствовал и главный артиллерист, заменивший искалеченного на Лампедузе, — этот немец ругался как испанец, а пил не хуже бискайца, но с кулевринами своими, карронадами, бомбардами и фальконетами управлялся ловчее, чем хорошая кухарка с противнями да сковородами на плите.

— Речь, по всему судя, идет о крупном корабле. Весел нет, три мачты, парусное вооружение — греческое, что касается артиллерийского, думаю, серьезное. Эскортирует его галера с янычарами...

— Об такой орешек можно и зубы поломать, — вставил комит, услышав слово «янычары».

Урдемалас взглянул на него довольно злобно. Он вообще пребывал в отвратительном настроении, потому что уже неделю тяжко маялся зубной болью, от которой, казалось, голова лопнет, однако предаться в руки корабельного цирюльника или еще кого так пока и не решился.

— Раскусывали мы и покрепче, — ответил он.

Прапорщик Лабахос, уже допивший вино, вытирал усы тылом ладони. Он был родом из Малаги — молодой, худощавый, чернявый — и отлично знал свое дело.

— Надо полагать, отбиваться будут как звери. Потеряют свою пассажирку — так и так голову снимут.

— Неужто она и впрямь — супружница Великого Турка? — рассмеялся сержант Кемадо. — Я думал, их не выпускают из сералей.

— Любимая наложница кипрского паши, — объяснил Урдемалас. — Через месяц истекает срок его правления, вот он заблаговременно отправляет ее домой вместе с частью слуг, невольников, одежды и денег.

Кемадо от радости всплеснул руками. Он был высок ростом, сухощав, а на самом деле звался Сандино. Новое имя[[28]](#footnote-28) он получил после того, как при ночном штурме полуострова Лонгос — город разграбили дочиста, сожгли еврейский квартал и взяли почти двести невольников — у него в руках взорвалась петарда, когда он собирался вышибить ворота цитадели. Несмотря на сильно подпорченную наружность, а может, и благодаря этому, он постоянно шутил и балагурил. Вдобавок был сильно близорук, но очки на людях никогда не носил. «Кто и когда видел подслепого Марса?» — спрашивал он с шутливым бахвальством.

— Клянусь прахом деда, завидная добыча!

— Если захватим — да, — согласился Урдемалас. — Считай, оправдали кампанию.

— А где они сейчас? — осведомился Лабахос.

— Им пришлось задержаться на Родосе, и сейчас либо уже вышли в море, либо вот-вот отчалят.

— И каков же наш план?

Командир галеры кивнул Бракосу, и тот раскатал по настилу палубы карту, чтобы прочертить направление. На карте, рисованной от руки, во всех подробностях были представлены острова Эгейского моря, Анатолия, европейское побережье Турции. Под самым обрезом наверху уместились даже Дарданеллы и Босфор, а внизу — Кандия. И палец Урдемаласа пополз снизу вверх по правой, восточной кромке.

— Дон Агустин Пиментель хочет напасть после того, как те пройдут Хиосский пролив, чтоб не подвергать опасности тамошних монахов и христианское население... По мнению флагманского штурмана Горгоса, наилучшее место — между Никалией и Самосом. Кроме как на север от Родоса, деться им некуда.

— «Грязные воды»... — заметил Бракос. — Мели, рифы...

— Да. Но Горгос хорошо знает те места. И утверждает, что если у турка — опытная команда и капитан ходил там, наверняка предпочтут двигаться меж цепочкой островов и материком, то есть обычным путем: есть защита от ветров да и вообще безопаснее.

— Резонно, — согласился штурман.

Диего Алатристе и капрал Конеса, низенький тучный мурсиец, смотрели на карту с большим интересом. Ни по рангу, ни по чину им, исполнявшим должность взводных, такие документы видеть не полагалось, да и на подобного рода советы их обычно не приглашали. Однако Алатристе, старый пес, отлично понимал, что к чему и зачем они все трое все же оказались здесь. Когда готовится большая охота, нужно, чтобы все назубок знали, что кому делать, — вот начальство и решило через их посредство довести все эти сведения до рядовых, чтобы их те получили из первых рук. Прибыть вовремя и взять турецкий корабль — дело непростое и потребует усилий от всех, так что солдаты и моряки будут усерднее и исполнительнее, зная, как все обстоит в действительности: напустишь туману — может не понравиться.

— Только вот не уверен, что поспеем, — сказал прапорщик Лабахос.

Он показал пустой стакан в надежде, что Урдемалас кликнет юнгу и велит налить еще, однако командир сделал вид, что не заметил.

— Ветер благоприятствует нам, да и потом, у нас есть весла. Турок тяжел и грузен, идет под парусами против ветра, а самое большее, чем может помочь галера, — взять его на буксир при полном штиле... Кроме того, свежеет, и пока усиление ветра нам на руку. Флагманский штурман считает, что мы сможем начать охоту на траверзе Патмоса или островов Хорна. Прочие капитаны и штурманы с ним согласны. Я верно говорю, Бракос?

Грек молча кивнул, подтверждая, и продолжал скручивать карту в рулон. Кемадо спросил, что думают обо всем этом мальтийцы, и Урдемалас пояснил:

— А этим отчаюгам все едино — два турецких корабля или полсотни, жену кипрского паши они везут или саму султаншу... Одно знают — унюхать, почуять, догнать и впиться клыками в загривок. Больше турок — больше добычи.

— Что на них за капитаны? — поинтересовался сержант.

— Про француза ничего не могу сказать. На борту — дворяне и солдаты из числа его соотечественников, есть итальянцы, испанцы и даже, кажется, один немец затесался. Народ, надо думать, неробкий. А вот командира «Крус де Родас» знаю лично.

— Фрай Фулько Мунтанер, — вставил комит.

— Тот, что был при Симбало и Сарагосе?

— Тот самый.

Кое-кто из присутствующих поднял брови, кое-кто закивал. Алатристе и сам слышал от Алонсо де Контрераса об этом испанском рыцаре-иоанните. Когда близ Симбало шторм разметал мальтийские галеры, он с уцелевшими после кораблекрушения занял оборону на острове и как лев отбивался от полчищ бизертских мавров, высадившихся там. Удивляться, впрочем, нечему: даже самый наивный и с упованием глядящий в будущее мальтийский рыцарь не станет ждать от мусульман пощады. Не по этой ли причине в битве при Лепанто, когда отбили флагманскую орденскую галеру, взятую на абордаж галерами турецкими, в живых на ней оставалось всего трое израненных рыцарей, а палуба была завалена трупами врагов — насчитали более трехсот. Подобное же повторилось и в двадцать пятом году уже нашего века, при сицилийской Сарагосе — Сиракузах, по-местному — когда после кровопролитного боя четырех мальтийских галер с шестью берберийскими все тот же Мунтанер, старик лет под шестьдесят, оказался одним из восемнадцати уцелевших на флагманской галере. И если иоанниты, внушавшие ужас и ненависть врагам, по справедливости считались самыми свирепыми и умелыми корсарами, то наиотчаяннейшим был среди них брат Фулько Мунтанер. Во время этого похода Алатристе не раз видел его: лысый, с длинной седой бородой, весь в рубцах да шрамах, стоит на мостике «Крус де Родас» и громовым голосом отдает на своем майоркском наречии приказания.

Примета подтвердилась: днем пошел дождь, а к вечеру задуло так, что разыгрался шторм, хоть и не слишком сильный, и в итоге, несмотря на зажженные на корме фонари, пять галер потеряли друг друга из виду. Зато очень быстро одолели сорок миль, отделявших нас от острова Никалия, хоть и досталось в эту ночь всем: покуда матросы управлялись с парусами, остальные, включая и гребцов, сгрудились на палубе, положительно помирая от холода и кутаясь кто во что мог. Но попутный ветер гнал нас вперед, так что утро, выдавшееся ясным и погожим — дождевые тучи отодвинулись и нависли над высокими скалистыми берегами острова, — застало нас у мыса Папы: две галеры из нашего конвоя уже стояли там, а две другие благополучно подошли к полудню. Никалия — или Икария, как еще называют этот остров, в воды которого рухнул, не долетев до солнца, злосчастный сын Дедала — берега имеет скалистые, течение возле них сильное, гавани же нет никакой, но мы, пользуясь штилем и отличной видимостью, сумели все же высадиться и наполнить доверху все наши бочки и бочонки. Когда на галерах такая прорва народу, надобность в пресной воде постоянная и расход ее велик.

Дон Агустин Пиментель, дабы удостовериться в своем предположении, что из-за встречного северного ветра турки все еще недалеко отошли от Родоса, приказал четырем галерам перекрыть пролив между Никалией и Самосом, а пятой — отойти к югу и выведать, что да как, справедливо рассудив, что один испанский корабль привлечет к себе меньше внимания, нежели целая флотилия, подобно стае хищных птиц ищущая себе поживу. Кроме того, греки, населявшие эти острова, едва ли были лучше оттоманов: все как на подбор — люди невежественные, ибо школ там отродясь не было, и дикие, тяжко страдающие от гнета магометан, а потому в любую минуту готовые продать им кого угодно, чтобы снискать их благоволение. Выполнить это задание поручили «Мулатке», так что мы легли на курс и к концу второй вахты, то есть на рассвете, входили в глубокую и защищенную бухту Патмоса — лучшую из тех трех или четырех гаваней на острове, служащем подножием для хорошо укрепленной обители христианских монахов, которая, выражаясь военным языком, господствует над местностью. Там, в бухте, мы простояли все утро: на берег сошел один Урдемалас, взяв с собой Бракоса, — они не только собирали сведения, но и договаривались с братией о выкупе пленных иудеев, что сидели у нас на веслах, — под этим предлогом, кстати, мы и зашли на Патмос, — однако не знаю уж, какие резоны привели наш капитан и штурман, но освободить иудеев пообещали попозже, высадив их в Икарии. Таким вот образом мне и не довелось вступить в пределы легендарного острова, где Иоанн Богослов, сосланный сюда императором Домицианом, продиктовал своему ученику Прохору знаменитое Откровение — «Апокалипсис», последнюю из книг Нового Завета. Ну, упомянувши книги, скажу, что капитан Алатристе просидел весь день у борта, читая присланный ему в Неаполь доном Франсиско де Кеведо сборник «Сновидения», который, будучи напечатан *in octavo*, то есть небольшого размера, легко помещался в кармане. Улучив момент, когда капитан, отлучившись по какой-то надобности на корму, оставил томик на палубе, я взял и быстро пролистал его, обнаружив на заложенной странице такие вот слова:

*Некогда снизошли на землю Истина и Справедливость. Первая не могла найти себе прибежища по причине своей наготы, вторая же была чересчур сурова. Долго они странствовали. Наконец Истина, побуждаемая крайней нуждой, сошлась с немым. Справедливость, не найдя приюта, продолжала бродить по земле, взывая ко всем, и, узрев, что не ценят ее, но лишь используют ее имя ради угнетения, решила вернуться на Небо* [[29]](#footnote-29).

Ну и там, на Патмосе, употребили мы часть дня, чтобы отдохнуть, истребить друг у друга вшей, а также отведать похлебки из турецкого гороха с кусочком трески, поскольку день был постный, пятница: это — что касается нас, команды и солдат, гребцы же довольствовались своими сухарями, разлегшись под навесом, закрывающим куршею, ибо солнце шпарило вовсю, устроив нам такое поистине адово пекло, что даже смола плавилась да подкапывала. После полудня воротились Урдемалас со штурманом, и вид у обоих был весьма веселый, ибо они отлично отобедали с братией в трапезной и отведали тамошнего монастырского вина с медом и цитроном — Господи, сделай так, чтобы их пронесло с того вина! — но веселье объяснялось не этим, а известием, что турки мимо пока еще не проходили. Сообщили им также, что видели, как корабль, по-прежнему эскортируемый галерой, огибал с востока остров Лонгос и, будучи весьма тяжеловесен и грузен, еле полз из-за встречного ветра. После чего и скорее, чем это можно было бы передать словами, был снят навес, поднят якорь, и мы во всю прыть наших гребцов устремились на соединение с главными силами.

За два дня и две ночи ожидания, погасив все огни и зорко всматриваясь в темноту, мы, так сказать, до корня сгрызли ногти от досады. Свинцово-гладкое море и — ни дуновения, а значит — никого и ничего: ни турка, ни черта, ни дьявола. Но вот наконец юго-восточный ветерок слегка взъерошил водную гладь и вознаградил нас за долготерпение, ибо пришел приказ изготовить корабль к бою. Пять галер, держась друг от друга на пределе видимости и сообщаясь условными сигналами, растянулись на пространстве почти в двадцать миль, когда появились те, кого мы ждали. За нами был остров Хорна, и там, в южной его части, на вершину горы, откуда видно было далеко, мы посадили четырех наших, наказав им подать сигнал — развести костер, — когда покажется парус. Остров, надо сказать, имел долгую и славную корсарскую историю, ибо и названием своим [[30]](#footnote-30) обязан тем временам, когда турок Сигала пек там корабельные сухари для нужд своих галер. Изюминка же всей затеи состояла в том, что мы, дабы подобраться к неприятелю как можно ближе да при этом не подставить борт его мощным пушкам, решили прикинуться своими, то есть изменили силуэт наших галер, придав им больше сходства с турецкими — укоротили грот-мачты, реи сделали более толстыми и массивными, а впередсмотрящих на марсах посадили точно в такие же бочки, как у турок.

Завершили маскарад турецкие же флаги и вымпелы, которыми, как и флагами прочих наций, мы запаслись заранее именно для такого случая — противник поступал совершенно так же, рядясь под нас, — и даже турецкое платье, в которое переодели тех, кто мог быть замечен издали. Подобные фарсы были неотъемлемой частью той опасной игры, которую вели страны и народы, обитающие на этих древних берегах, ставших не то театральными подмостками, не то шахматной доской. Но когда восемь или десять жерл крупного калибра смотрят тебе прямо в душу, а тем более — когда садят в тебя с дальней дистанции, а ты только и можешь, что, стиснув зубы, грести изо всех сил, чтобы дожить до абордажа и тут уж сквитаться за свой страх и беспомощность, то выиграть время и подобраться как можно ближе — дело первостепенной важности. Дали бы Великой Армаде в Ла-Манше сойтись с англичанами грудь в грудь, как было при Лепанто, совсем иначе вспоминали бы нынче поход в Англию.

Это я все к тому веду, что по известной подлости судьбы и жребия наряжаться турком поначалу чуть было не выпало и мне. Но я-то, слава Всевышнему, сумел отбрехаться, но вот остальным — и Гурриато-мавру среди них, благо он очень подходил к сей роли всем своим обликом — пришлось натягивать длинные архалуки, которые в этих краях называются *долиманами*, и шаровары, а головы покрывать фесками, тафтяными чалмами или тюрбанами и, обряженным таким манером, засиять многоцветно, что твоя радуга, и спасибо солнцу, под которым жарились мы столько дней, что и лица их смуглотой вполне могли бы сойти за турецкие. До того дошло, что один из наших расстелил свою *ропилью* заместо молитвенного коврика, стал на колени и принялся весьма бесстыдно взывать к Аллаху; но когда возроптали со своих банок возмущенные таким святотатством галерники-мусульмане, капитан Урдемалас выбранил шутника с большой суровостью, пригрозив, если не прекратит смущать гребную команду, ободрать его кнутом безжалостно.

— Навались, навались, дети мои! Все отдай, а улизнуть им не дай!

Когда Урдемалас обращался к каторжанам на своей галере «дети мои», это был верный признак того, что не у одного из них сегодня шкура слезет до мяса под ударами бичей. И примета подтвердилась. Следуя дьявольскому ритму, задаваемому свистками комита, хлопаньем бичей по голым плечам и звоном кандалов, галерники, дыша хрипло и натужно, как запаленные кони, снова и снова дружно вставали и рушились назад, на скамьи.

— Они уже наши! Еще навались, еще навались! Сейчас возьмем!

Вытянутая, узкая галера птицей летела над беспокойным морем. Мы держали курс прямо на остров Самос, чьи голые скалистые берега только что оставили по левому борту. Голубое сияние утра было лишь чуть-чуть пригашено не до конца рассеявшимся туманом на материке, что угадывался восточнее. Пять галер шли на всех парусах и веслах: две вырвались вперед у Самоса, две мчались навстречу им и следом за «Мулаткой», постепенно догоняя ее и пристраиваясь по обе стороны, и все туже стягивалось кольцо вокруг двух турецких парусников, которые отчаянно пытались прорваться в пока еще открытую лазейку между островом и материком либо пристать к берегу. Но даже самый зеленый новичок понимал — все козыри у нас. Ветер был недостаточно свеж, чтобы грузный и неповоротливый корабль смог набрать нужную скорость, турецкой галере же ничего не оставалось, как держаться рядом с ним, тогда как наши, отделенные от добычи почти целой милей и все еще далеко держащиеся одна от другой, буквально на глазах сокращали дистанцию. Мы пошли на сближение в тот миг, когда, почти одновременно, на вершине горы на острове Хорна показался дымок и с нашего разведывательного ботика оповестили: «Видим турок!» Устроенный нами маскарад поначалу сбил их с толку — потом мы узнали: они приняли нас за высланные с острова Метелин галеры сопровождения и двигались прежним курсом. Однако довольно скоро — по форме весел, по тому, как мы лавировали, ловя ветер, — догадались, что их провели, и корабль развернулся носом в пролив или в сторону материка, меж тем как галера, зайдя с подветренного борта, прикрывала бегство. Но поздно — дичь была уже загнана: флагманская галера мальтийцев оказалась в проливе раньше и отрезала их от побережья Самоса, «Каридад Негра» уже нацелилась тараном на турецкую галеру, а «Мулатка», за которой, по-прежнему чуть отставая, поспевали «Вирхен дель Росарио» и «Сан-Хуан Баутиста», мчалась прямо на корабль — огромный, с высоченной, как у галер, кормой трехмачтовик с прямыми парусами на грот— и фок-мачтах и с латинскими — на бизань-мачте, — при нашем появлении поставивший все марселя.

— По местам стоять, к бою! — скомандовал прапорщик Лабахос. — Сейчас пойдем!

На корме барабанщик ударил боевую тревогу, и подал сигнал, предваряющий атаку, трубач. В галерейках и на палубе началось стремительное, но осмысленное мельтешение людей — артиллерист со своими помощниками готовили пушки на куршее и камнеметы по бортам, уже заложенным для защиты от пуль скатанными одеялами, матрасами, заплечными мешками, длинными прямоугольными щитами-павезами, люди в порядке и без суеты доставали из открывшихся к этой минуте сундуков и огромных плетеных корзин оружие. От носа до кормы, оплывая по́том, выпучив от напряжения глаза, продолжали надрываться гребцы под мерный звон своих оков, к которому теперь присоединился лязг и звон стали — это мы, солдаты и отряженные для защиты и абордажа моряки, готовились к рукопашной, расхватывали шлемы, щиты, кирасы, шпаги, аркебузы, копья и укороченные пики, на треть от навершия намазанные салом, чтобы противник не мог перехватить. Задымились фитили ружей и запальники пушек, лежавшие до поры в чанах с песком. Шлюпку и вельбот спустили на воду и повели за собой на брошенном с кормы буксире. Повар погасил плиту и весь открытый огонь, какой был на корабле, юнги окатили палубу морской водой, чтоб по настилу не скользили ни босые ноги, ни подошвы альпаргат. А на корме, стоя в рубке рядом со штурманом и рулевым, заставляя нас до отказа, до последней капельки использовать преимущество, надрывался командами Урдемалас: греби, ребята, греби, право на борт, еще полборта вправо, лево руля! Греби, черти окаянные, навались, навались, трави стаксель, навались, дети мои, еще немного, они уже наши, навались, говорю, шкуру спущу с мерзавцев! — и далее такими черными страшными словами покрыл-помянул Пречистую Деву, и святое причастие, и всех апостолов, что сам Лютер не изощрился бы в этом заушательстве сильнее, ибо никто не умеет ругаться, как испанец во время шторма или в бою. И так вот сошлись наконец вплотную.

Дело вышло тяжкое. Первыми на турецкий корабль насели мы, а «Каридад Негра», оказавшаяся к острову несколько ближе нас, въехала тараном в борт галеры, так что издали были слышны трескотня аркебуз и крики Мачина де Горостьолы, ринувшегося со своими бискайцами на абордаж. Меж тем все глаза на «Мулатке» были прикованы к черным окошечкам открытых орудийных люков: у турка было по шести дальнобойных пушек на каждом борту, и он, видя, что ему не уйти, переложил штурвал на полрумба влево да и шарахнул по нам залпом, снеся с фок-мачты рею вместе с четырьмя матросами, которые как раз в эту минуту спускали ее, — и развесил по вантам их кишки и прочую требуху, являвшие собой зрелище весьма неприглядное. Еще один такой залп — и нам бы крепко не поздоровилось, ибо галеры отличаются не слишком крепким корпусом, однако Урдемалас, человек в таких делах на удивление поднаторелый, умел предчувствовать неприятельский замысел еще до начала маневра, а потому, оттолкнув замешкавшегося рулевого — и пусть спасибо скажет, что только оттолкнул, ибо в руке у капитана уже сверкнула шпага, — и самолично круто отвернул вправо, целясь в корму турку, как я уже говорил, высоченную, как у галеона, и обладавшую в наших глазах тем достоинством, что пушек на ней не было, а стало быть, позволявшую приблизиться не рискуя. Турок дал залп другим бортом, накрыв теперь «Вирхен дель Росарио», что показалось нам справедливым, ибо еще Христос велел делиться, а люди-то все, конечно, братья, но большей частью — двоюродные.

— Приготовиться на абордаж! — взвыл прапорщик Лабахос.

Мы сблизились уже на аркебузный выстрел и понимали — если гребцы исполнят свое дело добросовестно, турецкие канониры не успеют выстрелить во второй раз. Закинув на спину маленький круглый щит, грудь прикрыв кирасой, голову — шлемом, а шпагу еще держа в ножнах, я присоединился к кучке наших моряков и солдат, готовивших абордажные крючья на длинных узловатых тросах. Ощетинясь во все стороны оружием, следующая крупная партия ждала у покалеченной фок-мачты, когда ударят наши пушки, чтобы полезть по тарану — и дальше. Среди других я заметил и капитана Алатристе, раздувавшего фитиль своей аркебузы, и Себастьяна Копонса, уже успевшего, по своему обыкновению, туго обвязать голову арагонским платком. У меня у самого был такой поддет под шлем, в котором было дьявольски тяжело и адски жарко, но выбирать не приходилось: лезть на абордаж будем снизу вверх, так что желаешь аистов дождаться — береги чердак. Тут я заметил, что бывший мой хозяин, углядев меня в строю людей, подобных ему и мне, прежде чем отвести взгляд, подал, как я заметил, знак — мотнул в мою сторону головой — мавру Гурриато, стоявшему рядом со мной, а тот кивнул. «Обойдемся без нянек да опекунов», — сказал я себе, а больше ничего сказать не успел, ибо в этот миг грохнули пушка на куршее и две карронады на носу, заряженные россыпью пуль и обрывками расклепанных цепей, долженствовавшими перебить и размочалить снасти и, оставив противника без парусов, лишить его хода, а за ними следом ударили мушкеты, аркебузы, камнеметы, палубу заволокло пороховым дымом, и в дыму этом засвистели турецкие стрелы, запрыгали свинцовые и каменные мячики, со щелканьем ударяясь о доски настила, с чмоканьем впиваясь в податливую живую плоть. Ничего иного не оставалось, как стиснуть зубы и ждать, что я и сделал, съежившись и опасаясь, что малая толика всего этого сыплющегося сверху добра достанется и мне. Тут, возвещая, что мы наконец въехали неприятелю в бок, затрещало оглушительно, нас всех сильно тряхануло, гребцы с криками побросали весла, полезли прятаться под банки, а я, задрав голову, увидел в клочьях дыма огромную корму, уходившую, как показалось мне в тот миг, куда-то в самое поднебесье.

— Сантьяго! Сантьяго! Испания и Сантьяго!

Так в исступлении орали мои товарищи, сгрудившись на корме. И ведь все — каторжанская братия, разумеется, не в счет — пошли туда своей охотой: каждый и всякий знал, что ждет нас богатая добыча. Наконец полетели абордажные крючья, перекинули на неприятельский борт рею грот-мачты на манер сходней или мостков, галера придвинулась еще немного, и мы пошли, карабкаясь по «поясу» турка, словно по штормтрапу, ну и я, конечно, тоже пошел вместе со всеми и даже одним из первых, так что Лопе Бальбоа, солдату королевской пехоты, смертью храбрых павшему во Фландрии за своего государя, не пришлось бы краснеть за сына, который с проворством и ловкостью, присущими его семнадцати годам, лез по высоченному борту туда, где рассчитывать можно было исключительно на собственный клинок, а тем, жить ему или умереть, распорядятся слепой случай, Господь Бог или дьявол.

Дело было, как я уже сказал, жаркое и длилось не менее получаса. На борту оказалось человек до пятидесяти янычар, дравшихся, как за ними водится, остервенело и перебивших немало наших — главным образом, на носу. Отборные эти воины, христиане по рождению, в самом нежном возрасте отторгнутые в виде живой подати от их семейств и воспитанные в традиции ислама и в слепой, беззаветной верности султану, делом чести почитают в плен не сдаваться, хоть в куски их изруби, и славятся особой стойкостью и свирепостью в бою. Пришлось дать по ним несколько аркебузных залпов в упор — что сделано было весьма охотно, потому что и они, покуда мы карабкались на борт, лупили по нам нещадно и из бойниц, и из орудийных портов, и просто так, — а потом врубиться в гущу их со щитом и саблей и отбить грот-мачту, вокруг которой они защищались с упорством поистине бешеным. Я в этом бою вел себя осмотрительно, не давая себе охмелеть от ярости рукопашной схватки, прикрывался щитом, попусту клинком не махал, разил наверняка, вертел головой во все стороны, стараясь в соответствии с уроками и наставлениями капитана Алатристе все вокруг замечать, шаг вперед делать, твердо уверясь, что можно его сделать, а назад не посунулся, даже когда, разнесенный выстрелом в упор, обдал меня мозгами череп капрала Конесы. Рядом дрался Гурриато-мавр, и так вот, шаг за шагом, удар за ударом, мы оттеснили янычар к фок-мачте и на полубак, и песня их была спета, когда под наши крики «Бросай оружие, сдавайся!» — на лингва-франка, разумеется, — на них сверху и сзади посыпались люди с «Вирхен дель Росарио» и «Сан-Хуан де Баутиста», подоспевших с этой стороны, и возгласы «Испания и Сантьяго!» стали перемешиваться с кличем «Мальта и Святой Иоанн!». Когда собрались вместе три галеры, прения сторон завершились и явственно запахло приговором. Последние янычары, израненные и выбившиеся из сил, сменили свои прежние любезности вроде *«guidi imansiz»* и *«bir mum»*, что значит соответственно «рогатые гяуры» и «сукины дети», на *«efendi»* и *«sagdic»*, то есть «господин» и нечто вроде «крестного», хотя какие из мусульман крестники? — и стали молить о пощаде именем Аллаха. Но все же к тому времени, когда наконец они все сложили оружие, большая часть нашего воинства уже деятельно обшаривала все углы на турецком корабле и перебрасывала узлы с добычей на палубы наших.

Бог свидетель, то был славный день! Сколько-то времени нам дали пограбить беспрепятственно и в свое удовольствие, чем мы и воспользовались с невиданным прежде жаром, ибо корабль водоизмещением был бочек на семьсот и чего-чего только не вез в трюмах — и специи, и шелка, и камки, и тонкие сукна целыми штуками, ковры персидские и турецкие, и сколько-то драгоценных камней, включая жемчуг, серебряные изделия и пятьдесят тысяч золотых цехинов, не считая нескольких бочек арака — это такая турецкая водка, которой наш брат тотчас отдал дань и воздал должное. Я сам, сияя почище Демокрита[[31]](#footnote-31), набрал себе добычи, не дожидаясь общей дележки, и, видит Бог, честь была по заслугам, ибо сражался доблестно и, между прочим, в свидетельство этому первым вонзил свой кинжал в грот-мачту, что давало мне право на лучшую часть трофеев. Довольно будет сказать еще, чтоб уж больше не возвращаться к этому, что из семнадцати убитых при абордаже испанцев больше половины пали рядом со мной, что на шлеме своем и на кирасе я насчитал несколько вмятин и что потребовалась целая бадья воды, чтобы смыть с себя кровь — по счастью, чужую. Впоследствии я узнал, что когда Алатристе спросил Гурриато, каково пришлось ему и мне в бою — сам капитан вместе с Копонсом дрались на корме, поначалу стреляя из аркебуз, а потом взявшись за шпаги и топоры, коими взламывали двери, за которыми забаррикадировались турецкие офицеры и часть янычар, — мавр отозвался обо мне кратко, но весьма лестно, сообщив, что едва ли сумел бы сохранить жизнь, не убей я многих, покушавшихся на нее.

Люди с «Каридад Негра» и «Крус де Родес» тоже сложа руки не сидели. Сначала одна, а потом и другая взяли на абордаж турецкую галеру, и схватка вышла скоротечная и беспощадная — вышло так, что когда таран «Каридад» врезался в борт неприятелю, сокрушив все повстречавшиеся ему на пути весла, какая-то паскуда застрелила сержанта Сугастьету, большого мастера пожрать и выпить, весельчака и всеобщего любимца, благо, как я говорил уже, на «Каридад» служили только земляки. А поскольку баски — верьте слову, это говорю вам я, уроженец Гипускоа, — никогда не жмутся, о серебре ли заходит речь или о стали, то все, кого мать родила, попрыгали на борт неприятелю с криками *«Koartelik ez!»*, что по-нашему значит, что пощады не будет даже корабельному коту, не то что людям. Ну и всех до последнего человека, включая даже юнгу, перебили безжалостно, не разбирая, сдались они или нет, ибо резоны для резни нашлись самые подходящие. И единственными, кто уцелел, если, конечно, не попал под горячую руку во всеобщей свалке, были гребцы общим числом девяносто шесть человек, из коих половина оказалась испанцами, и сами можете себе вообразить, как ликовали они, обретя свободу. Среди них отыскался один из Трухильо, взятый в плен в пятом году нынешнего века и, стало быть, просидевший в цепях на веслах двадцать два года и, несмотря на это, чудесным образом выживший. Стоило посмотреть, как плакал несчастный, обнимая своих избавителей.

А из трюма мы вытащили пятнадцать юных невольников — девятерых парней и шесть девиц в первом цвете юности. Все были не старше 15—16 лет, хороши собой, все — христиане, захваченные в плен корсарами на итальянских и испанских берегах и предназначенные на продажу в Константинополе. Нетрудно представить, какая судьба в дальнейшем ожидала бы тех и других, если вспомнить необузданную похотливость турецких пашей, отличающихся в этом деле прихотливым разнообразием вкусов. Но самой примечательной добычей была фаворитка кипрского паши, происходящая, как выяснилось, из Московии, — голубоглазая, высокая и весьма изобильная дама лет тридцати, красивей которой я никогда не видал ни раньше, ни потом: у дверей каюты, куда поместили ее под присмотр капеллана Нисталя и под охраной четырех солдат, получивших от дона Агустина Пиментеля приказ убивать на месте всякого, кто ее обидит, — выстроились мы в длинную очередь, чтобы поглядеть на нее, пышно разряженную, сопровождаемую двумя хорошенькими служанками-хорватками, и так странно было видеть подобное чудо посреди нашей корявой и еще заскорузлой от крови братии. Поглядением дело и кончилось, ибо через два дня прекрасную пленницу отправили в Неаполь вместе с освобожденными и турецким кораблем, дав им в сопровождение «Вирхен дель Росарио», благо турецкая галера благополучно затонула, а уж потом — да не галеру, ясное дело, а московитку! — выкупили за триста тысяч цехинов, причем нам-то, честно и с большим риском для жизни заработавшим их своими шпагами, не дали даже послушать, как цехины эти звенят. Позднее стало известно, что кипрский паша, узнав про такое дело, занемог от ярости и поклялся отомстить. Отдуваться за всех пришлось бедному нашему штурману Бракосу спустя полтора года: корабль его, севший на мель неподалеку от Лимоса, захватили турки, среди которых оказался один из тех, кто был тогда на борту и уцелел во время нашего предприятия. Турки, не торопясь, заживо содрали с Бракоса кожу, набили ее соломой, чучело прикрепили к марсу галеры и возили напоказ от острова к острову.

Да, история вполне в духе тесных средиземноморских берегов, где все друг друга знают и где счеты у всех со всеми, военное же счастье и корсарская удача, как известно, переменчивы: сегодня — ты, завтра — тебя. Это я к тому, что тогда, на траверзе островов Хорна, по полной огребли, конечно, турки: человек полутораста их сбросили мы тогда в море — может, чуть больше, может, чуть меньше, раненых заодно с убитыми, и утопли все как есть. Полсотни уцелевших судовые альгвазилы потом приковали к веслам, невзирая на протесты бискайцев, которые намеревались истребить их всех до одного и до того разгорячились, что слушать ничего не желали и даже капитану своему отказались повиноваться, так что дону Агустину Пиментелю, чтобы малость охладить страсти, пришлось разрешить им отрезать уши и носы у христиан-вероотступников, буде таковые найдутся среди пленных, и душ пять или шесть отыскалось. Что же касается добычи, то она, как я уже сказал, оказалась знатной и богатой, и когда приказали прекратить грабеж, в карманах у меня уже лежали серебряные браслеты, пять длинных ниток жемчуга, пригоршни цехинов турецких, венецианских и венгерских. С каким наслаждением делили мы трофеи! Стоило бы взглянуть на этих заматерелых, в семи щелоках мытых, всеми родами смерти испытанных бородатых солдат в железе и коже, когда они, смеясь, как малые дети, набивали свои фельтрикеры, карманы и заплечные мешки, ибо не для того ли, в конце концов, мы, испанцы, покинули мирную сень отеческой земли, отринули домашний уют, лары заодно с пенатами и семьями, согласились претерпевать тяжкие лишения, опасности, коварство стихий, бешенство ветров, ярость морей, кровь и пот войны? Ибо совершенно справедливо заметил еще в прошлом веке Бартоломе де Торрес Наарро:

Чем солдату жить без боя:

Нет войны — какой доход?

Ждем ее, браток, с тобою,

Как тепла бродяга ждет.

«Лучше быть мертвым, чем богатым», — слыхали мы не раз, но сколько же нищих и убогих идальго гнуло шею попеременно перед епископом и маркизом? Идею сию отстаивал из книги в книгу сам дон Мигель Сервантес, вдоволь повоевавший на своем веку: он вложил ее в уста своему Дон Кихоту, а славу, обретенную шпагой, ставил превыше славы, завоеванной пером. Но если бедность так хороша, что ее и сам Христос любил, отчего ж, спрошу, не наслаждаются ею те, кто ее проповедует? Порицать солдат, которые за раздобытое ими золото расплатились собственной кровью, будь то в Теночтитлане или вот как мы — повыщипав малость бороду Великому Турку, значит не понимать, каково этому самому солдату живется и ценой каких страданий достается ему на войне добыча, сколько раз приходится ему подставлять грудь под пули, увечиться и калечиться, глотать сталь, свинец и огонь ради того, чтобы добыть себе доброе имя, либо денег на прожиток, либо то и другое вместе:

Уйдем, не числясь в немощных и хворых,

Вам порошки судил Господь, нам — порох,

Нам — шпагу в грудь, вам — в задницу клистир,

Нам — пули градом, вам — пилюлек ворох.

А потому, рассуждая о добыче солдатской или о жалованье его, не следует забывать, что движут человеком чаянье награды и славы: во имя их бороздят моря моряки, пашут землю крестьяне, возносят молитвы монахи, а солдаты воюют. Однако слава, хоть и достигается ранами и преодолением опасностей, изменчива и недолговечна, если не подкреплена, так сказать, материально, и вот уж недавний герой, истинное зерцало доблести, сделался жалкой развалиной и сидит на паперти, побираясь Христа-ради, и люди с ужасом отводят глаза при виде его увечий, полученных на поле битвы. Тем паче что в отношении воздаяния за пролитую кровь наша отчизна всегда отличалась поразительной забывчивостью. Хочешь есть, говорит она, милости просим на приступ вон того форта. Денег надо? — возьми-ка ты, братец, на абордаж вражью галеру. И — Бог тебе в помощь. Потом, в сторонке став, смотрит, как ты дерешься, рукоплещет твоей отваге, благо рукоплеск обходится бесплатно, а потом бегом бежит на ней нажиться да к ней примазаться, живописно драпируясь в государственный флаг, продырявленный картечью, от которой остался ты калекой. Ибо среди нашего бессчастного народа немного найдется полководцев и еще меньше — венценосцев, поступающих по примеру генерала Гая Мария[[32]](#footnote-32): тот в благодарность за помощь, оказанную наемниками-варварами в галльских войнах, сделал их вопреки закону гражданами Рима. А когда его упрекнули в этом, ответил, что за лязгом оружия голос законов ему не слышен. Ну и я уж не говорю про самого Иисуса Христа, который не только обессмертил двенадцать своих солдат, но и кормил их.

## Х. Бухта Искендерон

В предыдущей главе тонко подмечено было, что, мол, сегодня ты, а завтра — тебя, и это совершенно справедливо. Не менее верно и то, что, по меткому выражению мавра Гурриато, Бог ослепляет тех, кого желает погубить. Я же от себя добавлю насчет того, что не рой другому яму и прочая. Ибо не прошло и пяти дней, как захватили мы турок, — и вот пожалуйста: и нас заманили в ловушку. Вернее будет сказать — мы сами в нее угодили, потому что злоупотребили своим везением. Дело было так: дон Агустин Пиментель, окрыленный удачным исходом операции, решил податься на север, высадиться да разграбить Фойавеккиа, маленький турецкий городок на анатолийском побережье, в заливе под названием Искендерон. Ну и вот, отмерив на острове Хорна по сажени турецкой землицы каждому из наших, павших в бою, — навсегда остались лежать там сержант Сугастьета, капрал Конеса и много других славных ребят, — поплыли мы на юг, прошли через Хиосский пролив, почистили днище на самом острове, а потом, обойдя с востока мыс Кабо-Негро и бухту Смирны, вошли в вышеуказанный залив и на приличном удалении от побережья легли в дрейф, дожидаясь темноты. Уверенность нашу не поколебало даже и дурное предзнаменование, томившее нас смутной тоской, ибо высланный вперед на разведку мальтиец «Сан-Хуан де Баутиста» назад не вернулся, и мы так больше никогда его не увидели, и по сей день неизвестно, был ли он пущен на дно или захвачен, сумел ли кто из команды выжить или нет — и даже турки ничего о том не сообщали. И, подобно многим иным, таинственно и бесследно исчезнувшим кораблям, мальтийская галера со всеми своими тремястами сорока рыцарями, солдатами, палубной командой и гребцами, канула в неизвестность — то ли на дно морское, то ли в анналы Истории.

И недаром говорится: «Беда одна не ходит». Несмотря на то что «Сан-Хуан де Баутиста» к нам не присоединился, как было условлено, решил дон Агустин Пиментель, что ждать его не будет и что трех галер хватит, чтобы справиться с немногочисленным гарнизоном маленькой крепости, которую еще в 16-м году брали и грабили мальтийцы. Ближе к вечеру, так и не дождавшись каких-либо вестей, поужинали мы вымоченными в воде холодными бобами — огонь-то развести было нельзя, — горстью оливок да луковицей, выданной из расчета одна на четверых, а потом, после «Аве-Марии», по спокойному морю, под хмурым небом и при полном безветрии двинулись на веслах, с потушенными огнями к берегу. Ночь была темная, держались мы очень близко друг к другу и находились примерно в миле от города, когда вахтенный доложил, что у нас по корме, в открытом море, виднеются какие-то тени — вроде бы корабли под парусами, но точно сказать не может из-за темноты. Остановились, подошли вплотную к флагману и стали держать совет. Подумалось, что это могут быть низко нависшие тучи, озаренные последним светом дня, или же корабль, в отдалении входящий в залив, однако же нельзя было исключать и то, что один или несколько неприятельских парусников с умыслом отрезали нам путь в открытое море, либо намереваются напасть на наши галеры, когда причалим к берегу и высадим бо́льшую часть людей для боя на суше. Ну и вот, флотоводец наш дон Агустин Пиментель, пребывая в сомнении, велел спустить вельбот и разузнать, что к чему, поточнее, а мы с весьма понятным волнением остались разведчиков ждать. К началу второй вахты посланные воротились и доложили, что видели пять или шесть темных силуэтов — предположительно, галеры, а ближе подходить не осмелились из опасений быть замеченными и захваченными. Получив такие сведения, каковые с полным на то основанием позволительно будет уподобить грому среди ясного неба, дон Агустин принял решение дальше не идти. Корабли эти могли бы оказаться турецким купеческим караваном с Хиоса или Метелина, идущим под пресловутым конвоем взаимной защиты, а могли — и флотилией корсаров, решивших спуститься к западу. Стали обсуждать все возможности, включая и попытку проскользнуть мимо них в темноте, но тотчас же и отвергли ее как заведомо невыполнимую, ибо незаметно улизнуть в таких обстоятельствах вообще невозможно, а тем более — когда не знаешь, с кем придется иметь дело. Так что было приказано огней по-прежнему не зажигать, удвоить число тех, кто «наблюдал море» во избежание внезапной атаки, а команде отдыхать посменно. И вот, держа оружие под рукой, разлеглись мы на палубе, спя вполглаза и с тревогой в сердце ожидая, когда забрезжит рассвет и заодно с небосводом прояснится и наше положение.

— Сеньоры, пахнет жареным, — подвел итог капитан Урдемалас.

Капитан, некоторое время назад вытребованный на «Каридад Негра», где происходил военный совет, только что поднялся на «Мулатку» по трапу, спущенному с правого борта, куда доставила его шлюпка. Три наших галеры стояли очень близко одна к другой, носом к морю, и весла лежали в свинцовой воде неподвижно. Небо по-прежнему было задернуто низкими тучами, и в воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения.

— Одно из двух, а третьего не дано: ужинать нам с вами либо в райских кущах, либо в Константинополе.

Диего Алатристе вновь стал всматриваться в турецкие галеры, что делал уже в бессчетный раз с тех пор, как рассвет позволил различать их силуэты на темном горизонте, обещавшем шторм. Семь обычных, однопалубных и одна — большая, трехпалубная, флагманская, надо полагать. Значит, на борту никак не меньше тысячи с лишним душ, не считая гребцов. Двадцать четыре носовых орудия и еще сколько-то кулеврин и фальконетов по бортам. Поди догадайся, искали нас турки или же это судьба подгадала, что заплыли они сюда в самый подходящий момент. Так или иначе, но вот они, тихо и терпеливо выжидавшие всю ночь, теперь, убедившись, что добыча попала в мешок и все лазейки для выхода в открытое море христианским кораблям перекрыты наглухо, стоят менее чем в миле отсюда и уже в боевом порядке. Тот, кто ими командует, дело свое знает.

— Первым пойдет мальтиец, — сообщил Урдемалас. — Мунтанер вытребовал себе такое право. Уверяет, что так предписано статутом ордена.

— Хорошо, что не мы, — с облегчением переводя дух, сказал комит.

— Какая разница? У них на всех хватит, каждому достанется.

Стоящие на мостике командиры переглянулись. Мыслей своих вслух не высказывал никто, но каждый легко мог прочесть их на лице другого. Слова Урдемаласа только подтверждали то, что Алатристе и прочие знали и сами, а сознавали более чем отчетливо: на каждую христианскую галеру приходится по две оттоманских, да еще две в запасе и в придачу, а на берег не сойти и там не схорониться, потому что берег этот — турецкий. Что ж, остается идти ва-банк, ставя на кон жизнь и свободу. В случае проигрыша — смерть или рабство. Если не случится чуда. Что ж, попробуем стать чудотворцами.

— Идти придется только на веслах, — продолжал меж тем Урдемалас. — Ну, разве что вон те черные тучи на западе приманят ветер... Тогда шансов будет больше. Однако рассчитывать на это не стоит.

— Каков план? — осведомился прапорщик Лабахос.

— План проще некуда, тем более что другого нет: мальтиец пойдет первым, а мы с «Каридад» замыкающими.

— Это плохо, — возразил Лабахос.

— Говорю же: головными, хвостовыми, первыми, последними — что в лоб, что по лбу. Не верю я, что хоть кто-нибудь сумеет прорваться. Потому что эти собаки ударят в тот самый миг, как увидят, что мы начали движение. Но в любом случае Мунтанер постарается пробить брешь, и, может быть, кому-то и удастся выскользнуть в эту щелочку. Перед самым их фронтом сделаем «поворот все вдруг» — левое крыло у них вроде бы пожиже и сильнее растянуто.

— Взаимная защита? — полюбопытствовал сержант Кемадо.

Капитан «Мулатки» мотнул головой и, тотчас схватившись за щеку, забористо и витиевато выругался сквозь зубы, терзавшие его сейчас, после бессонной ночи, еще сильнее. Диего Алатристе понимал состояние его духа. Для Урдемаласа, как и для всех прочих, минувшая ночь была хоть и бесконечно долгой, да все получше той, что придет ей на смену, когда они будут либо на дне морском, либо в кандалах в турецком трюме. Так что совсем скоро Урдемалас сочтет зубную боль наименьшим из зол.

— Какая там защита? — с досадой ответил капитан. — Каждый за себя, и в лоб всех драть.

— Как бы нас не отодрали, — находчиво ввернул сержант Кемадо.

Урдемалас испепелил его взглядом:

— Это я так, к слову, неужто не понятно? Если не будем рваться на выручку друг другу и гребцы расстараются, может, кто-нибудь и улизнет.

— Для мальтийцев ваши слова — смертный приговор, — хладнокровно возразил прапорщик Лабахос. — Они ввяжутся первыми, на них турки и навалятся прежде всего.

Урдемалас неприязненно скривился, как бы желая сказать, что это не его, прапорщика, собачье дело.

— Они же назвались рыцарями и принесли в свое время обеты, а по смерти отправятся прямиком в царствие небесное... Им, стало быть, и карты в руки. А нам, которым дорожка в райские кущи не так гладко укатана, на рожон лезть не приходится...

— Святую истину рекут уста ваши, сеньор капитан, — одобрил Кемадо. — Видал я как-то на одной фламандской картине преисподнюю, так я вам скажу — торопиться туда расчета нет...

Знакомые разговоры, подумал про себя Алатристе. Другого и не ждал. Все происходит в полнейшем и привычном соответствии с обычаями и традициями — даже этот полушутливый легкий тон, который не сменят, даже оказавшись у самого дьявола в когтях. Опасения и страх остаются личным делом каждого и огласке не подлежат. Восемьсот лет воевали с маврами, а последние полтора столетия только тем и заняты, что приводим в трепет весь мир, — немудрено, что выработали особый склад речи и манеру поведения: испанский солдат, сколь бы солоно ни пришлось, как попало убить себя не даст и подохнуть согласится не иначе как в соответствии с тем, чего ждут от его репутации друзья и враги. Люди, собравшиеся сейчас на мостике «Мулатки», это знали, да и все остальные — тоже. За то им и жалованье платят, хоть оно и не покрывает таких вот издержек, что предстоят сегодня... С этими мыслями Алатристе оглядел воинство. Любой из этих моряков и солдат, что стояли сейчас вдоль бортов и на куршее, предпочел бы метаться в жару на лазаретной койке, чем наслаждаться отменным здоровьем здесь: они смотрели на своих командиров в мертвой тишине и знали, что решать исход партии их пикам да бубнам. В гребной команде, впрочем, настроения были другие — кто давал волю страху, кто предвкушал долгожданную свободу, ибо для человека, прикованного к веслу из-за того, что он не тому богу молится, каждый мелькнувший на горизонте парус всегда возвещал надежду.

— Как людей расставлять? — спросил Лабахос.

Капитан сделал характерное движение, словно ребром правой ладони перепиливал левую:

— Для прорыва по фронту. Для того, чтоб не допустить возможных абордажей... Если пройдем, то два фальконета — на корму. Погоня может быть упорной.

— Покормить, стало быть?

— Да. Но огня не разводить. Дайте побольше чесноку и вина — это природная жаровня...

— Гребцам потребуется что-нибудь посущественнее, — заметил комит.

Урдемалас оперся о резные перила ограждения под фонарем на корме. Вид у него был утомленный, под глазами набухли мешки, кожа на лице — немытом, осунувшемся от зубной боли, от неопределенности и тревоги — посерела и засалилась. Алатристе подумал, что, наверно, и сам выглядит примерно так же. Разве что зубы не болят, а так все одно к одному.

— Проверьте замки и кольца у всех закованных. Турок и мавров, помимо ножных кандалов, — в наручники. Потом раздайте понемножку арака, который мы захватили в трюме, — полковшика на банку. Сегодня это будет действовать лучше плети. Но никаких поблажек! Чуть что — без разговоров голову долой, даже если мне самому придется платить королю за убыток... Вам ясно, сеньор комит?

— Ясней быть не может. Сейчас распоряжусь.

— Если галернику дают выпить, — с шутовской гримасой вставил сержант Кемадо, — то, значит, либо его уже употребили, либо приступают.

Против обыкновения острота никого не рассмешила. Урдемалас же поглядел на него весьма неприязненно и сухо сказал:

— Палубной команде и солдатам — кроме винной порции и чесноку, тоже выдать араки. А потом пусть будет под рукой обыкновенное вино, из тех, что поплоше, да разбавить его как следует, не жалея! Что же касается вас, ваша милость, — тут он повернулся к немцу-артиллеристу, — зарядите пушки всякими железяками и жестяными обрезками, стрелять будете по моему приказу и когда сблизимся вплотную. Вам, сеньор прапорщик, быть на полубаке, сержанту Кемадо — на правом борту, сеньору Алатристе — на левом.

— Гребцов надо будет по мере сил уберечь от огня, — сказал тот.

Урдемалас несколько дольше, чем нужно, задержался на нем колючим пристальным взглядом.

— Да, — кивнул он наконец. — Прикажите накрыть куршею, чем только можно, включая паруса... Если выбьют много гребцов, мы пропали. Штурман, все навигационные инструменты — убрать в безопасное место и тоже накрыть чем-нибудь... Со мной на мостик — двух лучших рулевых, вашу милость и восемь метких стрелков с мушкетами. Вопросы?

— Нет вопросов, — после краткого молчания ответил за всех Лабахос.

— Ну, разумеется, нам про абордаж и думать нечего. Стрельба и стрельба, пули, камни, картечь. И не медлить, кота за хвост не тянуть: ай, здравствуй и прощай, как говорится. Замешкаемся — пропадем. Ну а прорвемся — грести так, чтоб весла в дугу!

Присутствующие принужденно улыбнулись.

— Дай-то Бог, — пробормотал кто-то.

Капитан пожал плечами:

— А не даст, мы, по крайней мере, будем точно знать, где встретим день Страшного суда.

— Хорошо бы туда еще целенькими попасть, а не по кусочкам себя собирать, — заметил сержант Кемадо.

— Аминь, — сказал комит и осенил себя крестным знамением.

И вслед за ним, искоса переглянувшись, сделали то же все. И Алатристе.

Врут те, кто уверяет, будто не знает страха, — просто еще не довелось познакомиться: всему свое время. И в то раннее-раннее утро, при виде восьми турецких галер, перекрывающих нам выход в открытое море, в последние минуты перед столкновением, ныне именуемым в трудах по истории «морским сражением при Искандерене, или у Кабо-Негро», я, например, в полной мере сумел почувствовать ощущения, памятные мне по иным случаям: сводит желудок, и сосет под ложечкой, и даже чуть подташнивает, и мурашки бегают по коже. Со времен всяких приключений бок о бок с капитаном Алатристе я сильно подрос, а за два года, протекшие после приснопамятных боев за Руйтерскую мельницу, траншей Бреды и взятия Терхейдена, я, несмотря на немалое юношеское высокомерие и дерзкую уверенность, что держу Бога за бороду, набрался ума-разума и научился оценивать степень опасности. И то, что предстояло, я видел, отрешась от ребяческого легкомыслия, с коим недавно еще прыгал на борт неприятельского корабля, но здраво и трезво: дело было очень и очень серьезное и с совершенно непредсказуемым исходом. Оно могло кончиться смертью, что было не худшим, кстати, вариантом, а могло — пленом или тяжким увечьем. Да, я повзрослел настолько, чтобы ясно сознавать — через несколько часов могу на всю жизнь оказаться в кандалах на гребной палубе турецкой галеры — кто это, интересно знать, заплатит выкуп за бедного солдатика из Оньяте? — или вцеплюсь зубами в кусок сыромятной кожи, чтобы не кричать, когда будут мне отнимать руку или ногу. Сильней всего пугала меня и мрачила мой дух именно возможность получить тяжкую рану и стать калекой: глядеть на мир одним глазом или ковылять на деревянной ноге, сделаться изуродованной и смятой восковой фигуркой, какие мастерят, когда обет приносят, обречь себя на чье-то жалостливое милосердие, на нищету и подаяние — и все это в самые благодатные годы, в расцвете сил. Помимо многого прочего, очень бы не хотелось в таком виде предстать очам Анхелики де Алькесар, если, конечно, Бог приведет снова с нею встретиться. Не утаю, что именно от этой мысли начинали предательски дрожать у меня поджилки.

Вот примерно такими были те не слишком отрадные размышления, которым предавался я, покуда вместе с товарищами обкладывал борта и полубак «Мулатки» свернутыми парусами, матрасами, циновками, заплечными мешками, мотками тросов и бухтами канатов и всем прочим, что могло бы послужить препоной турецким пулям и ядрам, что очень скоро посыплются на нас чаще града. Каждый из нас, как и я, терзался внутри себя страхом, однако же сердце, что называется, зажимал в горсти и виду не подавал. Разве что и самое большее — руки дрожали, бессвязица какая-то срывалась порою с уст, взгляд блуждал, произносились полушепотом слова молитвы, звучала макабрического рода шуточка или беспокойный смешок: у каждого проявлялось это по-своему, дело известное. Три галеры стояли почти что борт к борту, уставя тараны на турок, которые находились на пушечный выстрел от нас, хоть никому и в голову не приходило палить, чтобы проверить дистанцию: и мы, и неприятель знали, что еще представится случай сжечь порох с большим толком и пользой, когда сблизимся: в нужный момент каждый постарается открыть огонь первым, а при этом подобраться как можно ближе. На турецких галерах, как и на наших, царила мертвая тишина; море, по-прежнему неподвижное, словно раскатанный в лепешку кусок свинца, отражало облака, меж тем как «на двенадцать часов», то есть прямо у нас по корме, над анатолийским побережьем собирались, предвещая шторм, темные тучи. Мы были уже готовы к бою и запалили фитили; не хватало лишь команды «Весла на воду!». Я был приписан к отряду, которому надлежало укороченными копьями, протазанами и пиками отбивать по левому борту попытки абордажа, когда будем прорываться сквозь строй турецкой флотилии. Гурриато-мавр стоял рядом со мной — предполагаю, во исполнение воли капитана Алатристе — и выглядел столь безмятежно-спокойным, словно все происходящее никак его не касалось. Он, хоть и готовился, как все, драться и умирать, был похож на отчужденного наблюдателя, случайно оказавшегося рядом и глубоко безразличного к собственной судьбе, а она была бы весьма и весьма незавидна, попади наш мавр, которого немедля выдал бы любой галерник или даже собственные его товарищи, к туркам в руки. Ибо сила духа, не дающая человеку дрогнуть в бою, слабеет и гаснет, когда возникает надобность пережить поражение, а тем паче — плен, где совесть так заманчиво обменять на свободу, жизнь или на жалкий ломоть хлеба. Мы, в конце концов, всего лишь люди, и не всем дано одинаково стойко и бестрепетно сносить изнурительные труды.

— Вместе будем, — сказал мне Гурриато-мавр. — Все время.

Эти слова согрели мне душу, хоть я и знал слишком даже хорошо, что на пороге небытия каждый — за себя и не бывает на свете большего одиночества. Но мавр произнес то, что и нужно было произнести в эту минуту, и я был благодарен и за слова, и за дружеский взгляд, их сопроводивший.

— Куда ж тебя занесло от родины... — заметил я.

Он улыбнулся и пожал плечами. Голый по пояс, в штанах и альпаргатах испанского кроя, с ятаганом за поясом, со шпагой на боку и с абордажным топором в руке — никогда еще не чувствовал я сильнее, как веет от него спокойной и беспощадной жестокостью.

— Моя родина — капитан и ты, — ответил он.

Я растрогался, но постарался скрыть это и произнес первое же, что подвернулось на язык:

— Пусть так, но местечко для смерти можно было бы выбрать и получше.

Мавр склонил голову, как бы в раздумье.

— Сколько людей, столько и смертей, — промолвил он. — На самом деле никто свою смерть не ждет, хоть и уверен в обратном. — Гурриато замолчал, уставившись на просмоленный настил палубы у себя под ногами, а потом вновь взглянул на меня: — Твоя смерть неразлучна с тобой, моя — со мной... Каждый носит ее у себя за плечами.

Я поискал глазами капитана Алатристе и вот наконец заметил его на галерейке по левому борту ближе к носу, где он расставлял по местам отряженных под его начало аркебузиров. В помощники себе он взял Себастьяна Копонса. Мне показалось, что он хладнокровен и спокоен, как всегда: орлиный профиль; надвинутая на глаза шляпа, большие пальцы сунуты за оттянутый шпагой и *бискайцем* ремень, которым туго перепоясан исполосованный следами давних ударов нагрудник из буйволовой кожи. Мой прежний хозяин приготовился в очередной раз все, что уготовила ему судьба, принять без бравады, кривляния и зряшной суеты. Со спокойным достоинством, присущим ему — или тому, кем он старался быть. «Сколько людей, столько и смертей», — сказал только что Гурриато. Что ж, капитановой смерти, когда случится она, можно будет позавидовать.

Рядом вновь прозвучал мягкий голос могатаса:

— Не пришлось бы тебе пожалеть когда-нибудь, что не простился с ним.

Я обернулся к нему, встретив пристальный взгляд черных глаз, опушенных девичьими ресницами.

— Бог разделяет две непроглядных ночи кратким промежутком света.

Мгновение я рассматривал его — бритый череп, серебряные серьги в ушах, остроконечная борода, вытатуированный на скуле крест. И, покуда смотрел, не гасла на устах его улыбка. Потом, повинуясь безотчетному порыву, родившемуся в тронутой его словами душе, направился, обходя толпившихся на галерейке солдат, к моему хозяину. Подошел и молча стал рядом, потому что, что говорить, не знал. Оперся об ограждение борта, глядя на турецкие галеры. Подумал об Анхелике де Алькесар, вспомнил мать и сестричек, представив, как шьют они, устроившись у очага. Вспомнил, как, вскоре по прибытии в Мадрид, сидел однажды зимним утром в дверях таверны Каридад Непрухи. И еще подумал, что те — многие и многие, — которыми я когда-нибудь мог бы стать, пойдут, весьма вероятно, на дно морское и рыбам на корм, не дав мне воплотиться ни в одного из них.

Потом я почувствовал у себя на плече руку Алатристе.

— Постарайся, чтоб живым не взяли, сын мой.

— Обещаю, — ответил я.

Плакать захотелось — но не от страха, не от горя, а от странной грусти — светлой и тихой. В отдалении, над беспредельной безмятежной тишиной морского простора вспыхнула зарница — такая далекая, что раскат грома до нас не докатился. И тотчас, словно этот ослепительный ломаный зигзаг послужил сигналом, забили барабаны. Выпрямившись на мостике «Каридад Негра», стоял у кормового фонаря брат Франсиско Нисталь и, воздев руку с распятием, благословлял нас всех, а мы, обнажив головы, преклонив колени, молились, подхватывая прерывающиеся надтреснутые слова: «In nomine... et filii... Amen» [[33]](#footnote-33). И еще не успели подняться, как на корме флагманской галеры взвился королевский флаг, на «Крус де Родес» — мальтийский, с серебряным восьмиконечным крестом, а у нас — белое полотнище, крест-накрест перечеркнутое старинным мотовилом святого Андрея, и каждая галера приветствовала подъем флага протяжным пением горна.

— Рубахи долой! — скомандовал комит.

После этого, в подавленном молчании, мы разошлись по местам, и корабли наши двинулись навстречу туркам.

В отдалении продолжала бушевать безмолвная гроза. Вспышки зарниц распарывали серый горизонт, бросая отблеск на свинцовую неподвижную воду. Гребли тоже пока еще неторопливо и в тишине, нарушаемой лишь сопением галерников и мерным звяканием оков, и даже комит до поры не свистел — берег их и свои силы для окончательного рывка. Молчали и мы, одевшись железом и изготовясь к бою, не сводя глаз с турецких кораблей. Примерно на середине пути, когда «Мулатка» стала забирать чуть левее, мальтийская галера сначала поравнялась с нами, а потом, обойдя по правому борту, вырвалась вперед, и мы совсем близко увидели торчащие ружейные стволы и пики, лопасти весел, которые, повинуясь дружным и точно выверенным усилиям гребцов, то погружались, то выныривали, убранные паруса на низких реях, а на корме, откуда снят был навес, — седобородого Фулько Мунтанера, с непокрытой головой и со шпагой в руке, красовавшегося на мостике в красной тафтяной тунике поверх панциря, и стоявших вокруг него офицеров: брата Хуана де Маньяса из Арагона, брата Лючиано Канфора из Италии и странствующего рыцаря Гислена Барруа из Прованса. Когда они прошли мимо, едва не задев наши весла своими, капитан Урдемалас снял шляпу, приветствуя их, и крикнул:

— Дай вам Бог удачи! — на что старый корсар с таким безмятежным спокойствием, словно стоял в порту у причала, пренебрежительно ткнул пальцем в сторону турок и, пожав плечами, ответил со своим неистребимым выговором уроженца Майорки:

— Да не о чем говорить!

Мальтийская галера оставила нас позади и пошла головной, а следом пронеслась мимо «Каридад Негра», где гребцы тоже, вероятно, наддали: флаг с королевским гербом у нее на корме трепыхался слабо, потому что единственное движение воздуха создавалось только усилиями весел, несших галеру вперед. И вот, приветственно махая нам руками, шляпами, касками, проплыли бискайцы, которые пойдут в атаку перед нами, и капитан Мачин де Горостьола со своими угрюмо молчащими людьми, и дымящиеся вдоль борта от носа до кормы фитили мушкетов и аркебуз, и сам дон Агустин Пиментель, напряженно застывший на мостике в баснословно дорогих доспехах миланской работы, импозантно-воинственно уперший руку в навершие шпаги, — шлем его держал паж — и всем своим величественным видом соответствовавший высокому чину, который носил, державе, которую представлял, королю, которому служил, и Богу, во имя которого мы и собирались разодраться в клочья.

— Помогай им Пречистая Дева, — пробормотал кто-то.

— Да и нам тоже... — отозвался другой голос.

Теперь три галеры шли вереницей, так близко одна к другой, что задние едва не касались тараном фонаря на корме впереди идущих, меж тем как над свинцово-гладким морем продолжали беззвучно вспыхивать молнии. Я стоял на своем месте: рядом с мавром Гурриато и солдатом у камнемета; в одной руке артиллерист держал дымящийся запальник, другой перебирал четки и при этом, не произнося ни слова, шевелил губами. Я попытался сглотнуть, но ничего не вышло: глоток арака и разведенное вино высушили нёбо и глотку.

— Навались! — скомандовал капитан Урдемалас.

Это слово, и свисток комита, и щелкание его бича, прошедшегося по спинам галерников, слились воедино. Стараясь как-то размять сведенные судорогой пальцы — слушались они, прямо скажем, плохо, — я обвязал голову платком, поверх нахлобучил каску, затянул на подбородке чешуйчатый ремень. Проверил, легко ли расстегиваются пряжки по бокам кирасы — на тот случай, чтобы сбросить ее одним махом, если окажусь в воде. Мои альпаргаты на веревочной подошве были крепко завязаны шнурками на щиколотках, руки сжимали копьецо — древко было густо намазано салом примерно на треть от навершия, а наконечник отточен как бритва. У пояса висели моя сабля с зубчатым лезвием и *бискаец*. Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Все было в порядке, если не считать того, как безбожно сосало под ложечкой. Ни на кого не обращая внимания, расстегнулся и, хоть не больно-то и хотелось, помочился с борта, целясь меж мерно движущихся весел. Почти все стоявшие рядом последовали моему примеру. Мы были люди бывалые.

— Все на весла! Навались! Навались!

С носа ударила пушка, и мы приподнялись на цыпочки, чтобы лучше видеть. На палубах турецких галер, приближавшихся с каждой минутой, но пока не открывавших огонь, замелькали тюрбаны, красные фески, высокие шапки янычар, мавританские разноцветные бурнусы. С бака ближайшей к нам поднялось облачко белого дыма, и, когда стихло эхо выстрела, оглушительно завыли флейты и дудки, а с палуб полетел многоголосый вой, которым турки горячат себя перед боем. В ответ с «Крус де Родес» трижды отрывисто протрубил горн, следом раскатилась барабанная дробь и грянули крики «Святой Иоанн! Святой Иоанн!» и «Разочтемся за Сент-Эльмо!».

— Мальтийцы пошли, — сказал старый солдат.

Над турецкими галерами повисли гирлянды вспышек: носовые пушки открыли огонь по «Крус де Родес», и ядра засвистели над нашими головами тоже. По куршее от носа к корме и обратно носились комит, подкомит и альгвазил, бичами подгоняя гребцов.

— Навались, навались! — неистовствовал капитан Урдемалас. — Загреби их в доску, дети мои!

Пальба участилась, небо заволокло дымом, в воздухе густо засвистели турецкие стрелы. Турки бросились на головную галеру, без труда разгадав ее отважное намерение, а она с такой решимостью рванулась в заволоченный дымом узкий зазор меж двух неприятельских кораблей, что мы услышали треск обшивки и ломающихся весел. За нею устремился флагман — до нас донеслись крики Мачина де Горостьолы и его бискайцев, громогласно твердивших наш боевой клич — «Испания и Сантьяго!» — а следом за ним в громе канонады, под вопли людей, дерущихся за свою жизнь, ринулась и «Мулатка».

...Свистки комита, хлеставшего бичом по спинам гребцов, чьими усилиями галера, казалось, летела по морю, терзали наш слух, ибо эти пронзительные, непрерывные звуки отмеряли расстояние, отделившее нас от гибели и рабства. Все еще не до конца уверовав в милость судьбы, мы глядели на бросившиеся вдогонку турецкие галеры: да, мы пронизали их строй и прорвались, но дистанция между нами и ними была ничтожна. Свинцовое море оставалось гладким, как масло, безмолвные сполохи молний остались на западе, и по-прежнему — ни намека на ветер, могущий даровать спасение. На «Каридад Негра», державшейся слева по носу, тоже гребли отчаянно, силясь оторваться от пяти турецких кораблей, начавших травлю. Позади, на расстоянии фальконетного выстрела, то есть еще очень близко, лишенный хода и окруженный тремя галерами, которых взял на себя, насмерть дрался в дыму и пламени мальтиец, и грохот безнадежного боя еще перекрывали долетавшие до нас крики «Святой Иоанн! Святой Иоанн!».

Да, произошло чудо, хотя и не вполне. После того как орденская галера врезалась в строй эскадры и завязла в нем на какое-то время, «Каридад Негра», воспользовавшись этим, сумела под жестоким артиллерийским огнем, снесшим ей паруса на фок-мачте, проскользнуть в створ между мальтийцем и турком, переломав при этом часть весел правого борта. Нам, державшимся у нее за кормой, это открыло возможность не подставлять себя в свой черед орудийному огню, но вытерпеть всего лишь град ружейных пуль и стрел. И мы проскочили, левым бортом едва не чиркнув по правому борту мальтийца, намертво склещенного с двумя турецкими галерами — остальные поспешали на выручку — и уже взятого на абордаж одновременно тремя партиями: две зашли с носа, одна — с левого борта. Лишь краем глаза мы видели, как кипит на мостике ожесточенная рукопашная схватка и с заполнившими его турками режутся грудь в грудь капитан Мунтанер и его рыцари: нам в эту минуту было не до того, чтобы оценить их жертвенный героизм, потому что все наши пять чувств устремлены были на то, чтобы обогнуть и оставить по левому борту неприятельскую галеру. Сущий творился пандемониум — треск ружейных выстрелов, свист стрел, впивающихся в доморощенные наши брустверы вдоль бортов, в мачты или в живую плоть, гром разноязыкой брани, вопли, крики, а когда наш рулевой — ему в самое ухо орал команды капитан Урдемалас, коего можно было смело уподобить дьяволу из старинного *ауто* [[34]](#footnote-34) — отвернул чуть вправо, чтобы не столкнуться с «Каридад Негра», волочащей по воде размолоченную рею, турецкая галера вскользь проехалась тараном по борту в кормовой его части. Три или четыре весла разлетелись в щепы, завыли гребцы, загалдели турки, а мы с криком «Сантьяго!» кинулись отбивать попытку абордажа. Соприкосновение длилось минуту, не больше, но и этого хватило, чтобы на палубу с громкими криками посыпались, являя большую отвагу и решимость, янычары. Но достойный натиск получил и должный отпор: ударами наших укороченных пик, огнем аркебуз и мушкетов, камнями из камнеметов, горшками и склянками с кипящей смолой, которыми юнги с вант швыряли во врага, мы отбросили врага и, довольно дешево отделавшись, двинулись дальше.

— Давай, дети мои! Навались! — завывал с мостика Урдемалас. — Еще немного! Наддай еще! Чуточку осталось! Почти проскочили! Наддай!

Командир «Мулатки» едва ли пребывал в плену иллюзий или под сенью химер — скорее действовал во исполнение своего служебного долга, не давая гребцам с исхлестанными до живого мяса спинами пасть духом, притом что они готовы были с ним заодно сами пасть замертво над веслами.

— Альгвазил! Дайте им еще хлебнуть! Взбодрись, сучье племя!

Но и крепкое турецкое спиртное чуда не сотворило. Гребцы, обезумев от неистовой работы, от ударов бича, гулявшего по их мокрым от пота и крови, исполосованным рубцами спинам, были при последнем издыхании. «Мулатка» летела стремглав, как я уже докладывал, но и пять вражьих галер висели у нас на хвосте, совсем неподалеку от кормового фонаря, и пушки их время от времени посылали нам выстрел, за которым тотчас следовал треск раскрошенного дерева и страдальческие вопли раненых — или же, если канониры брали выше, ядро с таким звуком, словно рвалось полотно, прошивало воздух у нас над головой и обрушивалось, взметнув столб пены, в море.

— «Каридад» отстает!

Мы сгрудились на правом борту поглядеть, что случилось, и крик отчаяния пронесся по всему кораблю. Флагманская галера, сильно поврежденная при прорыве через фронт, потеряв много весел и гребцов — кто убит, кто ранен, кто вконец изнемог, — сбилась с согласного и скорого хода, и мы постепенно уходили вперед. Еще минута — и вот она уже на пистолетный выстрел от нашей кормы и отстает все больше. Мы видели, как дон Агустин Пиментель, Мачин де Горостьола и прочие командиры в отчаянии глядят назад, меж тем как турки, с каждым взмахом весел неумолимо сокращая расстояние, нагоняют их. Весла «Каридад» двигались вразнобой, иногда цепляясь друг за друга, а кое-какие и вовсе уже замерли и теперь бессильно волочились по воде. Заметили мы и то, как нескольких убитых галерников, расковав, сбросили в море.

— Эти свое отплавали, — сказал какой-то солдат.

— Лучше они, чем мы, — заметил другой.

— Хватит и на нашу долю.

«Каридад Негра» окончательно отстала. Кое-кто из нас еще пытался кричать им что-то ободряющее, но все это было уже бесполезно. Мы видели с бортов, что обессилевшую, окончательно потерявшую ход галеру вот-вот настигнут турки, и наши товарищи смотрели, как мы уходим прочь, оставляя ее врагу. Они выкрикивали слова, которых мы уже не слышали, и несколько бискайцев, вскинув руки, прощались со своими земляками на «Мулатке», прежде чем собраться на корме и запалить фитили аркебуз и мушкетов. Что ж, по крайней мере, пока живы Мачин де Горостьола и его люди, туркам эта добыча обойдется недешево.

— Командиров на мостик! — от одного к другому побежал приказ.

На галере наступила мертвая тишина. Собрались пастухи, гласит старинная поговорка, жди, овечка, вертел. Люди расступались, давая дорогу сержанту Кемадо, прапорщику Лабахосу и комиту, угрюмо шагавшим на корму. Прошел следом и капитан Алатристе. Прошел мимо, то ли в самом деле не заметив меня, то ли мне так показалось. Во взгляде ледяных глаз отсутствовало всякое выражение, и казалось, он созерцает такое, что не имеет отношения ни к морю, ни ко всем нам. Мне хорошо знаком был этот взгляд. И я понял, что бискайцы с «Каридад» сейчас всего лишь торят путь, в который вскорости тронемся и мы.

— Гребная команда выдохлась окончательно, — промолвил капитан Урдемалас.

Диего Алатристе взглянул на куршею. Даже удары бичей, которыми подкомит и судовой альгвазил охаживали окончательно выбившихся из сил галерников, уже не могли заставить их грести, как того требовала обстановка. Подобно «Каридад», наша галера постепенно замедляла ход, меж тем как турки приближались неуклонно.

— Через четверть часа догонят и вцепятся.

— Может, все-таки господа солдаты соблаговолят погрести, а? — спросил комит. — Хоть кто-нибудь...

Прапорщик Лабахос очень раздраженно отвечал, что нет, ни за что на свете не согласятся. По его словам, он уже потолковал кое с кем из своих людей — нет, даже при том, как оборачивается дело, никто не желает сесть на весла. Боже упаси, говорят. Лучше сдохнуть, чем стать галерником.

— Да и потом... когда на хвосте висят пять галер, ничего уже не сделаешь, хоть в лепешку расшибись. Мои люди — солдаты и дело свое исполняют толково и храбро. А дело их — воевать, а не веслом махать.

— Смотрите, как бы при таком раскладе не пришлось веслом махать в цепях да под полумесяцем, — с сердцем сказал комит.

— Это если сдадимся. А сдаваться, нет ли — каждый за себя сам решает.

Диего Алатристе разглядывал солдат, стоявших по бортам. Лабахос не кривил душой. Даже в нынешнем своем и более чем печальном положении, ожидая, когда исполнят над ними приговор, кассации не подлежащий, люди не утратили свой свирепый, грозный и воинственный вид. Это была лучшая в целом свете пехота, и Алатристе прекрасно знал, почему она так хороша. Уже почти полтора столетия доводили ее до совершенства сменяющие друг друга поколения этих солдат — «господ солдат», как требовали они, чтобы к ним обращались, — и это продлится до тех пор, пока из их скудного военного лексикона не исчезнет слово «репутация». Они соглашались терпеть лишения, сносить голод и жажду, подставлять грудь свинцу и стали, готовы были принять смерть или тяжкие увечья, воюя, как в песне поется, «не из чести, не из платы», но лишь потому, что рядом есть товарищ, и стыдно сплоховать перед ним, осрамиться, не соблюсти себя. Нет, разумеется, даже во спасение жизни своей они за весла не сядут. Вот если бы никто не узнал и не увидел, чем приходится жертвовать ради жизни, ради свободы, — тогда дело другое. Алатристе и сам в случае крайней необходимости не погнушался бы усесться на гребную банку и взяться за скобу-рукоятку на вальке — да что там «не погнушался»! — первым бы пошел! Однако ни он, ни самый что ни на есть лихой здешний вояка никогда не согласятся на это прилюдно, чтобы не утерять в глазах всего мира то единственное, чего не смогли бы их лишить ни короли, ни вельможи, ни монахи, ни враги, ни даже болезнь и смерть: образ, который они сами себе выковали, великую мнимость, состоящую в том, что назвавший себя «идальго» никогда ничьим рабом не будет. Испанский солдат честь своего ремесла не уронит. Все это, разумеется, глубоко противно здравому смыслу, о чем, помнится, говорил один берберский пират в комедии, вдруг вспомнившейся Алатристе. Будто сами собой сказались сейчас в голове такие слова:

Пока христианин-ворона

хранит достоинство и честь,

и, чтоб им не нанесть урона,

гнушается на весла сесть, —

*Мы, наш бесчестный чтя обычай,*

*гребем — и прошибаем борт:*

*христианин дворянством горд,*

*а мы — победой и добычей*.

Вслух, впрочем, он их не повторил. Было не до стихов, да и не в его обычае вести такие речи. Но, без сомнения, заключил он, опять же про себя, такой подход решает судьбу «Мулатки», а когда-нибудь, в иные времена, вгонит в гроб и саму Испанию, но, правда, тогда уж ему никакого дела до этого не будет. По крайней мере, пусть такое вот отчаянное высокомерие послужит утешением ему и ему подобным. Как только узнаёшь, из какой материи знамена шьют, иных правил уже не придерживаешься.

— Чертов гонор, — подвел итог сержант Кемадо.

Все переглянулись с таким важным и значительным видом, словно это было нечто большее, а не просто слова. Они отдали бы все, что угодно, лишь бы нашлись не эти слова, а иные, но откуда ж им было взяться? У них, у заскорузлых вояк, сделавших войну своим ремеслом, умение красно́ говорить в числе навыков не значится. Мало в их жизни роскошеств, но все же одного никому не отнять — кто еще, кроме них, может выбрать себе и место, и способ жизнь эту окончить? И на том стоят они.

— Надо бы развернуться да ударить, — предложил прапорщик Лабахос. — Не набегаешься.

— Я давно говорю! — поддержал его сержант Кемадо. — Тут вопрос в том, кто где желает нынче ужинать — с Христом или в Константинополе.

— Лучше с Христом, — мрачно подытожил Лабахос.

Все взоры обратились к Урдемаласу, продолжавшему осторожно ощупывать бородатую щеку, за которой ныл зуб. Но капитан только пожал плечами, словно предоставляя решать им самим. Потом взглянул через ограждение рубки. За кормой и уже вдалеке, по-прежнему сцепленная с тремя турецкими кораблями, в густом дыму и частых вспышках выстрелов все еще отбивалась флагманская галера мальтийцев. Между нею и «Мулаткой» «Каридад Негра», которая вот-вот должна была подвергнуться атаке своих преследователей, — по бортам у них так и роились турки, готовясь к абордажу, — развернулась к ним носом, приемля неизбежное.

— Пять галер по нашу душу, — угрюмо сообщил штурман Бракос. — Дайте срок, и остальные подтянутся, вот только покончат с мальтийцами.

Лабахос сдернул с себя шляпу и швырнул ее на пол.

— Матерь Божья, царица небесная, да хоть пятьдесят!

Капитан Урдемалас взглянул на Диего Алатристе. Было со всей очевидностью ясно — хочет услышать его, потому что тот за все это время не проронил ни единого слова. Но Алатристе, так и не разомкнув уста — слова беречь надо, — только сумрачно кивнул. Да, впрочем, не слов от него и ожидали.

— Значит, так, — подвел итог капитан. — Пойдем выручать бискайцев. Обрадуются, надо думать, что не им одним сегодня умирать.

## XI. Последняя галера

Я при Лепанто не дрался, как там было, не знаю, но бухту Искандерон, пока жив, не забуду, помнить буду шаткую, кренящуюся под ногой палубу, сверзишься с нее — тотчас поглотит тебя пучина, которая только того и ждет, крики тех, кто убивает и умирает, кровь, потоками скатывающуюся по бортам, густой дым и пламя. Море по-прежнему оставалось серым и гладким, как черенок оловянной ложки, а странная беззвучная гроза продолжала бушевать в отдалении, чертя небо зигзагами зарниц и жалко подражая тому, на что оказались способны мы, люди, одной своей волей.

Когда решение стиснуть, так сказать, зубы наконец было принято и рулевой взял «лево на борт», поворачивая «Мулатку» на помощь «Каридад Негра», та уже была взята в клещи передовыми турецкими галерами, и у нее по всей палубе, содрогавшейся от воплей и грома выстрелов, кипел бой. Рассудив, что драться сообща лучше, нежели порознь, капитан Урдемалас с помощью гребцов, вдохновленных свистящими бичами комита и его помощников, произвел искуснейший маневр и притерся тараном и носовой частью к самой корме «Каридад», а потом стал борт к борту так, что оба корабля оказались словно пришвартованы друг к другу, чтобы в случае надобности можно было переходить отсюда туда и обратно. Излишне будет говорить, какое ликование охватило воспрянувших духом бискайцев капитана Мачина де Горостьолы, какие радостные клики встретили наше появление, ибо до того сражались они безо всякой надежды, хоть и стойко отбивали абордажные атаки двух турецких галер. Две другие набросились на нас, пятая же стала заходить к нам в корму, намереваясь сперва ошеломить артиллерийским огнем, а потом уж взять на абордаж с этой стороны. В конце концов обе испанские галеры — мы с «Каридад» — обвязались найтовами по мачтам, чтоб течение не разлучило, образовав такой вот плацдарм и заняв, стало быть, круговую оборону, тем паче что и лезли на нас со всех четырех концов, с той лишь разницей, что бастион наш стоял посреди моря, а вместо толстых каменных стен от вражьего огня и натиска защищали нас, помимо, разумеется, собственных наших пик, клинков и аркебуз, брустверы по бортам, смастеренные из тюфяков да мешков, и с каждой минутой защищали все хуже, потому что пули и стрелы раздербенили их вконец.

— *Bir mum kafir!.. Baxa kes!.. Alautalah!*

Янычарам отваги было не занимать. Волна за волной они накатывали на палубы наших галер, горяча себя именем Аллаха и Великого Турка и клятвами перебить неверных собак. И выказывали при этом такое презрение к смерти, словно все гурии их мусульманского рая уже поджидали их у нас за спиной. Они прыгали к нам на борт с таранов, с переброшенных на манер сходней рей и весел. Сильное, прямо скажем, действие производили их неистовые гортанные крики, а равно также, впрочем, и красные долиманы, бритые или покрытые остроконечными шапками головы, устрашающие усищи и ятаганы, коими владели они, как волк зубами, и тщились сломить наше сопротивление. Однако и Господь Бог с католическим нашим государем без прикрытия сегодня не остались: косой на камень наткнулась янычарская храбрость с легендарной вековой стойкостью испанской пехоты, шансы уравнивавшей. И каждая новая волна разбивалась о стену беглого огня: аркебузы и мушкеты гремели чередой частых залпов, и стоило посмотреть, какую бестрепетную невозмутимость хранили в этом кромешном аду наши старые солдаты, с обычной, но оттого не менее завидной отчетливостью исполнявшие свою солдатскую должность: как стреляли, заряжали и снова стреляли, как, в лице не меняясь, когда истощались заряды, требовали у пажей и юнг пороха и пуль. Меж тех и этих плечом к плечу дрались мы, легконогие и юношески проворные молодые солдаты и моряки, дрались сперва пиками да копьями, а потом, сойдясь поближе, пустили в ход шпаги, кинжалы, топоры, ну и это вот сочетание свинца и стали с отвагой и решимостью внушало янычарам невольное почтение и, стало быть, сдерживало, ибо, так сказать, не поспевала собачка выкусывать блох из шерсти. И вот по прошествии того уже немалого времени, что длилась эта безжалостная схватка на утлом бастионе «Мулатки» и «Каридад», сцепленных вместе и огрызающихся огнем на турецкие галеры, из коих одни приближались к нам, а другие — отходили, чтобы дать своим командам передышку, ударить по нам из пушек и вновь ринуться на абордаж, осознал неприятель с непреложной ясностью, что победа обойдется ему большой кровью — нашей и своей.

— Сантьяго!.. Сантьяго!.. Испания и Сантьяго!..

Мы уже охрипли, и глотки у нас саднили от дыма, криков и едкого запаха крови. Иные, и вовсе не стесняясь в выражениях, поносили турок на чем свет стоит, а те, разумеется, в долгу не оставались, и вот на всех языках — испанском, баскском, турецком, греческом и лингва-франка — неслась забористая брань и много чего лестного было сказано про свиней-неверных и собак-обрезанцев, о сукиных сынах с обеих противоборствующих сторон, о хряках, обрюхативших соответственно ту или иную мамашу, давно уже себя зарекомендовавшую отпетой потаскухой, о содомских пристрастиях приверженцев пророка Мухаммеда, о сомнительной непорочности Пречистой Девы и несомненных пороках Иисуса, ну и, как водится, опять о распутных, с кем попало путающихся мамашах — уже, сами понимаете, других. Все это было в порядке вещей, широко распространено и бытовало повсеместно, а в подобных ситуациях — попросту необходимо.

Но, если отставить браваду, и мы, и турки сознавали очень ясно, что дело всего лишь в том, достанет ли у них терпения и умения вовремя перетасовать колоду, ибо их численное превосходство было, самое малое, троекратное и они могли без труда восполнять потери, давать бойцам подмену, то есть роздых, не ослабляя при этом напора, тогда как нам подобное не светило. Кроме того, турецкие галеры, отходя, всякий раз использовали дистанцию, чтобы садить по нам из пятидесятифунтовых баковых орудий и пушек помельче, устраивая на палубе форменную бойню: рушились развороченные настильным огнем надстройки, разлетались в стороны осколки и обломки, круша все на своем пути, а уберечься можно было, только если, заслышав грохот и свист, бросишься ничком на палубу — вот тебе и вся защита. И повсюду — разорванные на куски, распотрошенные трупы, и кишки вон, и мозги наружу, и кровь лужами, а в воде, между кораблями, плавают десятки трупов тех, кто погиб на абордаже или кого скинули за борт, дабы не загромождать палубу. Немало убитых и раненых было и среди гребцов, наших и турецких, ибо они, удерживаемые своими окровавленными цепями, только и могли, что пластаться вповалку меж гребных скамей, прикрываться расщепленными, переломанными веслами, кричать от ужаса при виде бушующей вокруг бранной ярости да молить о пощаде.

— *Алла-ут-алла! Алла-ут-алла!*

Шел уже, наверно, третий долгий час боя, когда одна из турецких галер ловким маневром сумела все-таки дотянуться тараном чуть ли не до самой нашей фок-мачты, и по нему снова ринулась на палубу «Мулатки» туча янычар и солдат, твердо намеренных на этот раз занять полубак. Хоть, обороняя каждый дюйм палубы, мы и отбивались с поистине волчьим упорством и заслуживающим удивления мужеством, однако слишком силен был натиск, так что пришлось отдать банки возле такелажной кладовой. Я знал, что капитан Алатристе и Копонс сражаются где-то там, но так густо стлался дым мушкетных выстрелов, что во всеобщем столпотворении разглядеть их я не мог. Тут раздались крики о помощи, и все, кто мог, по куршее и галерейкам вдоль бортов устремились на этот призыв туда, откуда донеслись они, — к носу, а я — в числе первых, ибо ни за что на свете не согласился бы оставаться в стороне, покуда моего хозяина рубят в куски. Выставив щит и саблю, прыгнул на сбитую, перегородившую всю палубу рею грот-мачты, наступая на несчастных, придавленных ею галерников, распростертых меж скамей, и когда один из них — показалось по виду, что турок — в последних конвульсиях ухватил меня за щиколотку, я ударил его клинком так, что едва не напрочь отсек руку с браслетом кандалов на запястье — разум в таких обстоятельствах отказывает человеку первым.

— Испания и Сантьяго! Вперед!..

Мы смогли наконец ударить на врага, и я опять же был в первых рядах и не слишком заботился о себе, ибо, слишком уж взбудораженный яростью боя, забыл про осторожность. Черноватый, щетинистый, как кабан, турок в кожаной феске выскочил на меня со щитом и саблей в руках и, поскольку негде было размахнуться для удара, я выпустил из рук свою саблю, ухватил его за горло и, хоть пальцы скользили по мокрой от пота коже, сумел все же, яростно дернув его на себя, повалиться с ним вместе на палубу. Хотел вырвать у него саблю из рук — не смог: темляк придерживал ее на запястье, а турок, не переставая испускать пронзительные вопли, вцепился в мой ребристый шлем, запрокидывая мне голову, чтобы добраться до горла. Не выпуская его, не ослабляя хватки, похожей на дружеское объятие, я нашарил сзади за поясом и обнажил кинжал, раза два-три кольнул или слегка ранил турка — слегка, но, должно быть, чувствительно, потому что он вскрикнул по-другому. Вскрикнул и тотчас смолк, когда чья-то рука сзади оттянула ему голову назад и лезвие, полоснув по горлу, глубоко рассекло его. Я выпрямился, чувствуя, как ноет тело, утер кровь, хлынувшую прямо в глаза, но прежде чем успел поблагодарить неведомого избавителя, Гурриато-мавр уже приканчивал другого турка. Я высвободил кинжал, подобрал саблю, взял щит и вновь бросился в гущу схватки.

— Сдавайтесь, собаки! — кричали турки. — *Алла! Алла!*

Тут я и увидел, как погиб сержант Кемадо. Водоворот боя вынес меня к нему в тот миг, когда он, собрав вокруг себя нескольких человек, намеревался отбросить янычар с галереек. Прыгая по банкам, где едва ли оставался хоть один живой гребец, мы по правому борту ударили на турок, мало-помалу вернув себе все пространство, что они у нас отняли, так что схватка кипела у нашей фок-мачты и оконечности их тарана. И только лишь сержант Кемадо, ободрявший нас словом, а замешкавшихся — делом, то бишь пинком, собрался вырвать стрелу, что вошла ему в одну щеку, а из другой не вышла, как получил аркебузную пулю в грудь и скончался на месте. При виде такого несчастья иные из нас дрогнули и пали духом, и казалось, что сейчас потеряем мы все, что достигнуто было такой отвагой и кровью, но, возведя очи к небу, хоть даже и не думали молиться в такой миг, и остервенясь, как звери, ринулись вперед, желая либо отомстить за сержанта Кемадо, либо оставить клочки своей шкуры на турецком таране. Дальнейшее пером не описать, а я и пытаться не буду — про то знают один Бог да я. Скажу лишь, что вся носовая часть «Мулатки» осталась за нами, а когда немало пострадавшая турецкая галера, отодвинув свой таран от нашего борта, отошла, ни один турок из пошедших на абордаж на нее не вернулся.

Вот так примерно коротали мы остаток дня — не хуже арагонцев, чье упорство вошло в поговорку, — выдерживая орудийный огонь, отбивая абордажные атаки с галер, которых стало уже не пять, а семь, ибо трехпалубный турецкий флагман и еще один корабль к вечеру ближе присоединились к остальным, привезя на мачтах отрубленные головы Фулько Мунтанера и его рыцарей. Пришлось им довольствоваться этими трофеями, ибо иной добычи туркам не досталось: «Крус де Родес» они получили разбитым в щепу, залитым кровью и голым, как понтон: все с него было стесано в бою. И не имелось решительно никакого смысла брать его, тем паче что, как впоследствии узналось, мальтийцы дрались столь ожесточенно, что живым к туркам в руки ни один из них не дался. На наше счастье, ни турецкий флагман, ни эскортировавшая его галера в тот день сражаться толком больше не могли и лишь время от времени приближались, чтоб дать по нам залп. Что же касается восьмой галеры, то мальтийцы в предсмертном усилии сомкнули, так сказать, зубы на ее горле, и она пошла на дно.

Под вечер испанцы и оттоманы вконец изнемогли: мы были довольны, что оказываем сопротивление такому множеству врагов, они же корили себя, что не в силах переломить нам хребет. Небо, остававшееся сумрачным, и по-прежнему свинцово-серое море придавали происходящему еще более зловещий вид. Когда начало смеркаться, задул вдруг легчайший бриз-левантинец, но проку от него не было никакого, ибо дул он в сторону побережья. Да и самый что ни на есть попутный ветер ничего бы не изменил — галеры наши после такого многочасового обстрела пребывали в плачевном состоянии: снасти изодраны, паруса на реях буквально изрешечены, а сами реи снесены и переломаны, «Каридад Негра» же лишилась и грот-мачты, плававшей невдалеке вместе с мертвыми телами, канатами, обломками весел, кусками палубного настила и прочим добром. С галер, как и прежде пришвартованных борт к борту и покачивавшихся на воде, монотонным хором поднимались к небесам жалобные стоны раненых и хрипы умирающих. Турки, отойдя к побережью примерно на фальконетный выстрел, сбрасывали за борт трупы, чинили снасти, заделывали пробоины, пока их капуданы держали на флагмане совет, а нам, испанцам, только и оставалось, что зализывать раны да ждать. И, надо полагать, довольно прискорбное зрелище являли мы собой, лежа вповалку и вперемежку с каторжанами меж переломанных банок, или на куршее, или в галерейках вдоль бортов: драные, рваные, битые, грязные, закопченные пороховым дымом, в запекшейся крови, своей и чужой, коростой покрывавшей лица, одежду и оружие. Для поднятия духа капитан Урдемалас распорядился раздать остатки арака, коего оставалось на донышке, и кое-какой припас, чтобы подкрепиться всухомятку — плита была разворочена, а кок убит, — а именно: по ломтю солонины, толику разбавленного вина, капельку оливкового масла и сухарь. То же самое происходило и на другой галере, и мы переговаривались с бискайцами, обсуждая перипетии минувшего дня, справляясь о судьбе того или иного знакомого, горюя о тех, кто погиб, и радуясь, что кто-то сумел выжить. Мы несколько приободрились — и до такой степени, что иные даже стали высказывать предположения о том, что турки, мол, обломали о нас зубы и уйдут, а иные — что уйти-то, конечно, не уйдут, это вздор, но мы, глядишь, сумеем отбиться, когда они завтра утром, если не сегодня ночью, полезут снова. Было, впрочем, заметно, что им досталось никак не меньше нашего, и это подавало надежду, что упорное наше сопротивление станет той соломинкой, которая переломит спину верблюду, — и вот за эту-то соломинку мы, утопающие, и хватались. Да, выказанная нами отвага грела душу, и кто-то даже удумал такую проказу: воспользовавшись легким ветерком, задувавшим порывами, взяли мы двух кур, содержавшихся на камбузе в клетках на тот случай, чтоб, если кто заболеет, кормить его яйцами и поить бульоном, так вот, взяли, говорю, этих курочек, посадили их, привязав весьма хитроумно, на подобие плотика, сколоченного из обломков настила и снабженного даже маленьким парусом, и отправили под всеобщий хохот и ободряющие выкрики к туркам, каковая затея вызвала дружное ликование у нас, особенно когда турки выловили кур из воды и подняли к себе на борт. Нам это подняло настроение до того, что кто-то даже затянул, причем с таким расчетом, чтобы слышно было на неприятельских галерах, старинную песню, которую палубная команда, когда поднимает лебедкой рею, повторяет в такт своим усилиям, и песню эту подхватил целый хор голосов, охриплых, но бодрых, и все мы встали и повернулись лицом к туркам:

Ту-рок, мавр

и са-ра-цин,

что ни пес,

то — су-кин сын,

глаз нель-зя

под-нять от сра-ма,

все — уб-люд-ки

А-вра-ама.

И вскоре все уже сгрудились у борта и, надрывая глотки, со свистом и улюлюканием кричали туркам что-то вроде того, мол, что суньтесь только снова, еще и не то вам будет, взгреем вас раза два и спать ляжем, а кишка тонка — убирайтесь тогда в свой Константинополь к своим отцам и братьям, если вы их, проходимцы безродные, знаете, да к матерям и сестрам своим, потаскухам подзаборным, для коих мы припасем, конечно, чего-нибудь особенного. Право, стоило взглянуть, как даже раненые, замотанные окровавленным тряпьем, привставали, приподнимались на локте, чтобы поулюлюкать с нами заодно да избыть в этих криках ярость и глухую тоскливую тревогу, грызшую нам нутро, — и вправду легче становилось, и, видно, понимая это, никто из начальства, даже сам дон Агустин Пиментель, не унимал нас. Даже напротив — сами горланили с нами заодно и поощряли орать и бесноваться еще пуще, сознавая, вероятно: таким, как мы, приговоренным к смерти, сгодится все, чтобы взять за свои головы как можно дороже. Ибо если турки хотят вывесить их на своих реях, пусть сначала попробуют отрубить.

В тот же вечер был неприятелю брошен еще один вызов — наше начальство велело зажечь кормовые фонари, дабы указать, где мы находимся. Мы покрепче подтянули найтовы, бросили якоря — глубина там была небольшая, — чтобы ветром, нежданно налетевшим, либо течением не унесло нас куда-нибудь не туда, после чего разрешено было спать-отдыхать, но — с оружием, а вахтенным велено смотреть в оба, как бы турки в темноте не предприняли новых поползновений. Ночь, однако, прошла спокойно — по-прежнему царило полное безветрие, и в прогалинах раздернувшихся туч проглянули звезды. Отстояв свое на вахте, я в полусне побрел, натыкаясь на спящих и слыша, как с обеих галер доносятся жалобные стоны и причитания раненых, и добрался до борта, где за подобием бруствера, устроенного из скатанных драных одеял, свернутых тросов, парусов и снастей, устроились капитан Алатристе, Гурриато-мавр и Себастьян Копонс, храпевший так, словно душа у него расставалась с телом. Всем троим, как равно и мне, посчастливилось не только пережить этот жуткий день, но и не получить ни царапины — разве что мавру слегка и неглубоко распороли ятаганом бок, но рану эту, предварительно плеснув на нее вином, хозяин мой, со сноровкой старого солдата вооружась большой иглой и суровой ниткой, самолично зашил, да не наглухо, а оставив сток для дурных гуморов.

Да, так вот, я подошел к ним и молча — от усталости у меня и язык не ворочался — пристроился рядом, но поначалу даже не смог забыться тяжким сном: в совершенное изнеможение привели меня схватка со щетинистым турком, а потом еще со сколькими-то. Думал я — полагаю, и не я один, а все — о том, что уготовит нам завтрашний день. Ни в цепях на гребной палубе турецкой галеры, ни в подземелье башни где-нибудь на Черном море я себя представить не мог, но будущее мое рисовалось столь же несомненно, сколь сомнительна была наша завтрашняя победа. Я спрашивал себя, как будет выглядеть, свисая с реи, моя голова и как понравится она Анхелике де Алькесар, если владычица моего сердца каким-то тайным зрением сумеет увидеть ее. Мне скажут, пожалуй, что подобные мысли способны увлечь человека в самую пучину беспросветного отчаяния, и что ж, отчасти это будет справедливо. Однако вспомните, что, как говорится, у того, кто в седле и кто под седлом, — думы разные. По-разному, знаете ли, смотришь на вещи, когда сидишь у пылающего камелька, или за столом, снедью уставленным, или нежишься в тепле перины — и когда месишь жидкую грязь в траншее, качаешься на дыбом встающей палубе галеры, когда казенные свои харчи, солдатскую пайку получаешь за то, что ежедневно ставишь жизнь и свободу на кон. Что говорить — отчаяние, оно, конечно, имело место. Но все же дело было наше такое — телячье, куда денешься: отчаяние как-то очень давно и естественно вошло в нашу жизнь. Мы, испанцы, со смертью накоротке, а потому умеем встречать ее достойно, более того — просто обязаны это делать, ибо, не в пример другим нациям, судим и оцениваем меж собой, кто как ведет себя в минуту опасности. Вот почему так неразрывно переплелись в нашем характере жестокость, щепетильность в вопросах чести и забота о репутации. И прав был Хорхе Манрике, утверждая, что столетия войны с исламом сделали из нас людей свободных, гордых и твердо помнящих свои права и привилегии, как и то, что бессмертием будет:

И к безгрешным, в вере твердым,

Под молитвы и рыданья

Смерть нагрянет,

Тем, кто бился с мавром гордым,

Избавленьем от страданий

Тяжких станет[[35]](#footnote-35).

И это объясняет, почему же мы, выдубленные суровыми превратностями судьбы, вверив устам имя Христово, а дух — лезвию клинка, готовы были прожить последний свой день так же, как до этого проживали множество схожих с ним и будто готовивших нас к нему, принять свой жребий с безропотным смирением крестьянина, чьи посевы погублены градом, или рыбаря, чьи сети пришли пустыми, или матери, уверенной, что дитя ее умрет при рождении или будет еще в колыбели унесено горячкой. Ибо только те, кто превыше всего ценит житейские удобства и покой, наслаждения и изыски, кто малодушно отворачивается от действительности бытия, только те, говорю, сетуют на непомерность платы, которую на этой земле рано или поздно придется платить всем.

Грянул аркебузный выстрел, и мы приподнялись, прислушиваясь в тревоге. Даже раненые перестали стонать. Но продолжения не последовало, и мы вновь улеглись.

— Ложная тревога, — проворчал Копонс.

— Судьба... — философски заметил наш стоик Гурриато.

Я примостился подле, укрывшись, за неимением иного, своим рваным колетом, а сверху положив кирасу. Ночная роса уже вымочила настил палубы, пропитала одежду. Продрогнув, ближе придвинулся к капитану в поисках тепла и ощутил такой знакомый запах ременной кожи, стали, пота, пролитого в сегодняшнюю страду и давно уже просохшего, — я знал: он не подумает, что меня трясет от страха. Заметил: он не спит, но лежит неподвижно. Потом он очень осторожно откинул кусок драного парусинового полотнища, которым укрывался, и укутал им меня. Хоть я был уже не тот, что когда-то во Фландрии, но движение это согрело мне не столько тело — парус вообще неважная защита от холода, — сколько душу.

На рассвете раздали нам еще вина и сухарей, и, покуда мы отдавали дань скудному угощению, прозвучал приказ расковать тех гребцов, кто изъявит желание сражаться. Услышав такое, мы понимающе переглянулись: если уж на такое решились, то, значит, все, самый край пришел. Приказ не касался, понятное дело, турок, мавров и представителей наций, короне нашей враждебных — англичан и голландцев, — а всем остальным, если, конечно, покажут себя в бою и, главное, останутся живы, обещали по ходатайству нашего генерала скостить срока полностью или частично. Сосланным на галеры испанцам и иным, исповедующим католическую веру, это давало известный шанс, ибо, оставшись на веслах тонущей галеры, пошли бы они на дно с нею вместе: в сутолоке и панике терпящего бедствие судна никому и в голову не пришло бы снимать с них цепи — не до того; а выловили бы их, остались бы они в рабстве, но уже у турок, и ворочали веслами у них и на них, избавиться же от этой участи и получить свободу возможно было, только если отречешься от истинной веры и примешь ислам — в Испании, кстати говоря, раб, даже окрестившись, рабом оставался, — а прельщала такая стезя по причинам, которые понять нетрудно, хоть и многих, особенно молодых, однако число их вовсе не было столь велико, как принято думать, потому что даже для каторжанина вера есть дело столь серьезное, глубоко и прочно укорененное в душе, что большинство испанцев, взятых в плен турками и маврами, сохраняли веру эту, невзирая на жалкую жизнь в рабстве, и потому никак нельзя отнести к ним такие строки Мигеля де Сервантеса, который и сам досыта хлебнул и плена, и неволи, однако от веры не отступился:

Им, измытаренным в юдоли дольней,

стал минарет милее колокольни.

солдатчину окончив раньше срока,

стезей пошли Мухаммеда-пророка —

дабы жилось вольготней и привольней.

Ну так вот, это я веду к тому, что сколько-то испанцев, итальянцев и португальцев, изъявивших готовность повоевать, взамен своих цепей получили копья и полупики, а потерявшие за вчерашний день до трети личного состава галеры — пополнение человек в шестьдесят-семьдесят, которые предпочли достойно пасть в бою, нежели захлебнуться в воде или подвернуться под горячую руку той и иной стороне. Среди них и в числе первых, попросивших снять с них оковы и выдать оружие, оказался наш с капитаном Алатристе знакомец — цыган Хоакин Хрипун, жемчужина в короне малагского отребья, загребной на «Мулатке», человек весьма опасный, а потому уважаемый среди галерников до такой степени, что мы одно время отдавали свое жалованье ему на сбережение, полагая, что так оно будет надежнее, чем у какого-нибудь генуэзского банкира. Ну и вот, предстал перед нами этот самый Хрипун — бритый череп, черная, отороченная красной каймой альмилья, в глазах коварство; да не один предстал, а в сопровождении еще трех-четырех дружков-братков вида столь же авантажного, в ту самую минуту, когда прапорщик Лабахос — кстати, он да Диего Алатристе были единственными, кто уцелел из командиров, — собирал нечто вроде резервного отряда, отданного под начало опять же моему бывшему хозяину, с тем чтобы он поспевал туда, где туго придется, а пока взял под охрану и особый пригляд оба кормовых трапа, ибо по ним туркам было бы очень способно проникнуть на корабль. И Лабахос держал перед нами речь, призывая зубами держать каждую пядь палубы, и с мостика «Каридад» снова благословил нас патер Нисталь, а бискайцы Мачина де Горостьолы, с которыми в буквальном смысле связались мы отныне на жизнь и на смерть, желали нам удачи, а мы разошлись по своим местам, как только при первом свете дня, выдавшегося погожим и, наподобие вчерашнего, безветренным, на веслах двинулись к нам, оглашая пространство диким ором, воем, лязгом и грохотом своих цимбал, барабанов, флейт, дудок, семь турецких галер.

Лабахос пал мертвым где-то в середине сражения, когда отбивал очередную — неведомо какую по счету — атаку на мостик «Мулатки», где был ранен и капитан Урдемалас. Диего Алатристе, чувствуя, как ноет и ломит все тело, стоял у борта и морской водой промывал мелкие ранки и царапины на лице и руках и поглядывал при этом, как в море швыряют трупы, расчищая залитую кровью, развороченную палубу, заваленную обломками надстроек, настила и клочьями такелажа. Бой длился четыре часа, и когда наконец турки отошли, чтобы заменить весла, расщепленные и переломанные во время абордажа, обе мачты на «Мулатке» были свалены вместе с реями и парусами: одна плавала в воде, другая упала на «Каридад Негра», тоже лишившуюся фок-мачты полностью, а грот-мачты — наполовину. Обе галеры, хоть потери на них были ужасающими, по-прежнему были пришвартованы одна к другой и оставались на плаву. На «Мулатке» погибли и комит, и его помощник, а немец-артиллерист взорвал носовое орудие, отправив на тот свет и себя, и прислугу. Что же до капитана Урдемаласа, то Алатристе только что оставил его в кормовой каюте — или в том, что от нее осталось: тот лежал вниз лицом на палубе, а цирюльник и штурман силились унять кровь, хлеставшую из рассеченной ятаганом поясницы.

— Принимайте... команду... — еле выговорил он между стонами и проклятиями тому, кто взрезал его от одной почки до другой.

«Команду...» Нельзя сострить ядовитее, думал Алатристе, оглядывая залитые кровью развороченные обломки, бывшие некогда галерой «Мулатка». Все погреба, включая пороховой, были завалены грудами раненых, во имя всего святого жалобно просивших пить или чтоб хоть чем-нибудь заткнули их раны. Но воды не было, и перевязать тоже было нечем. Наверху, на куршее, в лужах крови и обломках гребных скамей, мачт, в клочья превращенных снастей стенали в цепях полумертвые галерники. На галерейках вдоль бортов, под солнцем, немилосердно калившим железо кирас и шлемов, солдаты, моряки и раскованные гребцы перевязывали раны себе или товарищу, точильным камнем водили по иззубренным, затупившимся лезвиям клинков, выскребали последние щепотки пороха и пули для тех немногих мушкетов и аркебуз, что еще оставались в исправности.

Чтобы хоть на несколько мгновений отвлечься от этого жуткого зрелища, Алатристе даже не сел, а почти рухнул на палубу, привалился спиной к фальшборту, распахнул на груди колет и машинально извлек из кармана томик «Сновидений» дона Франсиско де Кеведо. Он любил перелистать эту книжку в свободную минуту, однако сейчас, как ни старался, не сумел прочесть ни строчки — буквы прыгали перед глазами, а в ушах еще стоял гром и звон недавнего боя.

— Вашу милость требуют на флагман.

Алатристе посмотрел на пажа, передавшего приказ, и не сразу понял, чего от него хотят. Потом уразумел, бережно сунул томик в карман, поднялся и по галерее правого борта, перешагивая через бесчисленные тела, вповалку лежавшие там, прошел на бак, ухватился за канат и перебрался на палубу «Каридад». Уже оттуда окинул взглядом турецкие галеры — те снова отошли на фальконетный выстрел, явно готовясь к очередному приступу. Одна, сильнее прочих пострадавшая в последнем бою и полузатопленная, уже по самые борта погрузилась в воду, а на палубе у нее царила очень большая суета; у другой, трехпалубной, снесена была фок-мачта. Да, туркам тоже минувший день недешево обошелся.

Капитан очень скоро убедился, что «Каридад» досталось ничуть не меньше, чем «Мулатке»: прикованные к месту гребцы пережили — а иные и нет — сущую бойню и резню. Черные от пороховой гари, с блуждающими глазами, бискайцы Мачина де Горостьолы расселись на палубе, воспользовавшись кратким затишьем, чтобы опомниться и хоть немного передохнуть. Никто не нарушил угрюмое молчание, никто даже не приподнялся, когда Алатристе шел мимо них на корму. Он спустился в кают-компанию, где, топча бумаги, усеявшие палубу, и по очереди прикладываясь к кувшину с вином, стояли вокруг стола дон Агустин Пиментель с обвязанной головой и рукой на косынке, Мачин де Горостьола, комит «Каридад» и капрал с трудным именем Сенаррусабейтиа. Штурман Горгос и патер Франсиско Нисталь погибли при последнем абордаже: Горгос получил пулю в горло, а монаха мушкетный выстрел уложил в тот миг, когда, с распятием в одной руке и со шпагой — в другой, пренебрегая опасностью, он бежал по куршее, обещая всем сражающимся вечную славу, которую теперь снискал и сам.

— Как себя чувствует капитан Урдемалас? — осведомился Пиментель.

Алатристе только пожал плечами. Он не хирург. А если стоит здесь в одиночестве, это значит, что на «Мулатке» никого старше чином на ногах не осталось.

— Сеньор ен’рал высказывается тут насчет сдаться, — выпалил Мачин де Горостьола, глотая слова на бискайский манер. Кое-кто — и даже многие — подозревал, что он делает это намеренно, чтобы стать похожим на своих солдат, которые его обожали.

Алатристе взглянул ему в глаза. Нет, не дону Агустину, а этому бискайцу — маленькому, бровастому, светлокожему и чернобородому человеку с длинным носом и огрубелыми руками солдата. Настоящий баск, деревенщина, лоска ни на грош, зато отваги не занимать. Полнейшая противоположность изысканному генералу, который и так-то был бледен от потери крови, а услышав эти слова, совсем побелел и протестующе воскликнул:

— Не надо упрощать!

Алатристе перевел взгляд на Пиментеля и вдруг почувствовал безмерную необоримую усталость.

— Упрощай не упрощай, — продолжал Мачин как ни в чем не бывало, — а по-вашему выходит так: дрались мы достойно и, если спустим флаг, чести своей не уроним.

— Чести... — повторил Алатристе.

— Ну да.

— Перед турками.

— Перед ними.

Тогда Алатристе вновь пожал плечами. Сообразовывать урон чести с количеством жертв — нет, это тоже не его дело.

Горостьола меж тем наблюдал за ним с интересом. Дружбу они не водили, однако знали, чего стоит каждый, и за это уважали друг друга. Капитан теперь взглянул на комита и капрала и заметил на их суровых лицах отблеск беспокойства.

— Люди с «Мулатки» готовы сдаться? — спросил Горостьола, протягивая ему кувшин.

Алатристе, давно уже мучимый жаждой, выпил и вытер усы.

— Да они сейчас на что хочешь готовы... Драться, сдаваться... У них сейчас уже ум за разум зашел.

— Они сделали больше, чем было в силах человеческих! — воскликнул Пиментель.

Капитан поставил кувшин на стол и внимательно оглядел генерала, потому что раньше не предоставлялось случая увидеть его вблизи. Чем-то он неуловимо напоминал ему графа де Гуадальмедину — повадкой ли, статной ли фигурой, закованной в умопомрачительно дорогие доспехи миланской работы, белыми ухоженными руками, выхоленными усами и бородкой, золотой ли цепью на груди, а может, рубином, украшающим навершие эфеса. Та же порода — высшая знать, испанская аристократия, хоть безотрадное положение и поумерило ему высокомерия: с грандом хорошо дело иметь после того, как морду ему разобьешь, подумал капитан. Дон Агустин де Пиментель, несмотря на бледность, бинты и пятна крови на одежде, сохранял, тем не менее, прежнюю импозантность облика. И вправду похож на Гуадальмедину, хотя Альваро де ла Марка и в голову бы никогда не пришло сдаться туркам. Пиментель, впрочем, все это время держался хорошо — лучше, чем на его месте держались бы многие щенки того же помета... Алатристе ли было по собственному опыту не знать, что и храбрость истощается, особенно если у человека в теле несколько лишних дырок, а на плечах бремя такой ответственности. Нет уж, он не будет судить и осуждать того, кто двое суток дрался, как простой солдат. Просто свой предел всему положен.

— У вашей милости с собою книга?

Алатристе скосил глаза на выглядывающий из кармана томик, рассеянно ощупал, потом достал его и протянул генералу. Тот с любопытством перелистнул несколько страниц.

— Кеведо? — не без удивления спросил он, возвращая книгу. — Зачем он вам на галере?

— Чтобы пережить такой день, как сегодня.

Он снова запрятал книжицу поглубже. Горостьола и остальные взирали на все это в растерянности. Понятно бы еще, если б человек носил с собой псалтирь или молитвослов, но — это? По всему было видно, что никто из них слыхом никогда не слышал о Кеведо, или как его там.

— Уверен, — сказал генерал, берясь за кувшин, — что сумею добиться достойных условий.

Два последних слова заставили Алатристе и Горостьолу многозначительно переглянуться. В этом не было ни удивления, ни презрения, а лишь всезнание, дающееся долгим опытом. Они понимали, что под достойными условиями генерал имеет в виду не слишком крупную сумму выкупа, в ожидании которой его будут вполне сносно содержать в Константинополе. Может, пришлют из Испании денег и еще за какого-нибудь офицера. А все прочие — моряки и солдаты — останутся в цепях и на веслах до конца дней, пока Пиментель в Неаполе или при дворе, окруженный восхищением дам и уважением кавалеров, будет рассказывать подробности этой гомерической битвы. Если уж сдаваться, так вчера надо было сдаваться, до начала этой бойни, подумал Алатристе, мертвые были бы живы, а раненые и искалеченные не корчились бы сейчас на палубе, не выли бы от мучений...

Мачин де Горостьола отвлек его от этих размышлений:

— Ваша милость, сеньор Алатристе, нам охота смертная послушать, что ты на это скажешь. Как-никак единственный офицер с «Мулатки»...

— Я не офицер.

— Неважно. Ну, старший по команде. Не один ли хрен?

Алатристе оглядел бумагу и рваное тряпье под своими драными, вымазанными засохшей кровью альпаргатами. Одно дело — иметь мнение, но держать его при себе, другое — если спрашивают, есть ли оно у тебя, и просят его высказать.

— Что скажу?.. — пробормотал он.

На самом деле он знал это с той минуты, как переступил порог каюты и увидел эти лица. И все, кроме генерала, тоже знали.

— Скажу: нет.

— Простите? — переспросил Пиментель.

Но капитан смотрел не на него, а на Мачина де Горостьолу. Решать это не дону Агустину, а солдатам.

— Экипаж галеры «Мулатка» сдаваться не согласен.

Наступило долгое молчание. Только слышно было, как за переборками стонут где-то наверху раненые.

— Недурно бы его, экипаж то есть, об этом спросить, — вымолвил наконец Пиментель.

Алатристе с большим хладнокровием покачал головой. Глаза, ставшие совсем ледяными, впились в лицо генерала.

— Вы, ваше превосходительство, сию минуту сделали это.

По обросшему бородой лицу Горостьолы скользнула потаенная усмешка, а Пиментель скривился от неудовольствия.

— Ну и?

Алатристе продолжал невозмутимо рассматривать его:

— Бывали дни, когда ходили мы убивать. Сегодня, должно быть, настал черед умирать.

Краем глаза он видел, что комит и капрал одобрительно кивают. Мачин де Горостьола повернулся к дону Агустину. Бискаец казался очень довольным и будто сбросил с плеч тяжкую кладь.

— Сами видите, ваш’дитство, мы все ‘динодушны.

Дон Агустин здоровой, но задрожавшей рукой поднес ко рту кувшин. Отхлебнул и, скривясь, словно отведал чистого уксуса, поставил его на стол, явно не зная, что делать — яриться или смириться. Ни один генерал, сколь благосклонны бы ни были к нему при дворе, не имеет права капитулировать без согласия своих офицеров. Это будет стоить ему, самое малое, репутации. А иногда и головы.

— Половина наших людей перебита... — сказал он.

— В таком случае, — отвечал Алатристе, — второй половине следует отомстить за них.

То, что началось ближе к вечеру, иначе как светопреставлением и не назовешь. Одна из турецких галер затонула, но шесть других с флагманом во главе, выгребая против вдруг налетевшего восточного ветра, ринулись на нас со всех сторон, имея целью пойти на абордаж все разом и одновременно, а иными словами, сбросить к нам на палубы человек шестьсот-семьсот — ну то есть целый полк — янычар, и это против полтораста испанцев, которых мы еще могли выставить. И, покрошив нас несколько из пушек, врезались нам в самую середку, с ужасным треском в щепки круша весла и пытаясь пробить нам борта таранами, чтобы, если получится, сразу потопить. Кого-то на время удалось сдержать огнем, но другие сумели все же забросить крючья и вцепиться. Хлынули они так густо, что, когда на «Каридад» бискайцы схватились с турками, даже невозможно стало стрелять по врагам из опасения попасть в своих, а у нас на «Мулатке» им поначалу удалось отбить у нас правый борт и фок-мачту, продвинуться почти что до самой грот-мачты, захватив, стало быть, половину нашего корабля. Но тут — и уж не спрашивайте как — удалось нам стать насмерть, упереться, а затем и потеснить неприятеля. Повезло, конечно, в том отношении, что турками командовал, ободряя их зычными криками, рассыпая вокруг себя смертоносные удары, гороподобный янычарище — здоровенный, как тот филистимлянин; уже потом узналось, что это был их знаменитый командир, любимец самого султана, звавшийся Улух Симарра, — и вот, когда, оттеснив наших, дрогнувших под таким напором, дошли они до самого шлюпочного трапа, там их встретили раскованные галерники под предводительством цыгана Хрипуна и его присных, подобравших у павших оружие — полупики, топоры, копья, ятаганы, шпаги и прочее, благо валялось оно на каждом шагу, — и ударили на турок с неописуемой яростью, причем Хрипуну первым же ударом повезло вонзить копьецо в глаз янычару, и тот, издав страшный вопль, вскинул руки и рухнул на палубу замертво, после чего на великана, как все равно свора псов на кабана, всем скопом набросились каторжане и, достав неведомо откуда ножи, какими на бойнях скотину колют — такие вот, с желтыми роговыми рукоятями, — во мгновение ока истыкали его, только что ломтями не нарезав. Турки, увидев, как круто обошлись с их начальником, невольно уняли прыть, замялись в нерешительности, воздев свои ятаганы. И капитан Алатристе, воспользовавшись заминкой, криком и пинками погнал всех, кто оказался поблизости, а оказалось нас человек двадцать, резать турок, и мы ринулись вперед, сознавая, что либо мы их всех перебьем, либо нам тут конец придет. И поскольку к этому времени было нам уж безразлично, убивать, умирать или еще чего, то плечом к плечу ударили мы на врага — капитан Алатристе, Себастьян Копонс, Гурриато-мавр и ваш покорный слуга, — а к нам, увидав, что мы выступаем стройно и в порядке, тотчас присоединилась вся шайка Хрипуна. Ибо в час поражения и разгрома ничто не производит действия столь ободрительного, как вид отряда, который сохраняет строй и повинуется приказу, не разравнивает рядов, так что и те, кто был дотоле рассеян или дрался в одиночку, поспешили примкнуть к нам и занять свое место в каре. И вот, шагая прямо по лежащим меж банок телам гребцов — мертвым, по большей части, телам, хотя оставались среди них и раненые, — обрастая по дороге новыми бойцами, двинулись мы вперед и поначалу неуклонно теснили турок, отчасти даже и оробелых, а затем заставили их показать спину и очистили все пространство палубы и добрались до самого тарана неприятельской галеры. И при виде того, как многие турки в поисках спасения бросаются за борт, кое-кто из самых отчаянных у нас сумел по тарану перебраться даже на самую вражескую галеру, явив мужество, о коем предоставляю судить вам, ибо пошли на абордаж и заняли вражескую галерейку полтора человечка; лично я вместо «Сантьяго! Сантьяго!» кричал «Анхелика! Анхелика!» — противник же при нашем появлении, а были мы черны от пороховой гари и красны от чужой крови, свирепством и отчаянностью подобны вырвавшимся из преисподней бесам, — так вот, противник, говорю, еще в большем, чем прежде, числе принялся сигать в воду или устремился на корму, дабы забаррикадироваться на мостике. И потому взяли мы без потерь и особых усилий фок-мачту, а если бы решились, то и грот-мачта стала бы нашей.

Капитан Алатристе остался на «Мулатке», обороняя ее от абордажных команд с других галер, я же, очертя, что называется голову, вместе с самыми отчаянными соскочил на палубу турецкого корабля и по истечении известного времени и неизвестно какого количества крови едва не погиб, когда после яростного удара сломал свой клинок. Обломком его я все же дотянулся до ближайшего ко мне турка и нанес ему ужасающую рану в шею, но другой тотчас рубанул меня секирой, и счастье еще, что древко повернулось у него в руке и первый удар пришелся плашмя, второго же не последовало, ибо Гурриато-мавр располовинил турку голову от тюрбана до подбородка. Валявшийся на палубе янычар ухватил меня за ноги, дернул и свалил на себя, а потом ткнул кинжалом и, конечно, убил бы, если бы хватило сил, но, по счастью, трижды заносил он руку, однако поразить так и не сумел. Когда ж я зажатым в руке обломком стал резать ему лицо, он наконец отпустил меня и, перескочив через борт, бросился в море.

Добыча нам досталась знатная — целая галера, но, памятуя, что опаснее самих злосчастий неумеренная отвага в преодолении оных, мы похватали что смогли, забрали двоих убитых и благоразумно отступили восвояси, меж тем как с кормы летели в нас в изрядном количестве стрелы и мушкетные пули. В эту минуту кому-то из нас при виде запаса пороха, дымящихся фитилей и горшков с горящей смолой, оставленных в такелажной кладовой, пришла в голову мысль поджечь турецкую галеру — мысль, надо сказать, довольно дикая: «Мулатка»-то была сцеплена с неприятельским кораблем, так что, случись пожар, никому бы не поздоровилось. Тут подали свой жалобный голос прикованные к банкам гребцы-христиане, среди которых оказалось много испанцев, уверовавших было при нашем появлении, что свобода близка, а теперь, заметивших, чту мы творим, и заклинавших не предавать галеру огню, пока они в цепях, ибо иначе они все сгорят вместе с нею. Однако заниматься этими несчастными нам было некогда и сделать мы ничего для них не могли, отчего и остались глухи к их мольбам, хоть, сами понимаете, далось нам это нелегко. Ну и, стало быть, вернулись на «Мулатку», шпагами и топорами поспешно обрубили концы и абордажные крючья, пиками и обломками весел оттолкнулись от турецкой галеры, над которой уже взметнулись языки пламени, тем более что задул благоприятный ветер, и мало-помалу стали отдаляться от нее, а из окутавшего ее черного дыма и огня, что взметывался все выше, пожирая фок-мачту, доносились до нас, разрывая сердце, крики тех, кто сгорал заживо.

К концу дня, когда в проломанный борт «Каридад Негра» стала поступать вода, а сама она — медленно погружаться, турки предприняли очередной и столь яростный штурм, что выжившие испанцы, очистив полубак и едва ли не всю гребную палубу, отступили на мостик, где и заняли оборону. Генерала Пиментеля снова ранили, на этот раз — сразу несколькими стрелами, и в таком вот образе святого Себастьяна его перенесли на «Мулатку», где было безопаснее. Затем пришел черед Мачина де Горостьолы: когда мушкетная пуля перебила ему руку и та повисла буквально на ниточке, он хотел было оторвать ее да и дальше сражаться, но силы ему изменили, колени подогнулись... ну и турки добили его лежачего и прежде, чем подоспели на помощь к своему капитану бискайцы. Других, может, это и обескуражило бы и заставило даже пасть духом, однако на них возымело действие совершенно обратное — и вот, загоревшись, как это у этой нации водится, жаждой мести, они, ободряя друг друга на родном наречии, а страшно матерясь, естественно, — на чистейшем кастильском, ринулись на турок и всех до единого отправили в те края, которых не ищи на карте. Увлеченные своим порывом, они не только свою палубу очистили, но и вступили на вражескую, турецкая же галера, вероятно попорченная ранее нашим артиллерийским огнем, тоже дала сперва течь, а потом и сильный крен на борт, иначе говоря, стала заваливаться набок, а «Каридад», с которой была она сцеплена, продолжала уходить под воду. Вернувшиеся на нее бискайцы, увидев, что дело плохо — совсем то есть швах, и лежать им скоро на дне морском, — принялись через борт перебираться к нам, прихватив своих раненых и не позабыв знамя. Вскоре принуждены мы были обрубить найтовы, чтобы нас не утянула за собою тонущая «Каридад», которая в самом деле через несколько минут утонула вместе с турецкой галерой, перевернувшейся перед этим вверх килем. Страшное было зрелище, когда на поверхности моря посреди обломков и всякой судовой всячины забарахтались и страшно закричали гребцы, уходя под воду и тщетно пытаясь освободиться от своих оков, — столь страшное, что даже приостановилось сражение и турки принялись спасать терпящих бедствие. Под конец опять же на выстрел отошли пять уцелевших турецких галер — сильно потрепанные, с изодранными снастями, с переломанными или бессильно повисшими, оттого что некому было ворочать ими, веслами, с потоками крови, льющимися вдоль бортов.

В этот день атак больше не предпринималось. Когда зашло солнце, «Мулатка», неподвижная и одинокая в кольце неприятельских галер, окруженная трупами, покачивающимися на тихой воде, со ста тридцатью ранеными, уложенными чуть не штабелями под навесом, с семьюдесятью двумя выжившими, которые напряженно всматривались во тьму, — зажгла, вновь бросая вызов, кормовой фонарь. Однако песен в эту ночь мы не пели.

## Эпилог

А наутро, когда Господь возжег свет дня, стало видно, что турки исчезли. Вахтенные разбудили нас при первых лучах зари, тыча пальцами в пустынное море, где, кроме нас, покачивались на волнах только обломки кораблей. Неприятельские галеры ушли в темноте, среди ночи, рассудив, вероятно, что не стоит одна-единственная несчастная исковерканная галера того, чтобы без счета платить за нее жизнями своих людей — а платить бы пришлось. И поначалу мы, все еще не веря своим глазам, вертели головами во все стороны, а потом убедились, что след оттоманов и в самом деле простыл, и стоило бы поглядеть, как обнимались мы, как лили слезы радости, как благодарили небеса за такую неслыханную милость, которую бы назвали чудом, если бы не знали, какой кровью и какими жертвами обошлись нам жизнь и свобода.

Больше двухсот пятидесяти человек, считая мальтийцев, погибли в этом сражении, а из четырехсот каторжан всех наций и вероисповеданий, составлявших гребную команду «Мулатки» и «Каридад», в живых осталось не больше пятидесяти. Из офицеров же — всего двое: дон Агустин Пиментель и капитан Урдемалас, сумевший впоследствии оправиться от своей тяжкой раны. Выжили Диего Алатристе, штурман Бракос, капрал Сенаррусабейтиа, вместе с генералом и двумя десятками бискайцев успевший перебраться на нашу галеру. Выжил и цыган Хоакин Хрипун, и ему по ходатайству дона Пиментеля, которому доложили, как молодецки тот обошелся с великаном-янычаром, был сокращен срок: вместо шести оставшихся лет предстояло теперь махать веслом только год. Ну а сам я, если не считать, что в последнем бою угодила мне в ногу стрела, но, попав в мякоть правого бедра, особого ущерба не причинила, кость не задела, очень дешево отделался: два месяца похромал и забыл.

«Мулатка», как уже было сказано, осталась на плаву, хотя повреждения были бесчисленны и нуждались в устранении. Откачали воду из трюма, заделали пробоины, починили кое-как настил, смастерили из чего пришлось подобие мачты, скрепили треснувшие весла, изготовили, сшив вместе несколько полотнищ, парус, с помощью которого с грехом пополам при посильном участии уцелевших гребцов и смогли добраться до суши. Там, на берегу, оказавшемся, по счастью, скалистым и диким, то бишь безлюдным, мы выставили караулы на тот случай, если нагрянут местные жители, и через двое суток авральных работ привели галеру в относительный порядок. За это время отдали Богу душу многие из наших раненых, и вместе с другими убитыми испанцами, лежавшими на борту «Мулатки», и теми, кого выловили из воды и с прибрежных отмелей, мы, прежде чем поднять якорь, схоронили их с глубокой печалью на Кабо-Негро. На погребальной церемонии надгробную речь пришлось держать моему бывшему хозяину, потому что капеллана у нас не было и отслужить литанию было некому, а генерал Пиментель и капитан Урдемалас пластом лежали по койкам. И вот, окружив свежие могилы, обнажив и скорбно склонив головы, пропели мы «Отче наш», после чего капитан Алатристе вышел, крепко почесал в затылке, сглотнул, прокашлялся и прочел за неимением лучшего четыре стихотворные строчки, которые, хоть и были взяты вроде бы из какой-то солдатской комедии или чего-то подобного, прозвучали чрезвычайно уместно и удивительно своевременно:

Вы пали с честью; нет на вас вины,

И в горние поднялись вертограды

Из рук Господних обрести награды,

Какими были здесь обделены.

Все вышеописанное, как уж было сказано, происходило в сентябре тысяча шестьсот двадцать седьмого года на Кабо-Негро, находящемся на анатолийском побережье, в виду залива Искендерон. И, покуда капитан Алатристе читал молитву, столь далекую от заупокойного канона, закатное солнце, заиграв лучами, осветило нас, застывших в неподвижности над могилами стольких добрых наших товарищей, а каждую из могил этих венчал крест, сколоченный — таков был последний высокомерный вызов — из турецкого дерева. И в турецкой земле, под рокот волн и крики морских птиц остались они лежать, чая воскресения мертвых, когда, быть может, доведется им восстать из могил с оружием своим, во славе и гордости, подобающими тем, кто служил верно. И там, над морем, куда привели их, быть может, сребролюбие и страсть к наживе, но где так дорого продали они свои жизни за отчизну свою, за своего Бога и короля, до сего отдаленного дня спят испанцы глубоким и крепким сном, какой дано вкушать одним лишь храбрецам.

## Приложение

###### Извлечения из

###### «ПЕРЛОВ ПОЭЗИИ, СОТВОРЕННЫХ НЕСКОЛЬКИМИ ГЕНИЯМИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

*Напечатано в XVII веке без выходных данных. Хранится в отделе «Графство Гуадальмедина» архива и библиотеки герцогов де Нуэво Экстремо (Севилья).*

###### ДОН МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРАСОНЕТ В ПАМЯТЬ ИСПАНСКИХ СОЛДАТ, ПАВШИХ ПРИ ОБОРОНЕ КРЕПОСТИ ЛА-ГОЛЕТА

На сей земле израненной, бесплодной,

Где в прах была повержена твердыня,

Три тысячи солдат легли, и в сини

Стремят их души свой полет свободный.

Сперва они стеной стояли плотной,

Их тщился выбить враг в своей гордыне.

Но руки слабли, ряд редел, и ныне

Лег под мечами строй их благородный.

И та страна, где кровь лилась обильно,

Сейчас и в прошлом знала слез немало,

Живет и ныне в битве да заботе,

Но в рай она с тех пор не посылала

Душ, что пылали б доблестью столь сильно,

И столь же мощной не держала плоти[[36]](#footnote-36).

###### ЛИЦЕНЦИАТ ДОН МИГЕЛЬ СЕРРАНОСОНЕТ-ПОСЛАНИЕ ИЗ САНТА-ФЕ-ДЕ-БОГОТА ЮНОМУ СОЛДАТУ ИНЬИГО БАЛЬБОА

Измлада приохотившийся к чтенью,

Сервантеса и Лопе ученик,

Влачась за Алатристе верной тенью,

Ты жизни суть изведал не из книг.

Поддавшийся сердечному круженью

Погибельной красой плененный вмиг,

Ты злобы стал Алькасара мишенью —

Невинной жертвой низменных интриг.

О, сколь же часто, с капитаном купно —

Друг неразлучный, спутник неотступный, —

Своею рисковал ты головой!

Но и доселе, чуждый суесловью,

Остался, отрок, раненный любовью,

Непобедим — как и наставник твой.

###### ТОГО ЖЕ АВТОРАСОНЕТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДОНУ ДИЕГО АЛАТРИСТЕ-И-ТЕНОРЬО, ВЕТЕРАНУ КАМПАНИЙ ФЛАМАНДСКИХ, ИТАЛИЙСКИХ, БЕРБЕРИЙСКИХ И ЛЕВАНТИЙСКИХ

С Аточе — к Аркебузе...[[37]](#footnote-37) здесь и там

Как тень он бродит, не простив обиду.

Окликнувший — пусть прячется во храм,

Задевший — пусть закажет панихиду.

Все дальше он идет — туда, во тьму,

Где покушенью совершиться не́ дал,

Жизнь сохранив монарху своему...

Тот, впрочем, инцидент забвенью предал.

Как прежде, он на многое горазд,

Внаймы сдаст шпагу — чести не продаст:

Жизнь без нее — кромешный срам, о коем

И не помыслив, в тот предел шагнет,

Где бытия земного сбросит гнет

И вечным будет награжден покоем.

###### ДОН ФРАНСИСКО ДЕ КЕВЕДО ПАМЯТИ ДОНА ПЕДРО ХИРОНА, ГЕРЦОГА ОСУНА, УМЕРШЕГО В ТЮРЬМЕ

Осуна! О, потеря для Державы!

Заставивший Фортуну подчиниться,

В Испании снискал он Смерть в Темнице.

И подвиг — не помеха для расправы.

Завидовал весь мир любимцу славы,

Свой и Чужой скорбит, презрев границы.

Фламандские Поля — его гробница,

Стихом надгробным — свет Луны кровавой.

В Тринакрии пылает Монджибелло,

Партинопей зажег огонь прощальный.

Весь мир — в слезах. Война осиротела.

Он рядом с Марсом встал в сей миг печальный.

Маас и Рейн вздыхают неумело

И вторят Тахо в песне погребальной[[38]](#footnote-38).

###### СЕСТРА АМАЙЯ ЭЛЕСКАНО, НАСТОЯТЕЛЬНИЦА МОНАСТЫРЯ СВЯТОЙ УРСУЛЫ ЛЕТРИЛЬЯ НА ОБРАЗ КАПИТАНА ДОНА ДИЕГО АЛАТРИСТЕ

Солдат, венчанный славой,

боец неустрашимый,

средь пламени и дыма

ты в бой идешь кровавый

отстаивать державы

величье и права!

ревнитель чести ярый!

натура такова:

скупее на слова —

щедрее на удары.

1. Лига — мера длины, равная 5572,7 м. — *Здесь и далее прим. переводчика* . [↑](#footnote-ref-1)
2. В морском сражении при Лепанто (7 октября 1571 г.), где соединенный испано‑венецианский флот разбил турецкую эскадру, Сервантес был ранен в грудь и левую руку, оставшуюся парализованной «к вящей славе правой». [↑](#footnote-ref-2)
3. Город и порт в Марокко, пригород Рабата. [↑](#footnote-ref-3)
4. Отсылка к одноименной пьесе М. Сервантеса, который на обратном пути в Испанию попал в алжирский плен, где провел 5 лет (1575—1780), четырежды пытался бежать и лишь чудом не был казнен. Выкуплен монахами‑тринитариями. [↑](#footnote-ref-4)
5. Смешанный язык, сложившийся в Средние века в Средиземноморье и служивший главным образом для общения арабских и турецких купцов с европейцами (которых на Ближнем Востоке называли франками). Основой его была итальянская и провансальская лексика, к которой добавились слова из испанского, греческого, арабского, персидского и турецкого языков. [↑](#footnote-ref-5)
6. Херонимо де Пасамонте (1553 — ок. 1604) вместе с Сервантесом участвовал в сражении при Лепанто (1571), а потом провел 18 лет в плену и, вернувшись в Испанию, описал свою жизнь. При этом он присвоил себе некоторые факты из военной биографии Сервантеса, который также несколько лет был в рабстве у алжирских пиратов. [↑](#footnote-ref-6)
7. Вскоре по вступлении на престол последнего короля вестготов Родерика в Испанию в 711 г. явилась, призванная туда, по преданию, графом Юлианом, мстившим королю за «личную обиду», армия исламизированных берберов под командованием Тарика, вольноотпущенника Мусы ибн Нусайра, мусульманского наместника в Кайруане. Воспользовавшись борьбой за вестготский трон, они разбили войска короля Родерика. Сторонники прежнего короля, Витиза, которого сверг Родерик, покинули его; сам Родерик был убит, и королевство вестготов в результате одного сражения рухнуло. [↑](#footnote-ref-7)
8. В 1580 г. Португалия со всеми своими «заморскими территориями» была присоединена к Испании и вновь обрела независимость лишь в 1640 г. [↑](#footnote-ref-8)
9. Перевод И. Поляковой [↑](#footnote-ref-9)
10. Арагонский «Орден милосердия», основанный в 1233 г. [↑](#footnote-ref-10)
11. Нория (*исп* . noria, от *араб* . наора — водокачка) — бесконечная цепь с укрепленными на ней черпаками, используется для орошения. [↑](#footnote-ref-11)
12. Фанега — мера сыпучих тел, равная 55,5 л. [↑](#footnote-ref-12)
13. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли… Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного… Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь *(лат.).* [↑](#footnote-ref-13)
14. «Тебя Бога хвалим…» *(лат.)* — первые слова благодарственной молитвы. [↑](#footnote-ref-14)
15. Морлаки (морские или приморские влахи) — славянские обитатели Далматинских гор. [↑](#footnote-ref-15)
16. Роман Франсиско Деликадо (Дельгадо) (1485—1535), один из первых образцов плутовского романа. [↑](#footnote-ref-16)
17. Святого Павла укусила змея, возникшая из пламени костра, вокруг которого грелись спасшиеся моряки. Местные жители заметили, что яд не подействовал на Павла, и по своей языческой простоте стали воспринимать его как бога. Апостол в качестве наказания лишил всех змей этого острова способности вырабатывать яд. Проклятые им мальтийские змеи потеряли также свои глаза и языки. Вот этими‑то языками и были окаменевшие зубы акул. [↑](#footnote-ref-17)
18. Это неправда *(ит.).* [↑](#footnote-ref-18)
19. Прозвище Гонсало Фернандеса де Кордоба‑и‑Агиляра (1453—1515), испанского военачальника, в 1495—1498 гг. нанесшего ряд поражений французским войскам в Италии. [↑](#footnote-ref-19)
20. Фортуна вам не благоприятствует. Проиграли *(ит. диалект.).* [↑](#footnote-ref-20)
21. Доблестный воин *(лат.)* . [↑](#footnote-ref-21)
22. Принеси поесть… Живо! Добрый день, красавица *(искаж. ит.).* [↑](#footnote-ref-22)
23. Перевод И. Поляковой. [↑](#footnote-ref-23)
24. Карман, пришитый к поясу. [↑](#footnote-ref-24)
25. Мне от друзей скрывать нечего *(ит.)* . [↑](#footnote-ref-25)
26. Удальцы — от *ит* . bravi. [↑](#footnote-ref-26)
27. От *ит* . «Capichi?» — «Понятно?». [↑](#footnote-ref-27)
28. Жженый, паленый (от *исп* . quemado). [↑](#footnote-ref-28)
29. Перевод И. Поляковой. [↑](#footnote-ref-29)
30. Очаг, плита, печь (от *искаж. исп.* horno). [↑](#footnote-ref-30)
31. Иньиго имеет в виду «анахронический» портрет древнегреческого философа (460 до н. э. — 370 до н. э.) работы Диего Веласкеса, наделившего его костюмом и наружностью, характерными для XVII в. На портрете Демокрит, стоя перед глобусом, изобретенным лишь в конце XV в., в самом деле улыбается, хотя и сдержанно, однако с очень довольным видом. [↑](#footnote-ref-31)
32. Гай Марий (ок. 157 до н. э.— 86 до н. э.) — римский полководец и политический деятель. [↑](#footnote-ref-32)
33. «Во имя… и сына… Аминь» *(лат.).* [↑](#footnote-ref-33)
34. Короткая драма с библейским или аллегорическим сюжетом. [↑](#footnote-ref-34)
35. Перевод И. Полякова. [↑](#footnote-ref-35)
36. Перевод И. Поляковой. [↑](#footnote-ref-36)
37. Названия мадридских улиц [↑](#footnote-ref-37)
38. Перевод И. Поляковой. [↑](#footnote-ref-38)